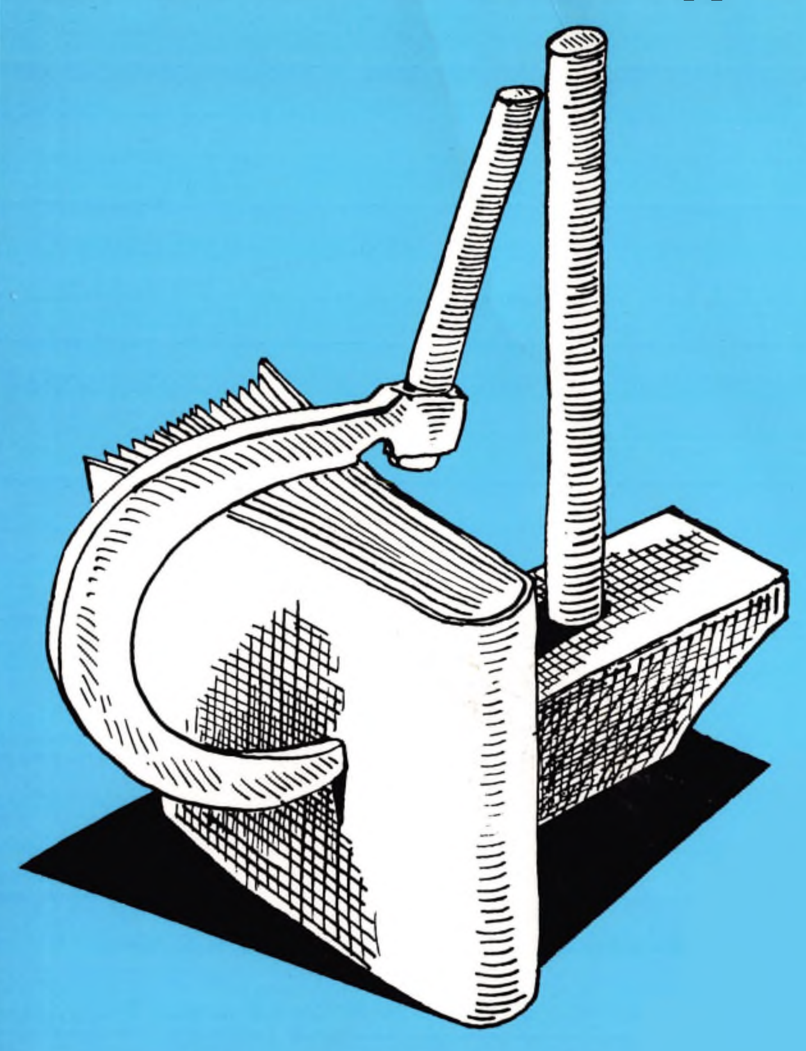
Ариадна Тыркова-Вильямс

НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ



НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ

Ariadna Tyrkova-Williams

TOWARDS FREEDOM

second edition
with an afterword
by Boris Filipoff

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

Ариадна Тыркова-Вильямс

НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ

Издание второе
с послесловием
Бориса Филиппова

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

Ariadna Tyrkova-Williams: NA PUTIAKH K SVOBODE
With an afterword by Boris Filipoff

First published in 1952 by Chekhov Publishing House, New York
Reprinted (with an afterword added) in 1990
by Overseas Publications Interchange Ltd,
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 1 870128 52 4

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by J. W. Arrowsmith Ltd, Bristol

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Мое детство и юность совпали с той переходной эпохой, когда Россия перестраивалась с крепостного на свободный труд. Мой отец был крупным и безденежным новгородским помещиком. Он кончил Училище Правоведения, был мировым посредником первого призыва, мировым судьей на Охте, где я и родилась в 1869 г., 13 ноября. Потом он перешел в министерство финансов. Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом Тырковском имении на Волхове. Вергежа для моих родителей, для всех нас семерых братьев и сестер, для наших детей была радостью и опорой. Через нее были мы глубоко связаны с деревенской, крестьянской, со всей русской жизнью. И с природой. Обо всем этом я писала в воспоминаниях о моем детстве и молодости. Они печатаются в парижском журнале «Возрождение». В настоящей книге, перед тем как рассказать об Освободительном Движении, свидетельницей и участницей которого я была, я скажу только несколько слов, откуда пришло, как зарождалось во мне то политическое беспокойство, которое понудило меня присоединиться к бурной борьбе с исторической властью.

Огромное, любовное влияние имела на нас, детей, моя мать. Она была убежденной шестидесятницей. Либеральные взгляды она почерпнула из христианского учения и из книг. Могла их перенять и от своего отца. Он был офицер, служил в Аракчеевских военных поселениях, которые тянулись напротив нас по право-

му берегу Волхова. Вергежа была на левом берегу. Судя по рассказам матери, не только мой дед, но и некоторые его сослуживцы были люди просвещенные, гуманные. Деда я не знала, он умер до моего рождения, но косвенное влияние на меня оказал. В амбаре, на пыльном чердаке, в ящике с его книгами я нашла объемистый том в кожаном, с золотым тисненьем переплете. Это была иллюстрированная «История Жирондистов», Ламартина, чуть ли ни первое парижское издание. Я ее несколько раз перечитала. Эти рыцари свободы оставили глубокий след, заразили меня своим человеколюбивым безумием. Мне, конечно, и в голову не приходило, что придет время, когда я буду окружена такими паладинами свободы, буду делить их мечты. И их безумие.

Мне было тогда лет тринадцать. Не только Ламартин, но и другие книги, разговоры, события, арест и ссылка в Сибирь моего брата Аркадия, все это толкало — не скажу мысли, какие в этом возрасте мысли? — а чувства в определенную сторону. Еще более глубокое, чем от Ламартина, влияние, более повторное внушение, да еще ритмическое, шло на меня от Некрасова. Его гражданская поэзия, его призыв — «где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там», его «Русские женщины» — все волновало наше пробуждающееся сознание. Я говорю во множественном, потому что в гимназии кн. А. А. Оболенской, где я училась, у моих подруг тоже были ищущие умы. Среди учащих и учащихся царил дух просвещенного гуманизма, за которым наше чуткое ухо ловило косвенное порицание многих русских порядков.

Для меня гимназия была еще дорога тем, что там я научилась дружбе. Самыми близкими моими школьными приятельницами были Вера Черткова, дочь обер-егермейстера Г. А. Черткова, который смолоду зачитывался Герценом и тайком привозил из Лондона

«Колокол». Лида Давыдова, дочь К. Ю. Давыдова, известного виолончелиста и директора петербургской консерватории. Позже она вышла замуж за одного из первых русских марксистов, за М. И. Туган-Барановского. И, наконец, Надя Крупская, позже жена Ульянова-Ленина. Они с матерью, вдовой судейского чиновника, жили на пенсию более чем скромно, но уютно, тепло. Эти три мои самые близкие гимназические подруги принадлежали к совершенно различным кругам петербургского общества, но у всех, как и у меня самой, были дерзкие, беспокойные мысли. Это вообще свойственно юности. Но на нас действовала и эпоха. В ней шевелилась, таилась потребность к протесту, к резкой перемене в общественной жизни. К свободе мыслей и действий.

Это сказалось еще при Александре III, после неурожая 1891 г., когда правительство было вынуждено на время примириться с участием общественных деятелей в борьбе с голодом. В этой работе я участия не принимала. Я уже была замужем. У меня был сын. Позже родилась и дочь. На несколько лет я ушла в семейные радости и печали. Но с книгами я не расставалась, и ход мыслей моих не обрывался. К чему они меня привели, об этом я и говорю в настоящей книге.

В ней я рассказываю о людях, которые добивались политической свободы, но их политические мысли и доводы передаю как можно короче. Они все это изложили сами в своих статьях, книгах, речах, гораздо лучше чем я могу это сделать по памяти. Моя задача передать их душевный склад, ту общую психологическую среду, в которой происходило Освободительное Движение. По мере сил, запечатлеть отдельный облик каждого — самое трудное в писательстве.

Я начала писать воспоминания под немецкой ок-

купацией, без книг, приготовила их к печати позже, в Версале и Нью-Йорке, где могла бы достать книги, касающиеся той эпохи. Но я не сделала этого. Я поставила себе задачей передать только мой личный опыт, связанный с этим важнейшим отрезком русской истории. Я сделала исключение только для главы «Революция продолжается». Я взяла для нее из крайне интересной книги В. А. Маклакова, «Вторая Дума», сведения о попытке Столыпина сговориться с кадетами, т.к. считаю этот эпизод необычайно показательным и для власти, и для оппозиции, а сама я о нем почти ничего не знала.

И еще несколько справок я взяла из воспоминаний А. А. Кизеветера, «На рубеже двух столетий». Остальное писано по памяти.

Ариадна Тыркова-Вилямс.

Февраль 1952 г.
Нью-Йорк.

Глава первая

В ПРЕДДВЕРИИ

Я не пишу истории, у меня нет под рукой ни книг, ни документов, нет даже заметок, которые я иногда делала. Это только воспоминания, рассказ о том, что я видела, слышала, среди чего росла и жила. Пишу только то, что удержалось в памяти. Начала писать в конце 1940 г. в По, в небольшом городке, на юге Франции, с чудесным видом на Пиринеи. Сейчас пишу в Гренобле с не менее чудным видом на Альпы. Где буду кончать? Удастся ли кончить? Кто знает? В 73 года на завтрашний день смотришь осторожно, особенно сейчас, в 1943 г. Но я постараюсь сохранить в памяти людской то, чему была свидетельницей, иногда участницей, передать наростание, дыхание событий, над которыми будущим историкам предстоит ломать голову. Если только история, книгопечатание, библиотеки, архивы, все из чего слагается культура, не будет снесено бурями.

Воспоминания мои я принялась писать, потому что считаю необходимым удержать память о нашей эпохе, завершившей определенный период русской жизни, а может быть, и не только русской. О себе я стараюсь говорить поменьше, но все-таки говорю. И я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть Освободительным Движением. Теперь, после всего, что терпит Европа, чем болеет Россия, я иначе отношусь ко многому, что тогда происходило, в чем я, так или иначе,

принимала участие. Мне виднее стали наши слабости, ошибки, заблуждения. Но я не отрекаюсь от своего прошлого, от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым и я, по мере сил, служила. Я горько сожалею, что наше поколение не сумело их провести в жизнь, не сумело, не смогло утвердить в России тот свободный демократический строй, к которому мы стремились. Екатерина II говорила, что ставит себе целью блаженство каждого и всех. В этих словах много мудрости. Под всеми она разумела Россию. Мы перенесли центр тяжести на каждого, забывая завет другого великого государя, Петра I: была бы Россия жива... Забывали не потому, что хотели гибели России, а по ребяческой, невдумчивой уверенности в ее незыблемость.

Но в основе наших страстных домогательств было стремление ко всеобщему блаженству, а не к своему личному благополучию, а уж тем более обогащению, как это часто бывало с политиками в Европе. Зато в русской оппозиции было много незрелого, наивного, непродуманного, и, что оказалось опаснее всего, много государственного простодушия.

Чем больше память возвращает меня к тому прошлому, тем с большим удивленьем замечаю я, что европейские потрясения и обвалы, среди которых приходится жить сейчас, преемственно связаны с тем, что думали и делали мы, русские, полвека назад. Если бы в конце прошлого и в начале нынешнего столетия наиболее деятельная, настойчивая, увлекающаяся часть русского общественного мнения не была слепа к русской действительности, не была одержима страстью к протесту, не было бы двух европейских войн, не было бы азиатских волнений, и я спокойно писала бы мои воспоминания дома, в России, а не на чужбине. Но случилось иначе.

Вышло так, что то, что мы считали нашим рус-

ским делом, нашей русской борьбой за новую жизнь, превратилось в предисловие к тому, что ожидало Европу, что отразилось на жизни всех народов на всех пяти континентах. То, о чем я пишу, стало частью и их истории. Ведь марксизм, который сейчас имеет такое огромное влияние на политику всего мира, стал реальной силой благодаря русской революции, хотя вначале марксизм был только одним из слагаемых русской революции. Началась она 14-го декабря 1825 г. С тех пор революционные искры то тлели, то разгорались в беспокойных умах, пока, уже в XX веке, не промчались степным пожаром по всей России и дальше по всему миру.

Подземное революционное горение отражалось на жизни всех думающих людей: и тех, кто разжигал огонь, и тех, кто старался его потушить. Отблески этого огня отражались на всем, что с юности я видела, слышала, читала, думала, чувствовала. Чтобы понять русскую действительность за последнее столетие, надо помнить об этом непрестанном, жгучем, неудержимом, мятежном беспокойстве. Оно нарастало, оно крепло, пока, в 1917 г., не разразилось сокрушительной революцией, страшным историческим обвалом, который опрокинул жизнь сначала культурных классов, потом переломал весь склад жизни и крестьян.

Для меня ускорение революционного ритма совпало с резкой переменой в моей личной жизни. Она так сложилась, что мне пришлось зарабатывать на себя и на детей. Я была к этому не подготовлена, не представляла себе трудностей, которыми жизнь часто встречает новичков. У меня не было профессии. К счастью, я сразу схватилась за журналистику, сделала писательство своим ремеслом, которому и до сих пор служу. Это позже сблизило меня с деятельной оппозицией. Но вначале я чувствовала себя на новой дороге очень одинокой, тем более, что я еще не ви-

дела перед собой общественных задач. Да и перед общественным мнением они еще только начинали выясняться. Не было маяков, по которым я могла бы держать курс. Это было едва ли не самое тяжелое для меня.

Только ответственность за детей я ясно сознавала. Я взяла их к себе, когда разошлась с мужем. Так или иначе, надо было выгребать. Летом я перевозила детей в деревню, к маме, и сама больше жила там, чем в городе. На Вергеже я опять окуналась в теплую, светлую мамину жизнь, сливавшуюся с красотой родного деревенского простора. Осенью, с началом школьного года, мы с детьми возвращались в Петербург. Мы жили в маленькой, дешевой квартире на Песках. Вся жизнь была дешевая, похожая на то, что я, гимназисткой, видела у моей близкой подруги, Нади Крупской. Тогда я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте? Теперь пришлось понять. Часто и на такое житье нехватало денег. Работы почти не было. Я оторвала детей от обеспеченной жизни и что же я им даю взамен?

Безденежье меня давило. Я не умела проталкиваться, пробиваться. Этим даром судьба меня не наградила. Среди писателей были у меня знакомые, с ними было приятно, весело болтать, но никому из них не приходило в голову помочь мне найти работу. Может быть, то, что я помещичья дочь, создавало иллюзию моей обеспеченности. Мои, купленные раньше в Париже платья, которые я кое-как перешивала, донашивала, тоже придавали мне такой вид, что меня могли считать богаче, чем я была. Обманывала и моя задорная, независимая манера держаться — стой на рогоже, говори с ковра. Хозяйка «Мира Божьего» А. А. Давыдова, с дочерью которой я была очень дружна, раз продложила мне перевод французской

книги об энциклопедистах, который и был напечатан в приложении к «Миру Божьему». Это дало мне короткую передышку. Переводная работа мне не очень давалась. А газетная сразу пришлась по душе. В Петербурге тогда издавалось очень мало газет и к ним у меня хода не было. Я начала с сотрудничества в провинциальной прессе, в ярославской газете «Северный Край», куда посылала «Петербургские Письма». Писалось легко, даже слишком легко и беззаботно. После уже довольно долгой писательской и общественной деятельности я заглянула как-то в свои первые фельетоны. Напала на статью о передвижниках — и мне стало жутко. Сколько легкомысленной отваги и как мало знания и понимания! Правда, что тогда в живописи разбирали не художественное творчество, а вложенное в картину, содержание, тему, на которую она была написана. Ну и я брела по этой узкой тропинке.

С «Северным Краем» у меня сразу установились хорошие, товарищеские отношениия, сначала по переписке. Но газета была бедная. Они не могли мне платить больше трех копеек за строчку, да и те с опозданием. Писать я могла им раз в неделю, строк 300-400. В лучшем случае я выгоняла в месяц около 40 рублей. За квартиру надо было платить 35 руб. Получала я еще несколько сот рублей в год дохода с небольшого кирпичного завода, построенного на арендованной у папы земле. Летние месяцы на Вергеже мне ничего не стоили. Но все-таки содержать себя и детей бывало так трудно, что я иногда просто терялась.

Мои дела стали поправляться, когда я начала писать во второй провинциальной газете, в «Приднепровском Крае», издававшемся в Екатеринославе. Но мое благоденствие продолжалось не долго. Разыгралась история, характерная и для положения прессы и для настроения журналистов.

«Приднепровский Край» был больше и несравненно богаче ярославской газеты. В редакции я никого не знала, но мои статьи понравились и они сразу за меня ухватились, просили писать побольше. Я писала им обо всем, что приходило в голову: о театре, о книгах, о новостях иностранной жизни и литературы. Первые мои рассказы были напечатаны в «Приднепровском Крае». Политических тем я, конечно, не касалась. Цензура их не пропускала. Но, о чем бы мы ни писали, власть всегда чуяла в наших словах и в наших умолчаниях строптивый дух оппозиции. И была права. Но и мы были не виноваты, что нам тесно, что мы переросли загородки, куда правительство упрямо втискивало русскую мысль. Правительство не хотело, не умело дать исход накопившимся общественным эмоциям и политическим запросам, не понимало, что нарастает энергия, которую опасно держать под спудом.

Цензура била нас и по карману. Оба редактора, и ярославский и екатеринославский, все мои статьи были готовы печатать, все принимали. Но цензура нередко их запрещала. За непропущенные статьи мне никто не платил. Было не легко угадать, что проскочит, что нет.

В Екатеринославе тоже шла война между вице-губернатором и редактором Лемке. Это был отставной офицер, задорный, с большим желанием играть в левых кругах роль. Позже он написал несколько книг о цензуре и о революции. Но в то время он был начинающий журналист. Не знаю, был ли он уже тогда членом с.-д. партии, но позже он стал членом коммунистической партии. Как редактор «Приднепровского Края», Лемке, как впрочем и многие провинциальные редакторы, яростно воевал с местной цензурой. Порядок был такой: корректура набранного номера посылалась к цензору. Он отмечал неугодные ему места,

и когда расчерканный красными цензорскими чернилами лист возвращался в редакцию, надо было в спешном порядке, ночью, вынимать преступные места, кое-как штопать страницы, затыкать опустошенные гранки материалом, раньше прошедшим цензуру. Лемке попробовал завести другой порядок. Он стал рассылать газету в том виде, как она была получена от цензора. Страницы белели пустыми местами. Чиновники злились, но не было закона, запрещавшего оставлять в статьях и между статьями пустоту. Наконец, Лемке переборщил. Не знаю, составил ли он номер очень резко, или цензор был в тот вечер сердит, но корректурные листы вернулись из цензуры почти сплошь замазанные красным. Не осталось ни одного живого места, одни заголовки и отрывистые строчки непонятного текста. Лемке так и отпечатал плешивую газету и разослал подписчикам белые страницы, на которых кое-где были отдельные фразы. Начальство взбесилось. «Приднепровский Край» был закрыт. Но хозяин газеты, миллионер-подрядчик Копылов, был в добрых отношениях с местной администрацией и умел устраивать свои дела. Он добился разрешения возобновить издание газеты, но уже без Лемке, который, в ответ на свое увольнение, немедленно разослал всем сотрудникам письмо, где сообщал, что ушел из редакции «по принципиальным причинам» и спрашивал, согласны ли мы подписать коллективное заявление, что мы тоже уходим и без него сотрудничать в «Приднепровском Крае» не можем?

Для меня, как и для большинства сотрудников, это была пренеприятная история. «Приднепровский Край» был опорой моего тощего бюджета. Они платили мне целый пятачок за строчку и платили исправно, чего про «Северный Край» я сказать не могу. Но делать было нечего. Такая была заведена между русскими писателями и журналистами мода, что мы табунком вхо-

дили в редакции и табунком из них вылетали. Я вздохнула, но написала Лемке, что он может и мою подпись поставить.

Прошло немного дней и прислуга ввела в мою гостиную приземистого господина с круглой бородкой, с быстрыми глазами, с толстой золотой цепочкой, блестевшей на пестром жилете.

— Позвольте представиться — Копылов.

Франтоватым жестом актера, разыгрывающего на провинциальной сцене барина, он поднял к губам мою руку и звучно ее поцеловал.

— Очень рада познакомиться. Садитесь, пожалуйста.

Острые глаза подрядчика обежали мою тесную комнату, прикинули цену стульям и дивану, обитым дешевым кретоном, заметили одинокую полку с книгами, простой, крашеный стол, пол без ковра, стены без картин и уже с большей уверенностью остановились на хозяйке.

— А я, барынька, счастлив с вами познакомиться. Давно хотел. Бойкое вам Бог дал перо. Хоть бы мужчине впору... Хе... хе... хе... Очень читатели одобряют.

— Спасибо, что сказали. Мне издалека трудно было понять, одобряют или нет. А мы, пишущие, любим, чтобы читатели нас хвалили. Спасибо.

— Нет, это вам спасибо. Так и у газетчиков спрашивают — Вергежский есть? Если нет, не дам пятака. Хе... хе... хе... И ведь все думают, что Вергежский это мужчина. А Вергежский, вот он какой.

Он разглядывал меня с бесцеремонным одобрением. Его занимало, что вот какая «барынька» у него работает, получает от него деньги. Не давая мне опомниться, он стал рассказывать мне про себя, стараясь дать мне понять, что размах у него не малый.

— Вот приезжайте к нам в Екатеринослав в гости, увидите как у нас люди живут. С читателями позна-

комитесь. У меня поживете. Я для вас гостей соберу. Меня весь округ знает. Я ведь не только газету, я и театр держу. Большой я охотник до театра. Правда, денег в него прорва уходит. Куда больше, чем в газету.

— Еще бы. Я слышала, что газета вам хороший доход приносит...

Он самодовольно ухмыльнулся:

— Слышали? Что ж, жаловаться нечего, но можно деньги и лучше оборачивать. Да я и газету не ради прибыли завел.

— Не ради прибыли? А ради чего?

— Для плезиру. Все-таки издатель большой газеты, это вам не кто-нибудь. Только театр, хоть игрушка и дорогая, пожалуй, еще занятнее. Я человек веселый и актеры народ веселый. Про актрис и говорить нечего. Хе... хе... хе...

Я демонстративно промолчала. Он понял. Такие подрядчики, вышедшие из низов в миллионеры, были люди сметливые и психологи недурные. Копылов еще раз ощупал глазами дешевую обстановку моей гостиной, повертелся на стуле и, глядя мимо меня в окно, небрежно спросил:

— Может готовая статейка есть? Я пошлю.

— Нет. Вы же знаете... Мы...

Он не дал мне договорить:

— Слыхал, барынька, слыхал. Пустяки все это. Газета у меня солидная. С начальством я ладить умею. Пишите себе, как писали. Мы вас не обижали и не обидим. Можно и гонорарчику прибавить и фикс назначить. Авансик получить желаете? Чего с почтой возиться, когда контора у меня в кармане.

Он вытащил из-за пазухи свою контору. Раскрыл туго набитый бумажник. По привычке своей верить во всемогущество денег, он мог не шутя думать, что вид сотенных сделает меня покладистее. Я не рассердилась, только засмеялась.

— Нет, спасибо. Какой же аванс? Ушел от вас редактор, вслед за ним ушли и сотрудники. Ушла и я. Вот и все.

— Полноте, барынька, чего же вам-то уходить? У меня уж новый редактор есть. Поведет все по-старому. И вы пишите по-старому, а уговор сделаем новый, посдобнее. Хотите?

Моя улыбка сбивала его с толку. Он видел, как я живу, и надеялся, что не так уж я глупа, чтобы отказаться от хорошего заработка. Похлопывая рукой по бумажнику, он ласково уговаривал меня:

— Ну зачем от денег отказываться? Берите аванс, а там когда-нибудь сочтемся. Я вас прижимать не буду, отдадите, когда хотите. Только пишите. Ну, сколько вам деньжат отсыпать?

Я встала.

— Нисколько. Мы уже в расчете. Контора мне все выслала. А писать у вас мне больше не приходится. Вам это трудно понять. В каждой артели у ваших рабочих свой порядок. Мы, писатели, также артель. Одного тронут, — все за него стать должны. Так у нас полагается.

Встал и он. С недоумением повертел в руках бумажник, точно все еще удивляясь, что такой жирный аргумент не пробил бабьего упрямства, сунул его за пазуху и уже без прежней развязности не очень уверенно протянул мне руку. Я положила в нее свою. Чего мне было на него сердиться? Тем более, что мне говорили, что он выдал Лемке годовое жалованье, хотя мог этого и не делать. Правда, сотрудники от этого не стали богаче. Я не знала, чем буду платить за квартиру следующий месяц?

В дверях Копылов приостановился. По его умному, мужицкому лицу пробежала лукавая улыбка:

— Эх, барынька, барынька, какая вы колючая... Не подступись... А я-то ехал в Питер, думал Вергеж-

ский со мной к Палкину пообедать поедет, а потом в театр. Вот вам и театр! Вот вам и Вергежский!

Мы обменялись с ним взглядом. В острых глазах разбогатевшего мужика была насмешка над моим неуменьем устраиваться, но был и отблеск чего-то другого. Мой вежливый, но решительный отпор вызвал в нем спортивное одобрение.

— Да, вот Вергежский, уж какой есть, — тоже с усмешкой сказала я.

— Ну что ж, у каждого своя повадка, ничего не поделаешь. Счастливо оставаться.

Больше я его не видала, в его газете писать перестала и сразу очень обеднела. Я все еще не умела бороться за существование и подчас это было очень тяжело.

Набежала небольшая работа в «Сыне Отечества», который издавался в Петербурге. То есть по существу работа большая, ответственная, утомительная, но платили за нее гроши и редакция совершенно не интересовалась тем, что я пишу и понимаю ли я что-нибудь в театре, о котором должна писать? «Сын Отечества», созданный в 20-х годах XIX ст. Фадеем Булгариным, пережил несколько редакторов и в конце XIX в. попал в руки народника С. Н. Кривенко, бывшего сотрудника закрытых «Отечественных Записок». Жена Кривенко, С. Е. Усова, была другом нашей семьи. Через нее я и попала в «Сын Отечества» как театральная рецензентка. Жалованья мне не полагалось, построчные я получала ничтожные, писать надо было коротко, печатали меня мелким шрифтом. Все подробности как будто мелкие, но для меня очень непитательные. Выходило рублей пять за заметку, а работа была ночная, приходилось еще и на извозчика тратиться, чтобы поспеть к выходу газеты.

В те времена даже бедные писатели держали прислугу. И у меня, в моей маленькой квартире, хозяйст-

во вела кухарка, но с детьми мне приходилось много возиться самой, поэтому писала я в свои газеты по вечерам. А тут, раза два в неделю, надо было отправляться в театр, оттуда в редакцию, там писать отчет о премьере и домой возвращаться после полуночи. Не было времени подумать, разобраться. Хуже всего было то, что я никогда не была театралкой. Большинство новых пьес меня раздражало своей бледной пустотой и вульгарностью. Особенно не любила я бывать в Малом Театре у Суворина. Не знаю, было ли это предвзятое отношение, потому что мы все так не любили «Новое Время» и Суворина, как редактора и публициста, все в его театре казалось мне пошлым и плоским. Но и в Александринке тогда пахло затхлым. В этой, для меня новой отрасли журнализма мне все не нравилось. Спектакли кончались поздно, иногда около полуночи. Прямо из театра надо было ехать в редакцию и там второпях судить и пересуживать замысел автора, постановку, игру артистов. Эти ночные судбища и для драматургов и для актеров большое испытание. Да и рецензенты писали бы толковее, если-бы могли выспаться и на следующее утро спокойно просеять свои впечатления.

Искать работы я никогда не умела. Газет было мало. В журналы мне нечего было тогда предложить. Кончилось тем, что я переутомилась, не могла писать, путала слова. Я потеряла работоспособность. Мне стало страшно. Настоящим образом страшно за себя и детей. Я вообще не из пугливых и перед жизнью редко робела. Но это ощущение мозговой пустоты и полного своего бессилия меня чуть не раздавило. Меня спасло то, что я твердо знала, что я должна поправиться ради детей.

У меня было крепкое физическое чувство связи с ними. Мои дети, совсем мои. Я была спокойна, когда мы все трое были под одной крышей, когда они были

тут, рядом. Когда я слышала топот их ног, их голоса, шум их жизни. Утром стремительные сборы в школу, хлопанье дверей, быстрый завтрак. Днем резкий звонок. Один, другой, третий. Прислуга ворчит:

— Ну, иду, иду... Чего трезвоните?

Она открывает дверь, и ко мне из передней летит запыхавшийся детский голос: — Мама дома? Есть хочу! — Это священное восклицание всех школьников матери обычно слышат с удовольствием.

Уроки готовились до обеда, довольно позднего. Вечером мы втроем забирались на широкий, обитый темно-оливковым кретоном диван и я им читала. Это было лучшее время дня. От детей, примостившихся как можно ближе ко мне, шло ласковое тепло. Они были частью меня самой, точно входили в меня. Я читала им Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Андерсена, Киплинга, стихи, прозу, сказки, были и небылицы. Слушатели они были благодарные, ненасытные. У Софы и воображение было ненасытное. Адя смотрел на вещи трезвее и его сердило, когда мы с Софой вслух сочиняли стихи. Он был прав, так как наши вирши были из рук вон плохи, но нас с ней это стихоплетство тешило.

Но одну форму сочинительства и Адя одобрял. Это были мои импровизированные рассказы, особенно похождения лисички. Сказка-побывальщина про лисичку тянулась из вечера в вечер. Целую зиму, если не дольше, лисичка была верной и лукавой нашей спутницей. Она вплелась в нашу жизнь, принимала участие в ее событиях, в шалостях, проступках, радостях, огорчениях. Усаживаясь на диван, охватив одной рукой дочь, другой сына, я и сама не знала, куда я поведу лисичку, что заставлю ее говорить и делать. Но игра захватывала и меня, и я, вместе с детьми, волновалась за нашу сказочную спутницу, когда она

попадала впросак, и я радовалась, когда ей удавалось перехитрить противников.

Само собой разумеется, что на наши диванные заседания никто не допускался, и дети считали себя ограбленными, если в этот сумеречный час неожиданно появлялись гости, или мне надо было уходить. Когда я писала театральные рецензии, мы все трое досадовали, что театр начинается как раз тогда, когда нам полагается сидеть на диване. Может быть, отчасти и из-за этого я не любила писать рецензий. Трудно было мне тогда угадать, что впереди меня ждет жизнь несравненно более поглощающая, чем ночная работа рецензента, что все меньше и меньше будет у меня оставаться времени для детей. Английская романистка Мэри Вебб говорит, что это несчастье писателей, артистов, общественных деятелей, что они могут отдавать любимым, близким людям только частичку своей жизни. Она видела в этом своего рода контрибуцию, наложенную судьбой на тех, кто выступает из замкнутости семьи. По опыту своему знаю, как трудно, особенно женщине, распределять свое внимание, устанавливать равновесие между личным и общим.

Мое крепкое чувство связи с детьми, сознание, что я им нужна, помогли мне вылечиться. И целебный воздух Ялты. И встреча с кн. Дмитрием Ивановичем Шаховским.

Я уже два года работала в «Северном Крае», но не знала ни своих товарищей по редакции, ни своих читателей. Это не придавало мне в работе уверенности. Точно в воду бросала я свои статьи, не зная, находят ли они отклик, нужна ли я кому-нибудь? Когда я надорвалась, я перестала верить в себя. В Крыму жизнерадостная художественная напряженность, излучавшаяся от кружка Станиславского, который привез в Ялту, в гости к Чехову, всю свою труппу, занимала

меня, но и оттеняла мою неприспособленность, оторванность. Я не вошла в праздничную жизнь, игравшую вокруг меня. Мне казалось, что для меня все в жизни кончено, хотя на самом деле моя жизнь едва только начиналась.

И вдруг в мою дверь постучал Шаховской.

Он разыскал меня, чтобы передать привет от редакции «Северного Края» и посмотреть на что похож этот Вергежский, статьи которого появлялись каждую неделю в их газете, где он был соредактором. Встреча с Шаховским была первой моей связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой. Его отношение ко мне было первым признанием моей пригодности, в которой я так часто сомневалась.

О Шаховском я почти ничего не знала, не знала ни его прежних исканий, ни его настоящей деятельности. Но что таких, как он, я еще не встречала, я это не могла не понять.

Мне сразу стало с ним легко, хотя я и сознавала, что смотреть на него приходится снизу вверх, а я к этому не привыкла. Это не было обидно. Так должно было быть. Его значительность я сразу признала. До тех пор я жила в затянувшейся школьной заносчивости. Редкая память, быстрая сообразительность, бессистемная, но бóльшая, чем у многих сверстников и сверстниц, начитанность, давали мне какие-то преимущества. Этому помогал и женский успех. Выйдя замуж за первого моего мужа, я попала в среду людей, от которых мне нечему было научиться. Сравнение с ними не развивало скромности. Изредка, в литературных кругах, встречала я людей, которые меня занимали, забавляли, но и только. Ни за кем из них я не хотела бы пойти, не могла бы пойти. Не знаю, кого за это корить — их? Себя? Или благословлять Судьбу, что она не привязала меня ни к одному

из тогдашних кружков? А может быть, следует пожалеть, что ни толстовцы, ни народники, ни марксисты не взволновали смолоду моего воображения. Юность и молодость горят ярче, если в эти впечатлительные годы увлечет живая идеология и ее живые носители.

Все это мне принес Шаховской. Он принес мне молодость, хотя годами был значительно старше меня. Между нами сразу возникла дружба, глубокая, дарящая. Передо мной блеснули просторы, по которым я давно скучала. Не сразу открылась к ним дорога. Но мало-помалу я ее нашла, отчасти сама, отчасти при помощи новых друзей. Шаховской меня не поучал, не наставлял, никуда не загонял. Он слишком уважал свободу других, чтобы это делать. Он только присматривался ко мне, водил меня и детей на далекие прогулки по окрестностям Ялты, рассказывал мне про Ярославль, про редакцию, про Э. Г. Фалька, редактора «Северного Края».

— Вот переезжайте к нам. Будем вместе работать. Что вам в чиновничьем Петербурге киснуть.

И смеялся, глядя на меня ястребиными, круглыми глазами. Он вообще смеялся много и громко. Это сбивало с толку. Могло казаться, что он потешается над людьми. На самом деле он смеялся каким-то своим мыслям, даже не всегда мыслям, а облакам, проходившим где-то в душевной глубине. Шаховской был человек глубинный, как позже стали говорить, интуитивный. Но, как и многое в этом замечательном русском человеке, я это поняла только гораздо позже.

Встреча с Шаховским была для меня целительнее, чем южное солнце. Он расправил мою смятую душу, вдохнул в меня уверенность в моих писательских способностях, хотя хвалил меня редко, да и то мельком, точно подсмеиваясь. Я не была очень падкой на

похвалу. Похвала меня смущала, вызывала неловкость. Я не верила, что это всерьез. Но каждое одобрительное замечание Шаховского прибавляло мне сил. Порой учила и его добродушная насмешка. В Ялте я еще не понимала, какое решающее влияние на мою жизнь окажет наша встреча. Но когда я возвратилась из Крыма в Петербург, новые голоса звучали в моей душе.

Глава вторая

НОВЫЕ ЛЮДИ

Еще гимназисткой, задолго до Крыма, встречала я писателей у Давыдовых. Видела там Гончарова, Гаршина, позже Мережковского, Глеба Успенского. С детства ненасытная читательница, я смотрела на них со всей внимательностью, на которую юность только способна. Разговаривать с ними не решалась, а слушала жадно даже незначительные их речи. Гончаров удивил меня своей чиновничьей невзрачностью. Трагическая красота Гаршина, тоскующее выражение его темных, сияющих из глубоких орбит глаз навсегда слилось с памятью о его рассказах, с тем сердечным волнением, которым они наполняли молодые души. После Некрасова, Гаршин для нашего поколения был самым влиятельным воспитателем социальной жалости. Это чувство для многих стало главным содержанием и двигателем жизни.

Первый писатель, с которым я разговаривала свободно, с полной уверенностью, что ему также интересно болтать со мной, как мне с ним, был Д. Н. Мамин-Сибиряк. От встречи с ним я впервые испытала то чувство праздничности, которое дает нам общение с людьми талантливыми, или хотя бы даровитыми.

Это было в Царском Селе. Я пришла на именины

к сестре, М. В. Антоновской. Среди гостей был незнакомый мне плечистый человек средних лет, с черной, полуседой гривой, с трубкой в зубах. Его выпуклые черные глаза пристально меня разглядывали. Я не обратила на него внимания, пока он не заговорил. Остальные гости сразу замолчали. Да и я невольно к нему повернулась, поддалась неожиданному для меня очарованию, исходившему от этого сказочника.

Мамин-Сибиряк жил в Царском Селе ради Аленушки, своей больной дочки, которой он по вечерам рассказывал сказки. От его любви к дочке и родилась чудесная книга «Аленушкины сказки». Дмитрий Наркисыч был отличным рассказчиком, с тонким юмором, с актерским даром изображать целые сцены, которые он тут же импровизировал. Он был талантливый писатель, но талант свой по небрежности, по беспорядочности жизни не до конца развернул. Рассказывал он лучше, чем писал. В ту зиму я тоже жила в Царском Селе. Мы часто бродили с ним вдвоем по Царскосельскому парку и он вслух сочинял то, что потом собирался писать. Многое так и осталось ненаписанным. Две темы запомнились мне. Одна юмористическая, про троеженца. Его судят. Судьи, прокурор, присяжные, даже адвокат, все не могут без смеха смотреть на него. Ну раз женился, ну два, но зачем ты, дурак, еще и третью жену себе навязал? Все это Дмитрий Наркисыч изображал в лицах, меняя интонации.

Второй рассказ был трагический. Молодая, хорошенькая женщина случайно, в парке, знакомится с молодым человеком. Завязывается быстрый роман. Он ничего о ней не знает. Где она живет? Кто ее муж? Когда он спрашивает, она только отворачивается. Но раз, в дождливый, уже осенний вечер, она ведет его к себе. Большой сад, большая дача. Цветы темнеют в клумбах. Но и в саду, и в доме, до странности ти-

хо. Она вводит своего любовника в гостиную. Из угла раздается радостный голос:

— Маша, наконец... Ты не одна? С кем ты?

— Я встретила старого знакомого...

— Милости просим...

К ним навстречу, из дальнего конца гостиной осторожно, нащупывая дорогу, идет молодой, красивый человек. Так вот кого они беззаботно обманывали — слепого. Ему становится стыдно, страшно. Потихоньку пятится он к двери, уходит. Больше он с ней не встречался.

Не мало таких рассказов сочинил Мамин-Сибиряк, когда мы с ним бродили вдвоем под оснеженными, сверкающими на солнце деревьями Царскосельского парка. Его подстрекала моя молодая отзывчивость. Он находил, что я отличная слушательница. В ту полосу молодости я была довольно избалована вниманием. Все же мне льстило, что Мамин-Сибиряк так пристально вглядывается в меня. Несмотря на внешнюю грубоватость, в нем было много тонкости, такта, понимания. Он был не только талантливый, но и добрый человек. Трогательно и весело заботился он о своей бедной, больной Аленушке.

Мамин вырос в Уральской глуши, воспитания ему досталось еще меньше, чем образования. Жил он беспорядочно. Часто бывал пьян. Его лицо, смолоду, говорят, красивое, от водки стало красным, опухло. Но привлекательным он остался. Меня подкупало его художественное чутье, его чувство чужой личности, его доброжелательное любопытство к людям, широкая терпимость к чужому мнению, редкая в литературных кругах. Он был на много лет старше меня. О писательстве я тогда и не думала. Но с этим, тогда уже известным романистом, мне было легко и свободно, точно со старым товарищем. Как позже с другим еще более беспорядочным, еще более даровитым пи-

сателем, с А. И. Куприным. У них были сходные черты. Оба были очень русские, оба очень чувствовали Россию.

Мы уехали из Царского Села и я несколько лет не встречала Мамина-Сибиряка, пока мы не встретились на именинах Н. К. Михайловского. Я ребячески ему обрадовалась.

К концу 90-х годов авторитет Н. К. Михайловского, как редактора «Русского Богатства» и публициста, стоял очень высоко. Его журнал был опорой народничества и родственной ему подпольной партии социалистов-революционеров. Они считали себя наследниками «Народной Воли», т. е. тех революционеров, которые убили Александра II.

Н. К. Михайловский был для многих учителем и вождем. Его статьи не просто читали, их штудировали, обсуждали долго, подробно. Я заглядывала в них редко, мельком. Мне было просто скучно их читать. Может быть, отчасти оттого, что и личные встречи оставили неприятный привкус.

Первый раз я увидала Николая Константиновича, как было принято и за глаза называть Михайловского, в «Мире Божьем». Редакция журнала помещалась в квартире его собственницы, А. А. Давыдовой. Меня к ней привела Лида. Она уже вышла замуж. Ее муж, М. И. Туган-Барановский, был одним из главных зачинателей русского марксизма. Между ним и Михайловским шла острая журнальная перепалка, что не мешало им встречаться. Среди гостей Давыдовой я увидала знакомое мне только по портретам лицо Николая Константиныча, с длинными, полуседыми волосами, с длинной, тоже полуседой бородой. Я с любопытством вглядывалась в знаменитость. Я к ним еще не привыкла.

Михайловский расхаживал по длинной гостиной из конца в конец. Одной рукой обнимал он за плечи

хозяйку, другой рукой также нежно обнимал он свою тогдашнюю подругу Э. К. Пименову, очень милую женщину, беззаветно ему преданную. На ходу он поочереди снисходительно улыбался то одной, то другой. Все трое были в возрасте, который мне тогда казался очень почтенным, ближе к пятидесяти, чем к сорока. Вдвое старше меня. Мне было смешно смотреть на них. Какой же это духовный вождь? Просто паша турецкий. Я была молода, допускала большую свободу чувств. Но зачем же так напоказ, да еще в таком возрасте!

Это первое впечатление усилилось, когда я побывала у Михайловского на именинах. Праздновал он их 6-го декабря. Это было ежегодное событие литературного большого света. В календаре петербургских интеллигентов день этот был отмечен красным крестиком. Побывать на именинах Николая Константиновича считалось знаком отличия, этим можно было похвастать, щегольнуть. Это было почти служение народу.

Попробовала и я сходить на это языческое богомолье, куда меня тоже повела Лида Туган-Барановская. Она любила быть на людях, всюду бывала, всюду чувствовала себя как дома.

Прием поклонников и поклонниц начинался за завтраком и продолжался до поздней ночи. Угощались весь день. Длинный стол был заставлен пирогами и закусками. Кипел самовар. Но гости налегали не столько на чай, сколько на водку, наливки, вина. В тот единственный раз, когда я попала на это литературное пиршество, самым шумным собутыльником был С. Н. Южаков. Пир происходил в редакции «Русского Богатства», на Спасской площади. Южаков, постоянный сотрудник журнала, был не гостем, а одним из хозяев. Он весело шумел, быстро перекатывал свое грузное тело с одного конца комнаты в дру-

гой, со всеми разговаривал, угощал вином, не забывая и себя, громко острил и еще громче смеялся жидким, визгливым, хихикающим смехом. Длинные, седые, давно немытые волосы окружали лоснящуюся лысину, прыгали по плечам. И сам он, особенно разговаривая с молодыми женщинами, прыгал, колыхался.

— Силен... — мелькнуло у меня в голове.

К несчастью, я ему приглянулась. Он резво закрутился около меня. Угощал наливкой. Я отказалась. Он, покачивая толстым животом, на котором с трудом сходились пуговицы давно не чищенного сюртука, наступал на меня, говорил комплименты, смотрел на меня подвыпившими, липкими глазами. Я начинала злиться и очень обрадовалась, когда через его плечо увидала седую голову и выпуклые, черные, насмешливые глаза Мамина-Сибиряка. Он отстранил Южакова, вынул изо рта неизбежную свою трубку и весело сказал:

— Здраствуйте, моя красавица. И вы тут? Не ожидал. Сергей Николаевич, ты к ней с напитками не приставай. Это не для Ариадны Владимировны. Сядьте-ка здесь. Я вам чаю дам с земляничным пирогом.

Черные глаза Мамина дружески смеялись. Он тоже успел выпить, но был трезвее других. Он понимал отчего я злюсь, видел как я сжимаюсь. Он постарался стряхнуть с себя хмель, начал мне рассказывать одну из своих забавных историй. Около него я понемногу оттаяла и ушла незаметно, даже не познакомившись с именинником. Это не было обязательно.

Личная жизнь противников Михайловского, марксистов, была более чинной. Я это знаю, потому что три основоположника русского марксизма, М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве и В. И. Ульянов, были женаты на моих школьных подругах. У всех троих была крепкая, дружная, устойчивая семейная жизнь. Бла-

годаря им я рано познакомилась с русским марксизмом, вернее не с марксизмом, а с марксистами. Теорию их я никогда не изучала и чем больше слушала длинные разговоры о Карле Марксе, его учении, его письмах к Энгельсу, с указанием в каком издании, на какой странице находится та или иная цитата, тем менее было у меня охоты изучать его. Хотя я была молода, марксисты были первой политической группировкой, с которой я встретилась, а смолоду новизна идей и чужой энтузиазм легко увлекают. Но я оставалась холодна.

К середине 90-х годов оцепенение предыдущего десятилетия понемногу проходило. Политических партий попрежнему не было. Их не разрешали. Даже разговоры о политике не одобрялись. Но уже ясно обозначались три течения мысли: либералы, социал-демократы, народники. Народники сентиментально идеализировали мужика, не подлинного, не того, который почитал Бога и царя, а мужика ими выдуманного, который, по их мнению, созрел для социализма. Эти три направления были еще не до конца оформлены, они меняли очертания, переплетались. Их представители жарко спорили, но еще поддерживали между собой общение, иногда даже дружбу. Марксисты первые стали отгораживаться от остальной оппозиции, ставить барьеры. Они объявили междуусобную войну народникам, тоже социалистам, но другого толка. Яростно обрушивались на идейного вдохновителя народников, на Михайловского. Он был зубастый полемист и в долгу не оставался. Это был поход молодых на стариков. Трем вождям марксизма, когда они пошли против «Русского Богатства», было всем вместе столько же лет, сколько одному Михайловскому. Но самая их молодость была их силой, их энтузиазм подкупал.

Туган-Барановского я знала хорошо. Струве

узнала близко несколько лет спустя. Ленина встретила только раз, позже, заграницей. Из трех зачинателей и проповедников марксизма только он претерпел некоторые неприятности за распространение разрушительного социал-демократического учения. Был он арестован, был ненадолго сослан в Минусинский край, где брат мой, Аркадий, отбывал тогда пожизненную ссылку. Надя с матерью добровольно поехали за Ульяновым в Сибирь. Когда Ульянов стал эмигрантом, Крупская-мать уехала с ними заграницу. Вдовья пенсия, которую его теща получала от самодержавного правительства, очень поддержала будущего диктатора в начале его революционной карьеры. О том, как Ульянов, всеми правдами и неправдами, ковал свою власть над с.-д., я знаю только по наслышке, да по яростной полемике, разгоревшейся позже между большевиками и меньшевиками. Вначале об Ульянове мало говорили. На поверхности петербургского марксизма, на глазах у всех, включая департамент полиции, бушевали два молодых вожака — Струве и Туган. Одним из их подручных был болгарин Раковский, по просту Кристи. Будущий советский дипломат вносил в русскую интеллигентную среду не скажу славянский, но балканский элемент. Порусски он говорил бегло, но со специфическими болгарскими ошибками и ударениями. Начитанность, отличная память, упорность, выносливость и трудолюбие болгарского мужика помогли ему кончить в Париже два факультета и стать одним из вождей интернационала. Но все это не искупало его природной тупости. Она особенно бросалась в глаза рядом с такими крупными, блестящими людьми как Струве и Туган.

Они были неразлучны, вместе давали они битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольно-Экономического Общества, где, со времен Екатерины II, баре, чаще всего помещики, обсуждали вопро-

сы русского хозяйства, где, сто лет спустя после образования общества, зашумела новая городская интеллигенция. Эти два Аякса марксизма вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников, вели бесконечную полемику с Михайловским, яростно нападали на другого, менее зубастого народника, на В. В. Воронцова, писавшего в «Русском Богатстве» довольно невинные, но расходившиеся с Марксом рассуждения об общине и о крестьянском землевладении. Представители обоих социалистических течений вынуждены были из-за цензуры обо многом говорить иносказательно, но читатели привыкли читать между строк и пропаганда социализма разлеталась по всей России, бежала от человека к человеку и через печатное слово, и в устной передаче. Полемика, кипевшая в петербургских кружках, или за вечерним чаем у Лиды Туган-Барановской, пересматривалась, переживалась в глухих провинциальных углах, соединяя одних, разъединяя других. Много раз я прислушивалась к ней у Лиды.

Она теперь жила совсем иначе чем до замужества, в просторной квартире, где Давыдовы раньше принимали до 200 человек, русских и иностранных артистов, писателей, знатных особ, включая родственников царя. Отец ее, который был директором Петербургской консерватории, давно умер и артистическая пышность жизни осталась позади. Дочь директора консерватории превратилась в литературную работницу, в жену ученого экономиста, социалиста, который развивал взрывчатые теории для ниспровержения существующего строя, политического и социального. Не Туган выдумал социализм и связанные с ним экономические теории. На это у него не хватило бы воображения. Но мозги его обладали редкой емкостью для впитывания книжного материала. Он мог наизусть цитировать Кар-

ла Маркса и Энгельса, твердил марксистские истины с послушным упорством мусульманина, проповедующего Коран. Экономический материализм был для него не только научной истиной, но святыней. И он, и Струве были совершенно уверены, что правильно приведенные изречения из «Капитала» или даже из переписки Маркса с Энгельсом, разрешают все сомнения, все споры. А если еще указать, в каком издании и на какой странице это напечатано, то возражать могут только идиоты. Для этих начетчиков марксизма каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. Слушая их я поняла как мусульманские завоеватели могли сжечь Александрийскую библиотеку.

Надо надеяться, что будущие исследователи истории марксизма, в особенности русского, разберут, как это случилось, что люди, казалось бы не глупые, принимали эту мертвую кабалистику за научную теорию. Но русские пионеры марксизма купались в этой догматике, принимали ее за реальность. Жизнь они не знали и не считали нужным знать.

Меньше всего их интересовали те, ради кого все эти теории сочинялись, живые люди. Они, особенно Струве, их не замечали. У Тугана все же было любопытство к отдельным людям, была своеобразная мягкость. Сам бездетный, он очень любил детей. Он иногда приходил ко мне, чтобы повозиться, поболтать с моим маленьким сыном. Тот взбирался к нему на колени, заставлял рисовать ему неведомых зверей. Эта игра занимала и ребенка и экономиста. Такой, домашний Туган мне больше нравился, чем тот, который письменно и устно проповедывал классовую ненависть. Это ему не подходило. В нем самом было что-то детское, подкупающее. Было простодушие, которого я ни в Ленине, ни в Струве, не замечала.

Туганы жили упрощенно, по-интеллигентски. Они, как и большинство кругом них, не придавали значе-

ния внешней обстановке. Постоянно переезжали, перетаскивали с квартиры на квартиру свою незамысловатую мебель. Лида всегда старалась поселиться поближе к редакции «Божьего Мира», которая помещалась на углу Лиговки и Гусева переулка. Квартира редакции имела полубарский вид, благодаря тяжелой, обитой темным плюшем мебели, оставшейся от лучших времен. Александра Аркадьевна, дочь московского актера, и сама была полубарыней. В ней не было подлинной светскости, но было чутье, была яркость даровитой, в свое время очень красивой, пленительной женщины. Она умела обходиться с людьми, умела обласкать тех, кто ей нравился, или был ей нужен.

Привычка играть с людьми пригодились ей, когда она стала издавать «Мир Божий». Она притворялась простушкой, делала вид, что плохо разбирается в политических и литературных течениях, а на самом деле журнал велся по ее незаметной указке, а не по воле редактора. Практическая сметка подсказала ей, что невыгодно превращать журнал в кружковый орган. Пусть он будет неопределенно прогрессивным. Этого довольно. Ее зять Миша, лидер какого-то нового ученья, новой интеллигентской выдумки. Журналу новизна всегда приносит прибыль, пользу. Но приводить у себя чистый марксизм Александра Аркадьевна Мише не позволила. Для нее он совсем не был авторитетом. Лида была так с матерью дружна, что не обижалась за мужа, хотя сама его не только беззаветно любила, но и высоко ставила его суждения, его ум и то, что считала его дарованием.

Лида была главной помощницей Александры Аркадьевны: она читала рукописи, подыскивала для переводов иностранные романы, эту необходимую приманку для подписчиков, сама писала статьи об иностранной жизни и литературе.

Писательского дара у нее не было. Главный ее та-

лант был умение общаться с людьми, понимать их. Остроумная, живая, полная благожелательности, Лида была очень популярна среди пишущей братии. Она умела вернуть рукопись, не задевая самолюбия автора. От тугой на деньги Александры Аркадьевны она добивалась аванса, увеличения гонорара, той мелкой денежной снисходительности, которая так облегчает жизнь писателей, особенно начинающих.

У Лиды была способность искренно интересоваться чужой жизнью. Разговаривая с ней, слушая ее веселый, серебристый смех, люди переставали замечать, что нос у нее большой, да еще и приплюснутый, крупные губы слишком выдаются, маленькие глаза слишком глубоко сидят. Зато эти глаза светились чистым, голубым блеском, смотрели прямо на собеседника. Все лицо ее оживало, когда она была заинтересована человеком. Люди ее больше привлекали, волновали, чем сложные идеи, которые так густо обволакивали марксистов, включая ее Мишу. Иногда перед зеркалом, поправляя маленькой, белой, красивой рукой прямые пряди волос, довольно нелепо спускавшихся на высокий лоб, она с шутливым упреком говорила:

— Ты думаешь легко жить с такой физиономией, как моя. Попробовала бы ты. Счастливица!

На самом деле Лида в ту пору была по-женски несравненно счастливее меня. Она и Миша обожали друг друга, точно только вчера поженились. И в этом взаимном обожании прожили все десять лет своей жизни. Туганы были из татар, переселившихся в Литву в XIV в. Полное имя их было — Туган Мирза Барановские. Миша, высокий, широкоплечий, грузный, с толстыми, скуластыми щеками и небольшими чуть раскосыми глазами, на татарина и походил. У него была странная манера говорить. Он бормотал, слегка шепелявил, слова по-детски вылетали из небольшого рта

с красными, пухлыми губами. Для Лиды это был самый красивый, самый привлекательный, умный, самый удивительный человек на свете. В ней нашел он свое первое, полное самоутверждение. Она первая в него поверила. Они молниеносно влюбились друг в друга. Встретились в Париже, на выставке 1889 г. Над Парижем, на башне Эйфеля, решилась их судьба. Сначала Александра Аркадьевна была очень недовольна. Она находила, что Лида гораздо умнее своего избранника и в этом была права. Когда Миша стал своего рода знаменитостью, его статьи, его книги, диссертация, речи не изменили мнения тещи. Его кружковая слава, которая позже выросла в солидную профессорскую известность, не смягчила ее насмешливой оценки. Со мной, как с близкой подругой Лиды, Александра Аркадьевна не стеснялась и порой откровенно называла зятя:

— Наш милый ду... —

Попросту говоря, дурак. Это было очень упрощенное суждение. Дураком Туган, конечно, не был, но была в нем доля нелепости, слепоты, иногда граничащей с тупостью. Он был большой мастер, что называется ляпать, говорить то, чего говорить не следует. Лида, заливаясь своим заразительным смехом, спешила ему на помощь, замазывала его промахи.

По вечерам к ним часто приходили друзья, единомышленники, иногда и противники. Пили чай, судачили о народниках, спорили без конца. Угощение было незатейливое: бутерброды с чайной колбасой и сыром, иногда варенье, печенье. Чай разливала и проливала Лида, забывала кто как пьет, заговорившись оставляла кран самовара открытым и не замечала, что горячая вода льется себе да льется на скатерть. Михал Иваныч говорил много, других слушал рассеянно, съедал с ближайшей тарелки все пряники, потом предлагал гостям уже опустошенную тарелку. Семья

Туганов очень тянулась за светскими манерами и обычаями, но в Мише никакой светскости не было, хотя этот проповедник классовой борьбы вышел из класса не пролетарского, а почти барского. Когда его две хорошенькие сестры появлялись на скромных Лидиных чаепитиях, их кокетливая нарядность составляла забавный контраст с остальными гостями.

Там же, у Лиды, встретила я в первый раз П. Б. Струве. Он был уже женат на Нине Александровне Герд, с которой в детстве меня связывала школьная дружба. За чайным столом шли споры о нашумевшей тогда книге М. Нордау о вырождении. Многие считали, что Нордау преувеличивает, что нет никакого общего вырождения, а что всегда так было, что рождались люди то более, то менее складные. И вдруг в разговор бурей ворвался молодой рыжебородый человек. Он высвободил из-под длинных, небрежно причесанных тоже рыжих волос большие уши, схватился за них обеими руками и, оттягивая их так, точно хотел вырвать их с корнями, завопил:

— Как нет вырождения? Да вы посмотрите на меня, на мои уши!..

Все засмеялись. Смеялся и он, но продолжал выбрасывать аргументы, твердил, что вырождение есть факт неоспоримый с такой же страстностью, с какой позже выкрикивал политические лозунги. Его жена тоже смеялась, но старалась его удержать, укоризненно говорила:

— Петя, да перестань. Ну что за глупости ты говоришь.

Он никого и ничего не слушал и продолжал, захлебываясь, изображать себя как пример вырождения. Сколько раз потом, в несравненно более серьезных вопросах, приходилось мне слышать его захлебывающийся голос, его страстную отрывистую речь, в ко-

торой так странно смешивались глубокие, иногда даже пророческие речи, с неожиданными истерическими выкриками. И голос обожавшей его Нины:

— Петя, да перестань же...

Но к Струве я подошла только позже, в другом отрезке жизни.

Семья П. Б. Струве была солидная, чиновничья. Отец дослужился до вице-губернатора. Но сын из этой среды манер не вынес. Струве, как и Туган, за своими манерами не следил и следить не считал нужным. Это была общеинтеллигентская черта. Еще мода 60-х годов на опрощение не прошла. Только тогда, когда коммунисты свирепо, насильно опростили жизнь, все обезобразили, опрокинули, все обычаи растоптали, русские интеллигенты спохватились и бросились восстановлять благовоспитанность отцов и дедов.

П. Б. Струве был небрежен еще и потому, что не замечал людей, не интересовался их впечатлениями. Иногда он согласен был следить за их мыслями, но их вкусы, привычки, чувства его мало интересовали. Только во вторую половину жизни в нем зашевелилось психологическое любопытство к людям. Сейчас я стараюсь восстановить его образ таким, каким он промелькнул мимо меня в самом начале своей общественной известности. Струве так же, как и другие энтузиасты марксизма, собиравшиеся вокруг чайного стола Лиды, искренне верили, что экономический материализм принесет всеобщее благоденствие, благополучие, благоустройство. Надо только в статьях, в книгах, в лекциях хорошенько растолковать мудрое учение Карла Маркса, подготовить активных работников, способных разжечь в массах классовое сознание, классовую ненависть. Это приведет к социальной революции и тогда все будет отлично.

Я не скрывала, что мне их программа не нравится. Туган налетал на меня:

— Неужели вы воображаете, что через 30 лет в Европе еще будет существовать частная собственность? Конечно, нет! Пролетариат все это сметет. Исчезнет к тому времени и полицейское государство. Все будут свободны. Не забывайте, что люди учатся летать. При развитии авиации полицейское государство не может существовать. Воздух не знает ни границ, ни паспортов.

Эти слова мне крепко запомнились. Доживи Туган до наших дней, он увидел бы, что самые жестокие формы полицейского государства существуют именно в социалистическом государстве, о котором он мечтал, что авиация не мешает людям громоздить между народами непроходимые барьеры, но зато помогает им свирепо друг друга истреблять. Но тогда в кружке Тугана царила единодушная и прекраснодушная уверенность в творческой силе марксизма. Я была одна из немногих, дерзавших задавать критические вопросы, сомневаться. Но где мне было спорить с такими книжниками. Для них все уже было доказанным, бесспорным. Они сыпали цитатами, перебирали страницы Маркса и Энгельса, точно это были волшебные мелодии Пушкина, ссылались на французов, изредка на англичан, больше всего на немцев, называли писателей, имен которых я никогда не слыхала. Где мне было за ними угнаться, перебить их догматику. Но я твердо знала, что тут что-то не так. Пыталась возражать не от знания, от здравого смысла:

— Вы хотите передать государству всю хозяйственную жизнь? Значит будет один только работодатель, от которого уже некуда будет спастись? Это будет Аракчеевщина. Я не хочу рабства. Я хочу свободы.

На меня набрасывались со всех сторон.

— Да разве то, что теперь, свобода? Где она? Да-

же в Англии ее нет. Где капитализм, там неизбежное рабство. Посмотрите на рабочих. Посмотрите на наших мужиков. Что делается в деревне? Мужику куренка некуда выгнать.

Когда доходило до мужика, они начинали спорить между собой.

— Насчет мужика это дело пустое, — говорил кто-нибудь из спорщиков. — Ульянов прав: чтобы установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном котле, иначе он все затормазит. С этим куренком народники развели сентиментальности. Пора куренка бросить. Прежде всего надо уничтожить общину. Это пережиток глухой старины. Я Воронцову прошлый раз в Вольно-Экономическом Обществе так и сказал. Что тут с ним сделалось...

Когда эти горожане начинали говорить о мужике, о земле, я чувствовала, что я знаю то, чего они не видят, не понимают. Знаю и не умею высказать. Но я любила бывать у Туганов, приходила на их писательские чаепития, когда еще сама не была писательницей. Их едкая критика буржуазной жизни находила во мне отклик. Я хорошо знала, за что можно, за что следует порицать тех, кто целью жизни поставил наживу, деньги, удовольствия. Я сама порвала с этим кругом и стала в сущности интеллигентным пролетарием. Когда умственная жизнь сделалась для меня не только удовольствием, но и трудовой необходимостью, маленькая столовая Туганов превратилась для меня в вечерние курсы, откуда я черпала сведения, привычку думать, отголоски жизни. Пожалуй, больше иностранной, чем русской. Но их теории, их программы меня не увлекали. Порой бывало даже досадно, что я не могу найти умственную опору в Тугане. Иногда крепко хотелось идти за кем-нибудь, с кем-нибудь, занять свое место в какой-то шеренге. Но я очень любила то тепло, которым они оба меня обдавали. Для

Туганов я была свой человек. Больше всего я любила бывать у них, когда они были одни, добродушный Миша не умствовал, а весело болтал с нами обеими обо всем, что приходило в голову.

Потом налетела катастрофа. Лида умерла. Ей было 30 лет. Она была полна жизни, интересов, энергии, любви. Она занимала место, где ее способности, доброта, общественные инстинкты могли широко применяться. Умерла она от злокачественной анемии. Ей страстно хотелось иметь детей. Она несколько раз была беременна и каждый раз, на восьмом месяце, выкидывала мертвого ребенка. Доктора ее предупреждали, что ей нельзя быть беременной, что это опасно для ее жизни. Но материнский инстинкт оказался сильнее чувства самосохранения. Еще раз попыталась она стать матерью. Опять не доносила. Преждевременные роды вызвали острую анемию. Она умирала медленно, знала, что умирает, но до конца сохранила бодрость, общительность, приветливость и трогательную заботу о близких. Лежа в кровати, она продолжала принимать гостей. Про свою болезнь она старалась не говорить, заставляла навещавших ее друзей рассказывать ей о их жизни, о том, что делается в литературных кружках, о всяких житейских мелочах.

Смерть Лиды Туган-Барановской опечалила не только ее близких. Для меня это была потеря незаменимая. В моей новой, еще не налаженной жизни умная доброта Лиды была большой поддержкой. Без нее стало холоднее жить, труднее находить дорогу. Я часто забегала к Александре Аркадьевне, около нее чувствовала Лиду, ее эманацию. С Михал Иванычем мы еще больше подружились. Он очень тосковал, стал беспомощный, растерянный, что-то бормотал, часами молчал, не мог работать. Очень было его жалко.

Неверующий, он, в эти темные для него дни, за-

кружился около вечных вопросов, но как-то по-детски цеплялся за возможность личного бессмертия, но без Бога. В церковь не пошел, читал не Евангелие, а Канта. Схватился за спиритизм. Его сестра, хорошенькая Е. И. Нитте, которая вдохновила Куприна на рассказ «Гранатовый браслет», устроила в своей нарядной просторной квартире на Фуршатской, сеанс с Яном Гузиком, литовским пастухом, который прославился как сильный медиум. На один из этих сеансов Михаил Иванович и меня взял с собой. При мне происходили явления, которых я не берусь объяснить, но за точность моего описания ручаюсь.

Мы сели в гостиной кругом длинного стола. Нас было человек двенадцать, может быть — пятнадцать. На одном конце стола поместился спутник Гузика, его импрессарио. Он предварительно собрал с нас деньги, помнится, по три рубля с каждого. Он же указал нам, как мы должны вести себя во время сеанса. Сам Гузик угрюмо молчал. У него был странный, тяжелый взгляд. Большая комната была слабо освещена лампой под темным абажуром, которая стояла на дальнем конце гостиной. Но очертания людей и предметов можно было различить. Около Гузика сел с одной стороны Туган, с другой В. К. Агафонов, молодой геолог, который позже занял во Франции видное место, как ученый. Туган и Агафонов крепко держали Гузика за руки. Ноги они поставили вплотную вдоль его ног и таким образом держали под контролем все его движения. Только голова его оставалась свободной. Я села рядом с Агафоновым. Все присутствующие взяли друг друга за руки, составили цепь. Но мы продолжали болтать и шутить, пока импрессарио не попросил нас помолчать. Стало тихо. Только было слышно, как медиум дышит все реже, все глубже. Через несколько минут какой-то предмет пролетел над нашими головами. Судя по звону струн,

это была гитара, которая лежала на другом конце гостиной, на столике. Какие-то шумы, шорохи доносились из углов. У меня за спиной раздался стук ложечки о стакан, который перед сеансом был поставлен на пол, довольно далеко от нашего стола. Теперь этот стакан за нашими спинами обежал стол кругом. Ложка звякала, точно кто-то постукивал ею о стекло. Как в сказке, где мышка бегает в темной горнице, позванивая колокольчиком, чтобы обмануть злую мачеху.

Кто-то из дам громко взвизгнул:

— Ай, ай, меня чем-то мохнатым бьют по лицу.

— Мохнатым? — переспросил импрессарио. — Значит пришел дух прусского солдата Вильгельма. Пожалуйста, сидите смирно. Это очень грубый дух. Если сопротивляться, он может больно ударить. Если кто-нибудь почувствует, что из-под него выдергивают стул, надо сразу встать, а то могут быть неприятные явления.

Точно в подтверждение его слов, из-под меня потянули стул. За мной никого не было. Слева от меня сидел Агафонов, справа тоже кто-то из хороших знакомых. Не стали бы они шутить такие глупые шутки. Тем более, что их руки были в моих руках, я не могла бы не заметить их движения. Повинуясь указаниям, я встала, не разрывая цепи, продолжая держать руки соседей. Через несколько мгновений тот же таинственный некто вдвинул стул на старое место. И вот тут-то произошло самое для меня непонятное и неприятное. Я хотела сесть, но оказалось, что на стуле кто-то сидит и не дает мне сесть. А стул был пустой. Еще несколько мгновений и это странное присутствие точно растаяло. Стул опустел. Но только что я села, как мне по лицу несколько раз провели чем-то мохнатым, точно звериным хвостом смазали.

Вот и все, что я видела от Гузика. Отнеслась к

этим явлениям с прохладным любопытством, а бедняга Михаил Иваныч никак не мог расстаться с безумной надеждой материально увидать, услыхать, почувствовать свою покойную жену и воображал, что Гузик как-то свяжет его с Лидой. Он настойчиво просил импрессарио, твердил бессвязно и тоскливо:

— Вы говорите это Вильгельм? А нельзя его попросить, чтобы он ушел? Прислал другого... Кого мы хотим...

— Сегодня нельзя. Сеанс кончен. Медиум уже просыпается.

Действительно, было слышно, как меняется ритм дыхания Гузика, как он шевелится. Во время сеанса он был совершенно неподвижен. Зажгли свет. Медиум сидел бледный. Взгляд странных глаз стал еще тяжелее. Все это было для меня и необычайно и чрезвычайно интересно. Но зачем было связывать стук ложечки и мохнатые прикосновения с душами усопших. Я не могла понять, как Михаил Иваныч находит в этих бессвязных явлениях утешение. Но еще больше было его жалко!

Занятия спиритизмом скоро оборвались. И Туган и я были арестованы за участие в уличной демонстрации. Он был выслан из Петербурга. Не надолго.

Глава третья

ПЕРВЫЕ ДОЛОЙ

Начинался XX век. Что-то круто менялось вокруг нас. Зазвучали новые голоса, послышался новый, слитный гул, как весной, когда бегут мелкие ручьи. Именно слитный. Все еще было смутно. Расхождения в мыслях, в программах, в чувствах еще не разрослись в непролазные партийные частоколы. Всеобщее романтическое стремление к политической свободе, к

конституции, понималось по-разному, но обаяние самого слова — КОНСТИТУЦИЯ — захватывало всех.

О ней много говорили и думали в царствование и Александра I и его племянника, Александра II. Угрюмо замолчали, после того как 1-го марта 1881 г. террористы убили Царя Освободителя. В царствование его сына, Александра III, трудно было поддаваться политическим мечтам. Общественная самодеятельность была притушена на 10 лет, но в 1891 г. на Россию обрушился неурожай, в некоторых местностях превратившийся в настоящее бедствие. Это побудило правительство временно дать общественности возможность работать.

В июле 1891 г. в газетах появилось письмо неизвестного сельского священника. Он, из глухого угла Казанской губ., сообщал, что в его приходе люди мрут от голода. Такие же известия стали приходить из других мест: из губерний Нижегородской, Саратовской, Тамбовской. Голод принял грозные размеры. Общество сразу встрепенулось. Стали образовываться комитеты помощи голодающим. Старые учреждения, как Красный Крест, объявляли сборы, посылали на места продовольственные и медицинские отряды, т. к. в голодных областях развилась тифозная эпидемия. 17-го ноября 1891 г. был издан высочайший рескрипт, где говорилось о «великодушных усилиях частной благотворительности, ставшей на святое дело христианского милосердия». В рескрипте сообщалось об учреждении Особого Комитета Помощи в неурожайных местностях. Чтобы подчеркнуть важность этого дела, председателем комитета был назначен Наследник Цесаревич, будущий царь Николай II. Среди всех воззваний громче, заразительнее всего прозвучал голос Льва Толстого. Он не только собирал деньги, но, со свойственной ему энергией, сам объезжал голодные деревни и устраивал столовки.

Наконец власть и общественность стали сотрудниками. Их сблизило народное бедствие и сознание общей ответственности. Это продолжалось недолго, года полтора. Прошла острая беда и правительство опять стало хмуро, недоверчиво и недоброжелательно коситься на всякое проявление общественной самодеятельности. Но толчок был уже дан. Обострилось сознание, что такая богатая страна как Россия может прокормить своих детей, если власть во время примет меры. Мысль, раз пробужденная, уже не останавливалась.

Общественное настроение превращалось в общественное движение, которое скоро должно было разрастись в то Освободительное Движение с большой буквы, которое подготовило революцию 1905 года. Это все отдельные этапы, установить хронологические границы которых не легко. Но у каждого из этих моментов была своя динамика, свой психологический темп.

В организме народов, как в организме отдельного человека, бывают периоды внутреннего брожения. Иногда это признак худосочия. Иногда, как это было в России, признак избытка сил. А Россия конца XIX и начала XX века накопила много сил. Реформы Александра II, новый суд, земское и городское самоуправление, армия, основанная на всеобщей повинности, освобождение от рабства миллионов крестьян, перестройка экономической жизни, рост народного образования, университеты, литература, все эти коренные преобразования середины XIX века выдвинули новые потребности, воспитывали новые характеры, требовали простора, личного почина, пробуждали общественные инстинкты и навыки. Правительство открывало школы, увеличивало число грамотных и образованных людей, и в то же время боялось просвещения, старалось держать под опекой мысли, в особенности

политические. Не было политических партий, не было свободы слова, печати, совести. Даже разрешение учить ребят грамоте, открыть кооперативную лавку, прочесть публичную лекцию, давалось с трудом. А населению все это было необходимо. И люди для этой деятельности были. Накопилась политическая энергия, социальная отзывчивость, потребность высказываться, проводить свои мысли в жизнь, стремление приносить пользу родине, жить и общими, а не только узкими личными интересами, словом все то, на чем держится общественность. Правительство не понимало, что этим силам необходимо найти применение. Оно не доверяло своим подданным, особенно людям образованным. А они не доверяли правительству.

Власть подводила под общее понятие неблагонадежности всех, кто позволял себе слишком откровенно высказываться о народных нуждах или критиковать правительство. Правительство боялось людей с инициативой, рассчитывало справиться со всеми государственными задачами при помощи чиновников. Правда, жизнь брала свое и мало-помалу выработался новый тип чиновника, честного, преданного делу, не похожего на тех уродов дореформенной России, которых описывали Гоголь и Щедрин. Мы их оценили только тогда, когда революция разогнала и искоренила старый служилый класс. Но даже эти просвещенные, очень добросовестные чиновники не в состоянии были удовлетворить всем нуждам огромного государства. Нельзя было управлять только приказами из центра. Пора было разгрузить, распределить власть, дать населению больше самодеятельности. Этого самодержавие боялось. При Александре III земства, созданные его отцом, подвергались стеснениям, финансовым и правовым, деятельность их была урезана. И, что было еще хуже, крестьян продолжали дер-

жать под опекой, не уравняли их в правах с остальным населением, подвергали телесному наказанию.

Перед правительством было две возможности — или привлечь к себе свежие силы и при их помощи направить зашумевшие вешние воды на свои колеса, или поставить перед ними неприступную плотину. Власть попыталась идти вторым путем.

Лорд Биконсфильд, умный английский еврей, который сделал королеву Викторию первой императрицей новорожденной Британской Империи и омолодил одряхлевших тори, говорил, что политика есть искусство сначала овладеть властью, потом ее распределить. У русского правительства, вопреки его вековому опыту, способности распределять власть не оказалось. Медленно втягивало оно в огромную государственную машину свежие силы из обширного народного резервуара. Это происходило не от узкой сословной замкнутости. Образование и способности открывали в России путь к любой службе. Несмотря на неосторожные слова министра народного просвещения Делянова, что кухаркиным детям не к чему давать образование, гимназии и университеты были всесословны. Получив диплом, можно было высоко подняться по бюрократической лестнице. Дворянские дети и в армию, и в министерства попадали чаще, чем разночинцы, потому что их родители имели больше возможностей давать им образование и передавали им старые культурные навыки. Но уже миновало то время, когда все должности заполнялись дворянами. На это дворян просто количественно не хватило бы. Еще Петр Великий открыл дорогу всем способным, трудолюбивым, или просто ловким людям, приказал знатность считать по годности. Последним начальником штаба при последнем самодержце Российском был крестьянский сын, генерал Алексеев. Это не было исключением. Его сподвижником и в императорской

армии и в добровольческой был сын сибирского казака, генерал Корнилов.

Некоторая часть дворянства сама отходила от правительства, хотя власть старалась сохранить, удержать около себя этот служилый класс. Чтобы поддержать поместное дворянство, был учрежден Дворянский банк. Это помогло помещикам приспособиться к новым экономическим условиям, к платному труду. Но для власти дворяне уже не были такой крепкой опорой. Среди дворян не было политического единомыслия, не было цепкого классового сознания, как например у прусских юнкеров. Из дворянских гнезд, продолжая традицию декабристов, вышло не мало либералов и революционеров. В моей собственной семье была София Лешерн фон Герцфельд, был мой брат, Аркадий Тырков. Я к подлинной революции не приобщилась, остановилась на полпути, но и верноподданной русского царя назвать себя не имею права. Бунт и во мне бродил.

К началу XX в. самодержавие опиралось не столько на дворян, сколько на крестьян. Мало сказать, что они были покорны царской власти. Они просто были с ней органически связаны. В этой связи с мужицкой стихией, в том, что крестьянство срослось с нею, была сила и цельность самодержавия, может быть, и России. Крестьян сближало с царем православие и интуитивное государственное чутье. Весной 1917 г. курский мужик, с которым я случайно разговорилась в поезде, строго сказал мне:

— Какая была держава, а вы что с ней сделали?

Мужик понимал, какая Россия была великая держава, а мы, интеллигенты, плохо понимали. К государству мы подходили не жизненно, книжно. Религию не только марксисты считали пережитком вредных суеверий, опиумом для народа. Так называемые охранительные, правые течения русской мысли были бли-

же к народному мировоззрению, в них проявлялось понимание его. Их с народом объединяли бытовые традиции, православие и самодержавие, как раз то, от чего интеллигенция яростно открещивалась. Она от церкви отшатнулась, исподтишка ее высмеивала, опорачивала. Не штурмовала церковь только потому, что это было невозможно по полицейским правилам.

Сословная замкнутость, окружавшая правительство при крепостном праве, понемногу рассеивалась. На смену ей сгущалась не менее опасная замкнутость идейная, узость, неподвижность мысли. Достаточно было одного подозрения в вольномыслии, чтобы испортить карьеру и сыну кухарки, и генеральскому сыну. Это отчуждало от правительства людей независимых и образованных. Само собой разумеется, что и среди сторонников и сотрудников власти были люди вдумчивые, иногда даже более вдумчивые, чем левые. Они стояли ближе к государственному аппарату, лучше знали его сложность и хрупкость. Но сила оппозиции была в ее идейной пылкости, в ее активности, в самой ее запретности, в том, что она указывала на подлинные недостатки власти, сулила удовлетворить подлинные потребности населения, слишком долго остававшиеся неудовлетворенными. Не только в отдельных людях, но в целых общественных слоях, пробудилась жажда власти. Тут говорило не только личное честолюбие, но и вера в свою политическую идеологию, в то, что оппозиция сумеет сделать народ счастливее. Самодержавный строй во многом устарел, не удовлетворял ни экономическим нуждам растущей страны, ни политическим запросам тонкого верхнего слоя. Оппозиция притягивала к себе все новые круги. Сюда входили земцы, помещики, городская надклассовая интеллигенция, профессора, учителя, врачи, инженеры, писатели. Шумнее, напористее всего выдвигались адвокаты. Рабочие еще считались

единицами. Я их в своей среде не видала, даже когда бывала у марксистов.

Оба лагеря, правительственный и оппозиционный, были одурманены, ослеплены предвзятыми идеями и предрассудками. Слепоте правительства отвечала слепота оппозиции. Самодержавие не понимало общественного стремления к реформам. Левые не понимали психологии самодержавия, его государственной жизненной сущности, его исторических заслуг. Оппозиция считала, что самодержавие навязано народу, что оно держится только полицейскими мерами, искусственной поддержкой дворянства, что формула — православие и самодержавие — не имеет в массах корней. В интеллигенции было упрямое нежелание понять мысли противника, вдуматься в правительственную политику.

Что бы власть ни делала, все подвергалось огульной, недоброжелательной критике. Левые готовы были «бороться и страдать за народ», служить ему, но им и в голову не приходило, что ради этого надо служить и российскому государству, что любовь к народу обязывает любить и беречь наш общий дом, Российскую Державу. Большинство интеллигентов не знало, чего народ хочет, какого счастья ищет, на каких верованьях и преданьях держится крестьянская жизнь. Свои стремления, свои настроения навязывали они народу, переносили на него. Всякая тень бережного отношения к прошлому, традициям, вызывала в левом общественном мнении резкий отпор, портила репутацию того писателя или общественного деятеля, который в чем-нибудь отступил от левого катехизиса, проявил уважение к охранительным началам. Даровитые ораторы красноречиво доказывали, что в России нечего охранять, нечего беречь. Точно и не было в истории России никаких творческих проявлений народно-

го духа. Одно только ненавистное самодержавие, чужеядное растение.

На огульную враждебность оппозиции власть отвечала таким же, только несравненно более властным, огульным недоверием к общественным силам. С особым, нескрываемым раздражением относилась власть к земствам и университетам. Это были рассадники общественного мнения, а правительство самое существование общественного мнения считало нежелательным. Университеты действительно были школами, где накапливались не только знания и умственные навыки; там же складывались определенные течения, вырабатывалось миросозерцание, завязывались кружковые связи, заменявшие недозволенные партийные группировки. Профессора пользовались и у молодежи и в обществе исключительным авторитетом, не только научным. На них оглядывались, от них ожидали руководства. Такой сложился порядок, вернее беспорядок на Руси, что правительство не доверяло профессорам, профессора фрондировали, а студенты бастовали. Это не было русским изобретением. Так бывало и в других странах, где не было политической свободы. Но в Европе студенческие дела не брались всерьез. В России обе стороны придавали им значение. Правительство тревожилось, общество злорадствовало. В сущности это были ребяческие забавы взрослых шалунов, на которых оппозиции не гоже было опираться, из-за которых самодержавию не стоило волноваться. Придавать им значение было плохой политикой.

Власть, точно нарочно, восстановляла против себя академические круги. Вместо того, чтобы использовать знания способных людей, которые были так нужны России, правительство отбрасывало их от просветительной деятельности. Некоторые, как П. Г. Виноградов и М. М. Ковалевский, уезжали заграницу и

там находили себе приложение и почетное признание. Их появление в университетах Англии и Франции в глазах запада было доказательством отсталости и реакционности царского правительства, которое не умеет ценить людей науки. Другие, как Владимир Соловьев, оставаясь в России, попадали в полутень, теряли прямую связь с молодежью, возможность влиять на нее.

Случай с Владимиром Соловьевым, который из-за одной лекции, особенно не понравившейся министру просвещения, навсегда потерял доступ к студентам, — один из самых печальных примеров правительственной близорукости. Это вроде тех цензурных притеснений, которые заставили другого православного писателя, Хомякова, монархиста и славянофила, печатать некоторые свои произведения заграницей. Соловьев был глубоко верующий христианин, философ, умевший ясно и увлекательно писать о сложных религиозных предметах. В нем был и талант и пламень. Он был, казалось, призван пробудить в русской образованной молодежи угасающий христианский дух.

Его от этой молодежи отогнали, но призвание свое он осуществил, главным образом позже, уже после смерти. Его слова заставили многих впервые подумать о Боге. Через его влияние прошли почти все русские богословские мыслители первой половины века. Но его при жизни отогнали от молодежи. А бездарных законоучителей, которые только усиливали отчуждение молодежи от церкви, поощряли.

Безбожие было самой опасной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто пришел после меня. С этой заразой церковь бороться не умела. Синод материализму противопоставлял меры не духовные, материалистические и потому бесплодные, накладывал на православие мертвящую казенную печать. Это уродовало церковную жизнь, отдаляло многих образо-

ванных людей и от церкви, и от религии. Интеллигенция, благодаря своему религиозному невежеству, не понимала различия между божественной правдой вечной церкви и недостатками и ошибками церкви земной.

Также было и с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно. И очень невыгодно. Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко самодержавию, полагалось отвергать, поносить. В пестрой толпе интеллигентов было большое разнообразие мнений, обо многом думали по-разному, но на одном сходились:

— Долой самодержавие!

Это был общий лозунг. Его передавали друг другу, как пароль, сначала шёпотом, вполголоса. Потом все громче, громче. Правительство могло бы без труда справиться с немноголюдными революционными организациями, не будь они окружены своеобразной питательной средой. Заговорщиков прятали, поддерживали, им сочувствовали. Радикализм и бунтарство расплывались в повальную болезнь. Революция содержалась, действовала на деньги буржуазии. Террористам давали деньги богатые текстильщики, как А. И. Коновалов и Савва Морозов, чайные миллионеры, вроде Высоцких, титулованные дворяне, чиновники, доктора и инженеры с большими заработками, большие дельцы, банкиры.

Первые приступы революционной лихорадки начали проявляться в самом конце XIX в. В течение следующих двух десятилетий перемены шли с такой головокружительной быстротой, что хронологию этой эпохи надо отмечать не по годам, а по месяцам. 17-го октября 1905 г. Николай II издал манифест, который дал долгожданное народное представительство и был первым шагом к конституционному строю. Это не оста-

новило, а разожгло революционное движение. В 1906-7 гг. оно приняло особенно яростный, террористический характер, пока Столыпин не перебил смуте хребет. Во время первой мировой войны наступило внутреннее успокоение, оппозиция заключила с правительством если не мир, то временное перемирие. Оно было нарушено, когда война еще была не кончена. В 1917 г. вспыхнул настоящий революционный пожар.

Но в то время, о котором я сейчас пишу, о пожаре не думали, а если и думали то по-детски воображали, что огонь только выжжет язвы старой России. Настроение было бодрое, праздничное, а ведь главным двигателем и было настроение. То, что накопилось в сердцах, было сильнее доводов и рассуждений. Мысли и теории плелись за общественными эмоциями, а не руководили ими. В оппозиции здравый смысл, знание жизни, ясность суждения не слишком ценились. Непримиримость и отрицание существующей власти ставились выше практического предвидения. Ко всякому сговору с правительством относились с насмешкой.

По мере того как борьба за политическую свободу разгоралась, обе стороны, и оппозиция, стремившаяся к власти, и самодержавие, не желавшее делиться властью, проявляли все более губительное взаимное непонимание. Правительство всей оппозиции приписывало одинаково разрушительные стремления, не хотело разбираться в ее оттенках, преувеличивало ее силу, тогда еще невесомую. Оппозиция преувеличивала самодержавный гнет и бедствия народные. Ни та, ни другая сторона не допускали в противнике благородных побуждений и добрых намерений, хотя и то и другое, конечно, было по обе стороны баррикады. Обе стороны, не понимая друг друга, оказались не в состоянии понять ни Россию, ни подлинные интересы народа. Оппозиция хотела все переделать по-новому. Правительство цеплялось за все старое.

Как и многие катастрофы, внутренние и внешние, непримиримость между властью и обществом порождалась прежде всего взаимным невежеством. Вина за русскую катастрофу падает не на народные низы, а на верхи, на всех образованных русских людей, как тех, кто был в оппозиции, так и тех, в чьих руках была власть. Это наша круговая ответственность. Теперь, десятки лет спустя, когда это встает с запоздалой отчетливостью, многое должно вызывать покаянные чувства. Но далеко не во всем виновата оппозиция. В ней был подлинный энтузиазм, честная потребность служить народу, улучшить его жизнь. Если вычеркнуть Освободительное Движение, его буйное горение, не только потускнеет жизнь нескольких поколений, но и духовная история России обеднеет.



Первые более внятные проявления Освободительного Движения и его нарастание мне пришлось наблюдать в писательской среде, на литературных ужинах, или банкетах, как их называли в подражание французским банкетам, которые подготовили во Франции революцию 1848 г. Для наших обедов, скромных и по обстановке и по речам, пышное название — банкет, — звучало иронически.

Собирались мы в кухмистерской, на углу Николаевской и Кузнечного переулка, в грязненьком помещении, где купцы справляли свадебные обеды и похоронные тризны. Неважная была еда. Неизменно подавалась какая-то таинственная рыба лабардан. Так и спрашивали друг друга:

— Что же, пойдем рыбу лабардан есть?

Платили за ужин, насколько помню, рубля полтора с физиономии, не считая вина. Для меня это была сумма не малая, которую я не всегда могла тратить.

А бывать на банкетах хотелось. Там, среди пишу-

щей братии, явственнее слышалось журчание подземных, весенних ручьев. Речи произносились очень туманные, но каждый намек подхватывался, вызывал сочувственные рукоплескания. Особенным успехом пользовались речи нашего бессменного председателя, милейшего Николая Федоровича Анненского. Брат поэта, Инокентия Анненского, он был очень далек от его печального эстетизма, но по-своему был тоже человек даровитый, и очень жизненный. Н. Ф. Анненский был статистик и журналист, постоянный сотрудник «Русского Богатства», но радикального догматизма этого народнического ежемесячника в нем не было. Живой, остроумный, приветливый он был отличным председателем, умел всех расшевелить, объединить, сглаживать расхождения. Он придавал четкость тому, во что другие вкладывали теоретическую угрюмость. Простой и ровный, без тени догматизма или генеральства, он заражал весельем, сыпал забавными шутками и политическими намеками, умел в недосказанных речах выразить то общее стремление к политической свободе, которым все были полны. Только на этом и можно было объединить литераторов, по натуре своей склонных не к согласию, а к анархическому разброду, если не к ссорам.

Вряд ли где-нибудь сохранились записи речей на этих банкетах. Разве только в архивах охранного отделения. Среди лакеев, подававших нам рыбу лабардан, конечно, были агенты охранки. Мы это знали, этим гордились. Это возвышало нас в собственных глазах. Как один из маленьких этапов Освободительного Движения, и эти банкеты имеют свой исторический интерес. Они происходили в ту подготовительную пору, когда еще только намечалось, как распределять силы и мысли, чтобы идти на штурм самодержавия. При мне ни разу не вышли участники банкетов с развернутыми знаменами из кухмистерской на улицу. Но мно-

гие лозунги, которые позже были написаны на уличных знаменах, впервые были вынянчены на наших ужинах. Еще нельзя было вслух называть вещи своими именами, хотя многие уже рвались произнести, выкрикнуть магическое слово КОНСТИТУЦИЯ.

Валерий Брюсов даже написал звучное стихотворение, посвященное таинственной красавице и ее верным рыцарям:

Она не молвила ни слова
И не явила нам лица,
Но громче рокота морского
Звучали сильные сердца...

И читатели сразу понимали, что ОНА, значит конституция. Если эти стихи читались на литературном вечере, то публика бешено аплодировала.

На банкетах в кухмистерской стихов не декламировали, но учились произносить речи. В этой длинной, прокопченной табачным дымом, неряшливой столовой и я произнесла мою первую публичную речь. Меня на это подстрекнул, вернее вытащил, наш властный председатель. Анненский без всякого предупреждения обращался к кому-нибудь из присутствующих, и заявлял:

— Слово за вами. Что вы имеете нам сказать?

Его не все слушались. Некоторые упирались, отмахивались, отмалчивались. Русские языки еще только начинали развязываться. Писатели больше любили разговаривать в небольшой компании, а не речи произносить. Писатели вообще предпочитают высмеивать чужие обмолвки, а сами боятся показаться смешными. На литературных банкетах бывали не только писатели, но и адвокаты. Они были главными говорильщиками.

Как-то раз, закончив свое застольное слово, как

всегда шутливое, Николай Федорович неожиданно обратился ко мне:

— Господа, мы все согласны с тем, что бредем по темному лабиринту, из которого необходимо найти выход. Нам нужна нить Ариадны. Кто знает, может быть, волшебный клубок в руках одной из присутствующих? Ариадна Владимировна, может быть, вы укажете нам кратчайшую дорогу к ней... Ну, вы сами знаете, к кому... Колдовские слова вслух произносить не полагается.

Пришлось встать. Все повернулись в мою сторону. Я никогда еще не говорила публично и за минуту перед этим не подозревала, что мне придется говорить. Как известно, большинство экспромтов заготовляются заранее. У меня ничего не было заготовлено. Было страшновато. Но я с детства выработала для себя правило — если страшно, иди прямо на то, что пугает. Пошла и тут. Наскоро собрала какие-то отрывки мыслей, мелькавшие в мозгу, сказала что-то сбивчивое, перепутанное, но не отступила. Мне похлопали, за храбрость, за то, что я была моложе большинства присутствующих, за то, что говорит женщина. Женщины, правда немногие, бывали на банкетах, но речи редко произносили.

Даже бойкая, находчивая Тэффи открещивалась от речей. Читать свои вещи она соглашалась и делала это очень хорошо, но говорить ни за что не хотела. А в частной беседе это была остроумная, увлекательная собеседница, тонкая, занимательная, полная блеска, с неожиданными переходами от шутки к горькому пессимизму. Но это чаще всего были разговоры для немногих.

Бывала на банкетах еще другая даровитая писательница Е. П. Леткова-Султанова. Высокая, стройная, с живыми темными глазами, с темными, уже припудренными сединой волосами, отлично причесанная,

элегантно одетая, она своей нарядной прибранностью выделялась в писательской толпе. На банкеты мужчины приходили, конечно, в пиджаках. Некоторые, как Горький, Арцыбашев, Леонид Андреев, в блузе, толстовке. Дамы не надевали вечерних платьев, да у большинства их и не было. Какая-нибудь кофточка поновее, вот и довольно. Только позже, после японской войны, и в этих кругах передовой, трудящейся интеллигенции, женщины стали больше следить за своими нарядами. В лабарданские времена в писательской среде, кроме Летковой и А. М. Коллонтай, еще не было франтих.

Для многих из нас незатейливые писательские банкеты были приготовительным классом для будущей политической и общественной деятельности. Для правительства это было одним из способов пополнять, проверять списки неблагонадежных, хотя среди поедавших в кухмистерской рыбу лабардан и запивавших ее дешевым крымским вином, большинство даже не знало, что эти трапезы устраивают заговорщики из Союза Освобождения. Мы только разговаривали, да и то вполголоса, полусловами. Стучали даже не картонными мечами, а просто вилками. Но, конечно, и на банкетах копилось взрывчатое настроение, и они помогали росту революционного движения. Мы это чувствовали и радовались, не отдавая себе отчета, во что может обойтись России, в общем счете, и наш лабардан.

Не частые и не многолюдные писательские сборища были только одной из ячеек, где вырабатывался и копился революционный динамизм. Университеты были более приметными, более влиятельными и шумными центрами оппозиционной деятельности. Уже в конце XIX века прошли волны студенческих сходок и забастовок. Молодежь часто против чего-нибудь протестовала, останавливая всю академическую студенче-

скую жизнь, увлекая за собой профессоров, которые и сами сочувствовали студенческому движению. В 1899 году были довольно шумные забастовки. Несколько зачинщиков было арестовано. Казалось, на этом все и кончится. Но правительство неожиданно приняло меры, по тем временам казавшиеся очень суровыми. Студентам закон разрешал отбывать повинность после окончания высшего учебного заведения. На этот раз арестованных забастовщиков заставили сразу отбывать повинность. В этом распоряжении увидали возвращение ко временам Николая I, хотя тогда студентам, за вольнодумство, забривали лбы и на долгие годы отсылали их рядовыми в кавказскую действующую армию. С этого момента около университетов все время шли беспорядки. Правительственные распоряжения не очень успокоительно действовали на волновавшееся общественное мнение, которое было против этих мер, считало, что нельзя всеобщую воинскую повинность обращать в карательную меру.

Все это дразнило русское общество. В начале марта 1901 г. по Петербургу пошли слухи, что в ближайшее воскресенье на Казанской площади состоится демонстрация протеста. Не знаю, кто дал для нее сигнал, сами студенты, или революционные организации. Скорее последнее.

Накануне, в субботу вечером, я пришла навестить А. А. Давыдову. Это было вскоре после смерти Лиды. Туган-Барановский жил у тещи. Она и рада была его держать около себя, и не рада. Ее и раньше сердила его ребяческая, отвлеченная беспомощность. После смерти Лиды к этому примешивалось глухое, несправедливое раздражение, точно он был виноват в смерти ее дочери. Хотя бедный, добродушный Миша был виноват только в том, что и ему так же, как его жене, страстно хотелось иметь детей.

Когда я пришла, я застала всех в большом воз-

буждении. Александра Аркадьевна, подняв очки на лоб, строго спросила меня:

— Дина, надеюсь вы не идете?

— Куда?

Раздался смех. Муся, хорошенькая, остроглазая приемная дочь Давыдовой, насмешливо сказала:

— Притворяется! Отлично знает, что завтра на Казанской площади демонстрация.

Мне нечего было притворяться. Я действительно ничего не знала. Миша, как всегда спотыкаясь, проглатывая слова, начал что-то рассказывать про будущую манифестацию. Его нетерпеливо перебил В. К. Агафонов:

— Я вижу вы впрямь ничего не знаете. На завтра, в два часа, у Казанского собора назначена массовая демонстрация протеста. Сбор всех частей. Идем?

На веселый призыв тогда еще молодого, но уже известного ученого-геолога я также весело ответила:

— Конечно, идем.

Александра Аркадьевна еще выше сдвинула очки и покачала головой:

— Дина, этого я от вас не ожидала. У вас дети, куда вы потащитесь на демонстрацию. Зачем все это? Раз есть воинская повинность, все эти молодцы когда-нибудь попадут в солдаты. Не все ли равно, раньше или позже?

— Да нет, как же ты не понимаешь, — забормотал Миша, — ведь это насилие, возмутительное издевательство над личностью. Конечно, необходимо протестовать. Необходимо показать самодержавию, что мы не все стерпим. Пора выйти на улицу. Пора приучать массы к выступлениям.

Вспоминая теперь эти, хорошо мне запомнившиеся слова, я думаю, что демонстрацию устроили с.-д. Туган принадлежал к их партии. Тогда мне это не при-

шло в голову. Александра Аркадьевна слушала Мишу внимательно, но в ее темных глазах мерцала насмешка:

— Что же, Миша, ты, значит, завтра собираешься бунтовать вместе со студентами?

Он утвердительно мотнул головой:

— Собираюсь.

Насмешливые глаза хозяйки обратились на меня:

— А вы, Дина?

— Александра Аркадьевна, и я пойду. Не усидеть дома. Ведь баррикад еще не предвидится. Ничего страшного не будет.

— Полчаса тому назад вы о манифестации даже не слыхали, а теперь так и рветесь в бой. Тоже критически мыслящие личности! — уже с явной насмешкой сказала она. — Не худо бы подумать, прежде чем идти.

— Да что же тут особенно думать? Пойду, посмотрю, потом приду к вам, все расскажу, а вы меня чаем с вареньем угостите.

— Ваше дело. Но уж, если вы идете, то я вам Мишу поручаю. Присмотрите за ним и приведите его домой.

Все смеялись. Туган уверял, что он будет за мной смотреть, а не я за ним. На следующий день он и Агафонов зашли за мной. С ними была и жена Агафонова, Юлия Спиро, молодая, хрупкая, балованная, к уличным происшествиям вряд ли приспособленная.

В первый раз увидала я большую уличную демонстрацию. Когда политика выходит на улицу, она выносит с собой иногда шумные всплески человеческих волн, иногда затишье, затаенность. В это воскресенье сначала было тихо. Но как только мы вышли на Невский, сразу почувствовалось, что в жизни Петербурга что-то нарушено. Ворота домов, двери подъездов были заперты, как ночью. Трамваи не ходили.

Изредка проезжал извозчик, или собственный экипаж и быстро сворачивал в боковую улицу. Не было обычных прохожих и гуляющих. С северного конца, где блистала Адмиралтейская игла, никто не шел нам навстречу. И с нашей стороны и оттуда все тянулись к Казанскому собору. Шли небольшими кучками, состоявшими главным образом из молодежи. На юных лицах сияло горделивое сознание:

ИДЕМ ПРОТЕСТОВАТЬ.

Еще несколько шагов и все мы станем, если не участниками, то сочувствующими свидетелями чего-то внушительного и чрезвычайного. Полиции было много. Изредка проезжали казачьи разъезды. Слышно было звонкое цоканье копыт о мостовую, но не было привычного стука колес и звяканья пробегающих трамваев. Зато топот человеческих ног становился все слышнее, громче. Людской поток сгущался. Начиная с Гостиного Двора, манифестанты шли сплошными вереницами по тротуару, захватывали и мостовую, хотя полиция старалась держать середину Невского пустою.

Мы прошли Милютины ряды, подошли к Екатерининскому каналу. Казанская площадь уже была залита народом. Кругом цепью тянулись конные полицейские. Впереди их, в сторону собора, казаки с лихо надвинутыми на одно ухо бескозырками заставляли своих коней плясать перед толпой, занимавшей все пространство от памятников Барклая де Толли и Кутузова до широких ступеней собора. Еще дальше, под высокой колоннадой, подковой выступающей на площадь, бегали взад и вперед какие-то люди, что-то кричали, подавали какие-то сигналы. Мы остановились. Агафонов с недоуменьем спросил неизвестно кого:

— Что же мы дальше должны делать?

Точно в ответ ему новый отряд полицейских не-

торопливо подъехал от канала и стал вплотную между нами и толпой около собора. Там происходило какое-то движение, оттуда доносился гул голосов. А с обоих концов Невского наплывали все новые и новые манифестанты. Некоторые ныряли между лошадиными мордами и уходили туда, в середину, где что-то происходило. Полицейский офицер всех пропускал, никого не останавливал. Несколько раз он пристально взглянул на меня и моих спутников, потом, слегка нагнувшись с седла, сказал вежливо, но с улыбкой:

— Вы, господа, лучше шли бы домой...

Туган затоптался на месте, привстал на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть, что там делается, повернулся ко мне, взял меня под руку:

— Что же, Ариадна Владимировна, пойдемте домой, мы уже все видели.

Он был высокого роста, мог смотреть через головы толпы, ему было виднее, но и я при моем небольшом росте не могла не увидать, как над группой студентов, сплотившихся на ступеньках собора, взвился маленький, красный флажок. В ответ на его мельканье раздался топот казачьих лошадей. Смутно донеслись слова команды. Я совершенно забыла свое обещание посмотреть за Мишей. Я знала только одно, что я должна пройти туда под колоннаду, на ступеньки.

— Как домой? Я туда иду!

Полицейский опять наклонился с седла, еще пристальнее посмотрел на меня и внушительно предупредил:

— Идите. Туда я вас пропущу, но назад вы, может быть, и не пройдете.

Я не обратила на него внимания. Я пробиралась между лошадьми, которые нервно хрустели зубами о сталь мундштуков и перебирали копытами. Толпа нер-

вит лошадь еще больше, чем всадника. Туган, не выпуская моей руки, покорно шел за мной. Агафоновых мы на время потеряли. Да я о них и не думала. Боюсь, что я в ту минуту вообще ни о чем не думала, просто лезла дальше и дальше, чтобы принять участие... В чем? Я не собиралась выкидывать или нести красное знамя, разбрасывать листки, содержание которых мне даже не было известно, произносить речи. Драться с казаками, подставлять под нагайки свою спину я тоже не хотела. Но прямо передо мной, на широких каменных церковных ступенях, несколько сот юношей и девушек отбивались от наступавших на них казаков. Я должна быть, если не с ними, то как можно ближе к ним, я должна разделить их судьбу.

Оттуда доносились истерические женские голоса. Визг. Вопли. Я несколько раз услыхала магическое слово — долой! долой! — По всему полуциркулю колоннады метались темные фигуры демонстрантов. Те, что были внизу, уже перемешивались с казаками. Манифестанты были, конечно, безоружны. Голыми руками отбивались студенты и студентки от налетавших на них с нагайками казаков, разбегались от конного натиска, кричали, перебегали с места на место, но с площади не уходили. Вышли протестовать против самодержавия, так уж надо стойко держаться, надо все до конца проделать. Но что?

Какая-то девушка схватилась за узду казачьей лошади, повисла на ней. Казак нагайкой сбил с девушки шляпу. Волосы ее распустились. На щеке показалась кровь. Недалеко от меня, защищаясь от нагаек, два студента закрывали лицо руками, по которым текла кровь. Два городовых тащили под руки совсем молоденькую девушку. Она исступленно кричала, отбиваясь от них.

Кровь бросается в голову, как вино, даже если ее

мало пролито. Вид этих окропленных кровью людей опьянял, требовал каких-то поступков, будил желанье ответить ударами на удары. Но как? Казаки крутились и вертелись, сжимая в конском кольце тех, кто был на ступеньках собора. Повидимому там собрались зачинщики. У них, может быть, был свой план. У нас с Туганом его не было. Огромное большинство пришли, как и мы, посмотреть. При случае и поддержать. Но как? Чем?

Мы с Мишей без труда подошли к ступенькам собора. Кругом нас была не только молодежь, мелькали и знакомые лица писателей, с кем мы не раз ели рыбу лабардан. Они тоже не очень знали, что же дальше делать? Такое же недоумение увидала я 16 лет спустя, на лицах тех, кто вызвал февральскую революцию. Масштаб был иной, но в психологии было несомненное сходство.

На Казанской площади нам некогда было задумываться. Толпа была слишком возбуждена, чтобы добровольно разойтись, а полиция ее не разгоняла. Среди демонстрантов не было никакой паники, только слышались громкие негодующие возгласы:

— Безобразие... Долой новый указ! Возмутительно! Не потерпим! Долой!

Манифестанты понемногу сбивались вместе. Некоторые были без шапок, без шляп. Тут была не только университетская молодежь, но и люди постарше. Среди них я увидала П. Б. Струве. Он был в совершенном исступлении. Увидав Тугана, он бросился к нему и, размахивая руками, захлебываясь кричал:

— Это чорт знает что такое! Как они смели? Как они смеют меня, меня́ по ногам колотить нагайкой! Вы понимаете? — меня!...

Он хлопал руками по своему пальто, на котором нагайка оставила грязные следы. Мы все были возбуждены, возмущены тем, что творилось кру-

гом. Но жизнь любит смешивать трагическое и комическое и, глядя на взлохмаченные рыжие волосы и рыжую бороду Струве, на его искаженное от негодованья лицо, слушая его нелепый, нескладный несколько раз повторенный выкрик — меня! меня! — я чуть не рассмеялась. К счастью, во время удержалась, а то на всю жизнь нажила бы себе недоброжелателя.

В сущности, конечно, смеяться было нечего. Не успели мы опомниться, как один из казаков спешился, вырвал красный флажок из рук студента, что-то скомандовал и в одну минуту большая группа манифестантов, в которую попали и мы, оказалась окружена двойным кордоном городовых. Все произошло очень быстро. Между тем моментом, когда полицейский офицер предупредительно советовал мне отправляться домой, и тем, как мы были окружены, вряд ли прошло более получаса. Не сразу сообразили манифестанты, что с ними случилось. Да и что могли они, безоружные, сделать против воинской силы? О сопротивлении они и не думали. Не на баррикады они шли, а на мирную, хотя и шумную демонстрацию протеста против того, что в те идиллические, старорежимные времена называлось возмутительным насилием над молодым поколением.

Пока нас не оцепили городовые, на ступеньках собора, под колоннадой, на всей Казанской площади царил хаос. Но с того момента, как многочисленный полицейский наряд отрезал часть толпы, находившуюся ближе всего к собору, народные волны стали затихать. Прилив кончился. Но тысячи зрителей, по ту сторону полицейского кордона, все еще не расходились. Мы, арестованные, были только каплей в людском море. А нас было около тысячи. Вдоль полукруглой колоннады, на Невском, на Екатерининском канале, на Казанской улице, всюду была густая плотная толпа. Нам из-за городовых было их не видно.

Мы не могли с ними переговариваться, не могли послать весть о себе домой. Мы были арестанты... По ту сторону сплошной черной полицейской линии стояли такие же зрители, как мы, но они были свободные люди. Они пойдут домой, будут пить чай с Филипповским калачом, будут читать, сидя на любимом диване, будут рассказывать друзьям и близким, какое возмутительное зрелище они только что видели.

А мы? Что с нами собираются делать? Как правительство будет нас карать за такую небывалую манифестацию? Большинство задержанных были учащиеся, студенты в форме, девушки, одетые с той небрежностью, которая была своего рода женской студенческой формой. Ведь каждая среда вырабатывает свою моду, свое щегольство. Спустя четверть века щеголихи Парижа и Лондона стали носить такие барашковые шапочки, какие в начале века полагалось носить русским курсисткам. Но англичанки и француженки надевали эти шапочки обдуманно, подгоняли их к тщательно прилаженной прическе, а русские передовые девицы кое-как надвигали их на взлохмаченные волосы. На Казанской площади у многих волосы оказались совсем взбитыми. Когда казаки очистили площадь около собора, на снегу, как своеобразные вещественные доказательства отшумевшей битвы, чернело несколько десятков головных уборов и разрозненных калош, мужских и женских. Ни трупов, ни раненых не было. Но на лицах некоторых задержанных была кровь. Мы пробовали уговорить полицейских офицеров отпустить пострадавших домой, или хотя бы отправить их в больницу, но получили резкий отказ.

Время шло. Темнело. Холодало. Начал падать неприятный, мартовский не то снег, не то дождь Нас все держали на площади. Но и там, по ту сторону кордона, не расходились. До нас доносился глухой

гул голосов, топот толпы, от которой к нам шли дружеские волны. В нас не было подавленности. Мы попали в плен, но мы не были разбиты, не были одиноки и, уж, конечно, мы не боялись тех, кто взял нас в плен. Только хотелось поесть, отдохнуть, сесть, очутиться под крышей. Наша маленькая компания опять собралась вместе. Агафонов с тревогой поглядывал на свою побледневшую жену. Струве никак не мог успокоиться и все рассказывал, как спешившийся казак бил его нагайкой по ногам. Туган с растерянной, недоумевающей улыбкой спрашивал неизвестно кого:

— Ну, господа, что же дальше? Ведь это не имеет никакого смысла так стоять. Надо требовать, чтобы нас отпустили. С какой стати мы тут мокнем?

Он озирался, ища поддержки. Но ее трудно было найти. Попались и попались. Где уж тут доискиваться смысла.

Когда совсем стемнело, нас сжали в длинную колонну и повели по узкой Казанской улице. Куда нас ведут, мы понятия не имели, да и начальство, захватив более тысячи демонстрантов, не очень знало, что с нами делать. А по городу уже бежали весьма преувеличенные страшные рассказы о зверской расправе казаков и городовых с демонстрантами. Петербург негодовал. Петербург был за нас. Это была первая вспышка общественного движения, которая пробежала по разным слоям населения. Особенно волновались центральные кварталы, где жили люди более достаточные и интеллигенция. Но как нас потом уверяли, возмущены были и рабочие кварталы. Может быть. Я рабочих не видела ни на площади, ни среди задержанных.

Манифестация была академическая, далекая от рабочих, но образованных людей она крепко задела. Общественное мнение так единодушно проявило свою симпатию к демонстрантам, что правительство было

озадачено. Оно почувствовало, что на Казанской площади произошел какой-то сдвиг, был дан новый толчок оппозиционному настроению. Ни правительство, ни демонстранты не отдавали себе отчет, к чему, в конечном счете, приведут Россию такие толчки. В истории не редко так бывает, что те, кто считает себя сознательными борцами за лучшее будущее, не подозревают, чем их усилия, иногда даже жертвы, наградят человечество.

Около ворот Казанского полицейского участка наша процессия остановилась. От общей толпы отделили маленькую группу, остальных повели дальше, а перед нами раскрылись тяжелые ворота. Нас ввели во двор. В участке ничего не было приготовлено к приему неожиданных ночлежников. Постояли мы еще во дворе, потом мужчин отвели в одну сторону, а нас, несколько женщин, заперли в двух совершенно пустых комнатах. Ни лечь, ни сесть было не на что. Усталые, мы расселись вдоль стен на полу. Появилась толстая, добродушная женщина, жена полицейского фельдшера. Она принесла охапку пакетов и мешочков со всякой снедью. Это был дар от неизвестных друзей, которые толпились у дверей участка.

— Ах вы, барышни мои милые, точно птички на веточке... Что же они, негодяи, с вами сделали! — заговорила она нараспев, быстро раздавая пакеты. — Вот вам тут покушать принесли. Небось голодные? У меня самовар кипит. Сейчас чаем горячим напою. Вот уж аспиды, так аспиды, барышень и тех не пожалели.

Она негодовала, суетилась, хлопотала около нас. Принесла подушки, одеяла, притащила два матраса, окружала нас участием. То, что даже в полицейском участке нашлась женщина, которая так ласково заботилась о незнакомых ей арестантках, создавало бодрящее чувство общности.

На утро нас опять куда-то повели. Странно было днем идти по знакомым улицам под конвоем городовых, как водят бродяг, воришек, проституток. Еще страннее было очутиться в огромном, мрачном, грязном Литовском Замке. По сравнению с этой тюрьмой Дом Предварительного заключения, где я девочкой навещала брата, мог казаться гостиницей. Нас, 27 женщин, провели по длинным коридорам Литовского Замка и заперли в угрюмую, грязную тесную камеру в два окна, с двойными рамами, закопченными, давно немытыми. Койки стояли одна к другой двумя сплошными рядами, без промежутков. Посередине был оставлен проход, но такой узкий, что в нем с трудом умещалась небольшая табуретка, единственная наша мебель.

Это бы еще ничего. Но в углу, у двери, стояла вонючая параша. Воздух был ужасный. Маленькая форточка не могла его освежить. Я позвонила. Пришла надзирательница в туго перетянутой кушаком, черной, форменной тужурке с золотыми пуговицами, с шнурками и погончиками. Совсем франтиха. Важная, злая, грубая, она привыкла иметь дело с уголовными, с которыми не видела нужды быть вежливой. Стоя в дверях, она отрывисто спросила:

— Вам что надо? Зачем звонили? Прошу меня лишний раз не боспокоить.

— А я вас прошу приказать вынести парашу и выпускать нас в уборную. Мы тут задохнемся.

Надзирательница подбоченилась, повернулась ко мне вполоборота и через плечо вызывающе бросила:

— Как? Вы офицера на площади убили и хотите, чтобы я вам парашу вынесла?...

Мы убийцами себя не чувствовали. За моей спиной раздались негодующие возгласы:

— Какой вздор! Уберите парашу! Никаких офи-

церов мы не убивали. Не имеете права так говорить. Ложь! Безобразие! Отворите окна!

Но дверь уже захлопнулась. Пришлось провести ночь в вонючей духоте. У двух арестанток сделались сердечные припадки. Жена Агафонова лежала в оцепенении, точно в столбняке. С ней пришлось повозиться. Ночью малейший луч света не только будил ее, но приводил в особое нервное состояние. Ради нее мы с вечера старательно завешивали окна нашими юбками. Она была женщина-врач, с крайними революционными взглядами. В то же время это была balованная дочь очень состоятельных крымских караимов. В житейских мелочах требовательная, разборчивая. Такие женщины вносят в общественную работу вредную истерическую остроту, но именно они охотно сбегаются на всякие проявления коллективных эмоций.

Действия скопом вообще редко обходятся без истерики. В первый раз я это поняла на Казанской площади и в Литовском Замке. Позднейший мой опыт это наблюдение подтвердил. В тюрьме я поняла также, что с начальством иногда легче сговориться, чем с заключенными. По крайней мере так было в царской тюрьме. В Литовском Замке со мной вместе сидели совсем молоденькие девушки. Мне было уже 30 лет. У меня было двое детей. Признаюсь, мысль о них меня тревожила. Я знала, что моя семья, мои сестры, мама о них позаботятся. И прислуга у меня была надежная. Но, конечно, сердце было неспокойно. Я старалась не поддаваться грустным мыслям. Это я умела делать.

Повидимому мои товарки по камере это как-то почувствовали. В первый же вечер они возвели меня в почетную должность старостихи. Моя главная обязанность была служить буфером между ними и надзирательницами, загораживать их моей спиной. Я ста-

новилась в узком проходе около двери, между ними и франтихами в тужурках, на которых мои курсистки тявкали, как щенята. В Литовский Замок продолжали свозить из разных участков все новые партии арестанток. Мы слышали их шаги, их голоса, когда они проходили мимо нас, но двери камеры оставались закрытыми, и что происходило в других камерах, мы узнали только после приезда тюремного инспектора. Он явился к нам на следующее утро.

Дверь отворилась. Мы увидали высокого, грузного человека в такой же черной тужурке с золотыми пуговицами, как на надзирательницах. Только погоны были другие. Молодое пухлое лицо посетителя было красно от смущенья, точно не мы, а он нарушил какой-то закон. Стараясь говорить сухо, официально, инспектор, ни к кому не обращаясь, задал обычный вопрос:

— Есть какие-нибудь претензии?

Так как сидеть было не на чем, то большинство арестанток лежало на койках и так и осталось лежать. Стояло только несколько лесгафтичек, которые еще до его появления поставили в проходе между койками табуретку и собирались через нее прыгать. Следуя заветам своего властного и славного учителя, профессора Лесгафта, они для поддержания бодрости, телесной и душевной, сразу организовали гимнастические упражнения. Одна из них пренебрежительно оглянулась на человека в форме и громко бросила товаркам:

— Ну, я начинаю!

Она ловко, без разбега, перескочила через табуретку. За ней прыгнула другая, третья. Тюремный инспектор с любопытством смотрел на них. Из-за его спины в коридоре виднелись вытянувшиеся в струнку надзирательницы и еще какие-то люди в форме. Такие официальные обходы были обычным делом в

тюрьмах. На этот раз он был вызван тем, что общественное мнение было так взволновано нашим арестом.

Я заняла свое командное место старостихи около двери, в конце прохода.

— Да, есть, — ответила я на вопрос инспектора. — Нельзя ли открыть окна. И еще, — я указала пальцем на вонючее ведро, стоявшее у самого входа. — Необходимо это убрать. Иначе мы задохнемся. Будут больные. Вы видите?

Он не только видел, но и обонял. Краска залила его лицо. Не глядя на вонючую посудину, он торопливо приказал надзирательнице:

— Вынести. Распорядитесь немедленно.

Арестантское слово параша он не решился произнести. Он был человек благовоспитанный, а тут извольте разговаривать с дамами о таком предмете. Не глядя на меня, он неуверенно спросил:

— Есть еще претензии?

За моей спиной слышались смешки, движение. Я уже успела изучить характер моих новых товарок и боялась какой-нибудь выходки. Я быстро сказала:

— Еще просьба. Нельзя ли держать двери открытыми, чтобы мы могли выходить в коридор. Очень душно в камере. Вы видите, как мы здесь набиты.

— Хорошо. Я отдам распоряжение. Это все?

— Все. Благодарю вас.

Он поклонился и исчез. Позже я встретилась с ним уже в свободных условиях, в кадетских кругах. Его фамилия была де Витт. Он был человек хороший, образованный, пошел в тюремную инспекцию по соображениям гуманитарным, считал, что на этой службе нужны добросовестные, преданные люди. Начиная с 60-х годов, такие чиновники были не редкостью, хотя оппозиционные писатели продолжали всю бюрократию описывать по Щедрину.

Появление инспектора произвело в Литовском Замке волшебную перемену. Надзирательницы притихли, стали вежливы, почти не показывались. Двойные рамы выставили, окна открыли и мартовский, уже весенний воздух освежил камеры. Двери в коридор оставались открыты день и ночь. Сразу раздвинулись тюремные рамки. Еще много затворов, много запертых дверей оставалось между нами и волей. Все же мы больше не были втиснуты в одну комнату. Мы могли гулять по длинным коридорам, ходить к соседкам в гости. Все обычные обитательницы тюрьмы были куда-то переведены, чтобы дать место участникам и участницам Казанской демонстрации. Сидеть вместе с уголовными нам не пришлось. Нас в женском отделении было около двухсот и столько же в мужском. Они были в другом флигеле, но из окон наших камер было видно, как в часы прогулок они расхаживают по двору. И мои девицы громко перекликались со знакомыми студентами. Как и где разместили остальных арестантов из арестованной тысячи, я не знаю.

Такой небывалый по размеру и по пестроте состава полицейский улов взволновал общество. Оно с вызывающей горячностью осуждало правительство, а к нам проявляло такое же горячее сочувствие. Реальным проявлением всеобщего участия было невероятное количество еды, которую нам приносили и присылали знакомые и незнакомые. Свидания не были разрешены, но корзины, коробки, мешочки, кастрюльки, бутылки, которые надзирательницы с утра разносили по камерам, наглядно показывали, что к воротам тюрьмы тянется длинная процессия наших доброжелателей. Лучший пекарь Петербурга, Филиппов, присылал нам каждый день целые короба горячих пирожков с мясом, с капустой, с яблоками. Из колониальных магазинов тащили закуски, колбасы, фрук-

ты, сласти. Частные люди у себя дома жарили, пекли, несли через весь город кто куренка, кто котлеты или пирог. В тюрьме всякий пакет с воли развлекает. Даже разворачивать его весело. Особенную изобретательность проявил старый ворчун, профессор Лесгафт. Среди арестованных было не мало его слушательниц, лесгафтичек. Он о них заботился, посылал им горячую еду, как хороший интендант посылает солдатам в окопы обед. Курсы Лесгафта помещались недалеко от Литовского Замка. Оттуда, из студенческой столовки, приносили целые ведра с вкусным горячим супом. Особенное впечатление производили большие бутыли с вареным шоколадом. Их встречали бурными аплодисментами, как молодые офицеры встречают шампанское. Многие из студентов и студенток давно так хорошо не ели, как в Литовском Замке.

Единодушное внимание и забота о нас, страдающих за свободу, тешили не только аппетит, но и самолюбие. Хотя страдалицами мы, конечно, не притворялись. Суровый распорядок Литовского Замка мы перевернули на свой лад. Дни бежали быстро, шумно. Нашлись старые знакомые, завели новых, образовались кружки, велись бесконечные разговоры и споры. Составился хор.

Но была одна ночь очень неприятная. Вскоре после того, как в камерах погасили электричество, откуда-то стал доноситься шум. Закрывались и открывались двери, звякали замки. Значит еще кого-то привезли. Потом все стихло. И вдруг гулко раздался удар по железу, один, другой, третий. Опять тишина, точно ждут отклика. Его не было. Тогда послышались крики. В пустых, высоких тюремных коридорах большой резонанс. Крики летели к нам с далекого конца, глухо, но все же можно было разобрать слова:

— Пить! Воды! Дайте света! Пить!

И опять тихо. Опять точно ждут. Ничего. Ответа нет. И снова вдоль гулких каменных коридоров полетели к нам вопли.

— Дайте же света! Воды! Ужас! Изверги! Воды!

Слышались удары, топот ног, гул железа. Рыданья переходили в визг, уже нельзя было разобрать отдельных выкриков. Казалось, где-то рядом истязают арестантов. О пытках мысли не было. Мы твердо знали, что в русских тюрьмах не пытают. Мы поносили самодержавие, обвиняли его в чем угодно, но никто и мысли не допускал, что в наш просвещенный век в Петербурге заключенных могут подвергать средневековым мучениям. Мы приняли арест с усмешкой. В тюрьму вошли без страха. В том, что с нами случилось, не было трагедии. Ну, подрались немного с казаками на площади, показали правительству, что умеем протестовать против насилия, посидим в кутузке, велика беда.

Но в этом ночном вопле, который разлетался по гулкому коридору, переходил в звериный вой, было что-то иное, жуткое, от чего сердце сжималось тоской и тревогой. Почему они так вопят? Что могло довести их до такого состояния? Как староста, как старшая, я чувствовала себя ответственной за моих молодых товарок. Я боялась, как бы они чего-нибудь ни выкинули. Никто не спал. Переговаривались с койки на койку, обсуждали что делать. Уже раздавались предложения, отвечавшие легендам о тюремных традициях:

— Надо присоединиться. Надо поддержать.

Кого, как, в чем поддержать? Но эти вопли легко могли вызвать ответные крики. Я встала и позвонила. Надзирательница не появлялась. Голоса в глубине коридора звучали хрипло, отчаянно, надрывно. Но не умолкали. Минуты стали длинными, тяжелыми.

Я опять позвонила. Наконец, раздались шаги. В тусклом свете выступила фигура надзирательницы.

— А вам что еще надо? — спросила она, стараясь сохранить начальнический тон.

— Света! Воды! — летели, как бы в ответ ей, отчаянные крики.

За моей спиной послышались негодующие восклицанья:

— И она еще спрашивает? Безобразие! Возмутительно! Недопустимо! Тут не застенок.

Я стала в дверях и спокойно сказала:

— Я хочу, чтобы вы меня и еще двух моих товарок провели к тем, кто кричит.

Она собиралась возражать, но я ее перебила:

— В тюрьме нельзя допускать такого беспорядка. Еще немного и у вас все камеры завопят. Что завтра скажет тюремный инспектор? Вы хотите, чтобы он завтра опять приехал?

Нет, этого она совсем не хотела. Она придвинулась ближе ко мне. В ее глазах была злоба побитой собаки. И страх.

— Хорошо. Я вас пущу к ним. Идите за мной.

Мы вышли. Я взяла с собой дочь Гоби, известного ученого; и еще одну лесгафтичку. Надзирательница повела нас по слабо освещенному коридору, открыла тяжелую, решётчатую дверь. Повела дальше. Всякая тюрьма похожа ночью на страшный сон. А тут еще навстречу нам все громче и громче неслись эти нечеловеческие крики. За поворотом коридора мы увидали в стене большую до потолка решётку, отделявшую глубокую камеру от коридора. К ней с противоположной стороны припали женские фигуры. Они цеплялись за железные прутья, висели на них, трясли, точно стараясь вырвать крепко вделанную решетку. За спиной у них была темная камера. Только слабый свет далекой электрической лампы слегка

озарял эту картину, напоминавшую рисунки Гойа. Лица были так искажены, что все показались мне старухами.

— В чем дело? — спросила я прежде всего надзирательницу.

— Видите сами. Шумят, безобразничают, — неопределенно и угрюмо ответила она.

— Но есть же причина? Говорите скорее. Слышите, что делается в других камерах.

С нашего конца шел слитный гул возбужденных разговоров, но я каждую минуту ждала ответных истерических воплей, которые могли залить все женское отделение. Тоже удовольствие, повальная истерика в тюрьме.

— Ну, в чем дело?

Надзирательница ответила еще угрюмее:

— Что ж я могу поделать?

— Да говорите же, с чего это началось?

— Клопы... — отрывисто ответила надзирательница. — Тут уголовные клопов распустили...

Я подошла вплотную к решетке, подняла руку:

— Не кричите!

Первый ряд, висевший на железных брусьях, затих, но из глубины камеры продолжало вылетать хриплое, звериное ворчанье.

— Скажите своим туда, чтобы замолчали.

На меня смотрело несколько пар безумных глаз. Мне ответили уже не криком, а шёпотом:

— Ради Бога, выведите нас отсюда. Мы тут с ума сойдем. И воды, Христа ради, воды. Пить...

Надзирательница поддалась моим уговорам и позволила нам распределить новых арестанток по нашим камерам. Их оказалось всего человек 20, а вопили они так, точно их была добрая сотня. Вышли они из-за решётки, шатаясь как пьяные, всхлипывая, вздраги-

вая, продолжая бормотать что-то бессвязное. На нашу тесную камеру досталась только одна новенькая. Она ничего не говорила, только вся дрожала мелкой дрожью. Она показалась нам уже пожилой женщиной. Кто-то уступил ей полкровати. Она также молча легла, закрылась с головой своим пальто и затихла. Может быть, сразу уснула.

На утро она проснулась позже всех. Из-под края дешевенького пестрого пальто выглянуло самое обыкновенное девичье лицо, скорее пригожее и во всяком случае молодое. Когда мы начали расспрашивать ее, что у них произошло, она смущенно, сама недоумевая, рассказала что-то сбивчивое. Их партии не повезло. Они попали в участок, где с ними были очень грубы, кормили скверно, мало. В последний день совсем забыли накормить, а главное напоить. В Литовский Замок их привели голодных, изнервничавшихся. Провели через полутемные коридоры, втолкнули в полутемную камеру, заперли даже не дверь, а решётку, как в зверинце. Они просили есть, пить. Надзирательница грубо ответила, что могут подождать до утра. Делать было нечего. Они расположились на койках. На них бросились клопы, которыми кишели матрасы. Это переполнило чашу. Отвращение перешло в слепой, бессмысленный страх, точно насекомые подчеркивали их беззащитность. Они пробовали вызвать надзирательницу. Никто не пришел. Тогда их отчаяние перешло в повальную истерику. Припадок, как это часто бывает с истерией, был несоразмерим с поводом, его вызвавшим. Но им от этого было не легче.

Не появись накануне тюремный инспектор, эта история могла бы кончиться кулачной расправой. Персонал Литовского Замка привык не церемониться со своими уголовными арестантами. За такой шум, да еще ночью, обычных жильцов, наверное, отправили бы в карцер, да еще предварительно вздули бы их. Но

тюремный инспектор дал понять, что с нами надо обращаться иначе и все обошлось благополучно.

Мне эта ночная паника показала, как легко тюрьма может превратиться в сумасшедший дом, если не в ад. Вообще этот первый арест был для меня наглядным уроком. На Казанской площади меня удивила расплывчатость демонстрации. Никто не знал, что в таких случаях полагается делать? Но это не помешало студентам своего добиться. Распоряжение об отдаче студентов в солдаты было отменено. Это показало, что и в планах правительства не было ясности.

В тюрьме я с любопытством наблюдала левую женскую молодежь скопом. Они были исполнены благих порывов, готовы были за правду бороться, страдать, но в будничном житейском общении могли быть довольно несносны. И нетерпимы до последнего предела.

Вошла к нам в камеру немолодая дама, вся в черном, просто одетая, но и в этой простоте, и в манерах, и в интонациях сказывалась светская женщина.

— Вы позволите у вас побыть?

Я подвинула ей табурет:

— Конечно. Будем очень рады.

— А Евангелие хотите вам почитаю?

— Очень просим.

Я догадалась, что это Черткова, мать Владимира Черткова, толстовца. Я о ней слышала от ее племянницы, Веры Гернгросс, знала что она посещает тюрьмы. Мне было интересно послушать ее, поговорить с ней. Мы обступили ее небольшим кружком. Она прочла короткий текст, начала его бесхитростно толковать. Евангельские слова туго входили в мятежные души. Но в нашу серую, душную камеру Черткова принесла ласковую, светлую женственность и мы были ей рады.

По коридору ходили, шумели, смеялись, мимоходом заглядывали в нашу открытую дверь и молча отходили. Потом ворвались две высокие, размашистые девицы. Громко постукивая каблуками по каменному полу, они прошагали по узкому проходу, как два солдата, подошли к нам, бесцеремонно уставились в лицо Чертковой. Она им приветливо улыбнулась и продолжала говорить о заветах Христа. Девицы прислушались, переглянулись, пересмехнулись. Одна из них громко скомандовала:

— Ну, идемте. Что эту чепуху слушать?!

Я сгорела со стыда, да и у всех был сконфуженный вид. На милом лице проповедницы мелькнула печальная улыбка. Она замолчала. Мы извинились.

— Ради Бога продолжайте, — сказала я. — Не обращайте на них внимания. Нам это так неприятно. Ради Бога простите!

Меня все поддержали. В ответ на наши смущенные извинения Черткова спокойно сказала:

— Ничего, вы не беспокойтесь. Конечно, их очень жалко, что бродят в темноте. Я на них не обижаюсь. Я ведь уже давно хожу по тюрьмам. Всякие замечания приходилось выслушивать. Я к этому привыкла.

Эти замечания она слышала от обычных, уголовных, малограмотных обитательниц Литовского Замка. А мы — передовой отряд освободительной армии. Не лестное для нас сравнение. Но заслуженное. Слова, брошенные солдатообразной девицей, не были случайной грубой выходкой плохо воспитанной нигилистки. Не только молодежь считала религию чепухой, а Евангелие собранием мифов и суеверий. Большинство интеллигентов отрицало религию. Людей верующих неохотно удостаивали высокого звания интеллигента. Русские, да и не только русские, образованные люди начали штурм небес задолго до организованного воинственного безбожия коммунистов. Де-

лалось это осторожно, чтобы не дразнить цензуру, некоторые старались проявлять известную вежливость по отношению к верующим, другие, как мои девицы, перли напролом.

Наша шумная лагерная жизнь в Литовском Замке продолжалась только десять дней. Нас всех быстро допросили. В конце одного из длинных коридоров поставили стол. За ним сидел жандармский офицер. Арестанток, одну за другой, вызывали к нему. Он предлагал стул по другую сторону стола и начинался несложный, быстрый допрос.

Не знаю, как в провинции, а в Петербурге жандармы были народ вежливый, выдержанный. На этот раз и спрашивать было не чем. Не было состава преступления, кроме нарушения общественного порядка, за которое мировой судья мог наложить несколько рублей штрафа. Правда, в толпе кричали — долой! долой! — Всем было известно, что когда кричат так, это значит долой самодержавие. Но все-таки символическое слово «долой» в законе не предусмотрено, произносить его не преступление, за которое можно было бы карать. Жандармы и не обращались с нами, как с преступницами. Захватили нас гуртом, скопом, среди бела дня, невооруженных, неорганизованных. Мы не представляли из себя преступного сообщества, угрожающего поколебать основы русской государственности. Мы вообще не были сообществом. Перезнакомились мы только в тюрьме. Сплоченности, общей дисциплины между нами не было. Каждая из нас не знала, что думают другие. Но у нас всех был общий лозунг — долой самодержавие! В этом смысле мы, конечно, были колебателями основ. Но мы были не солдаты регулярной армии, а вольные стрелки. На допросах каждая показывала, что хотела, каждая по-своему объясняла, почему она в воскресенье очутилась на Казанской площади.

Когда очередь дошла до меня, я ответила так, как это было:

— Пошла посмотреть на манифестацию.

Жандарм спросил:

— Но вы принадлежите к какой-нибудь организации?

— Нет.

Я действительно ни тогда, ни позже, ни к какой тайной организации не принадлежала. Если бы принадлежала, вряд ли стала бы в этом сознаваться. Жандарм это и сам хорошо понимал.

Он заглянул на разложенные перед ним бумаги, покрутил ус, посмотрел мимо меня, через мое плечо на белевшие в другом конце коридора лица заключенных, ожидающих своей очереди для допроса, быстро заполнил мой лист и сказал:

— Будьте любезны, распишитесь.

Я пробежала свой опросный лист и вдруг остановилась. Жандарм следил за мной, сдерживая лукавую улыбку. По его глазам я видела, что ему также хочется расхохотаться, как и мне. А он увидал, что я оценила его юмор и был доволен.

— Десять дней сиденья в Литовском Замке зачесть в наказание за праздное любопытство, — вполголоса прочла я заключительные слова протокола.

— Не очень суровое наказанье? — спросил офицер, стараясь быть серьезным.

— Не очень.

— Теперь вы свободны.

Так кончился мой первый тюремный опыт. Некоторые из моих соратников по Казанской демонстрации поплатились сильнее. Часть студентов выслали, недалеко и ненадолго. Струве и Тугану было предписано уехать из Петербурга, без права жить в обеих столицах. Это запрещение в жизнь каждого из них внесло большую перемену, не к худшему, а к лучшему.

Струве вскоре позволили уехать заграницу, где он стал редактором конституционного еженедельника «Освобождение», благодаря которому его кружковая известность в марксистских кругах превратилась в широкую, общерусскую известность.

А Михаил Иванычу его отъезд на юг принес новую личную жизнь. Там встретил он свою вторую жену. Не прошло и года после смерти Лиды, как он снова был женат. И снова, слава Богу, счастлив. Даже сына, наконец, дождался.

Ему скоро разрешили вернуться в Петербург, где он, без всяких полицейских помех, возобновил чтенье лекций. И продолжал непрерывно их читать как при царском, так и при советском режиме.

Я была счастлива вернуться домой к детям. Они, бедные, переволновались и наперебой рассказывали мне все, что произошло без меня, как скучно было возвращаться из школы, а мамы нет. И по вечерам еще было скучнее. Но о них все заботились.

— Только твой противный Шаховской... — говорила Соня, прижимаясь ко мне. — Вот какой противный!

— Что же он сделал худого?

— Пришел на следующий день, как тебя посадили. Да еще другого, толстого привел...

— Это она про Фалька, про редактора «Северного Края», — деловито пояснил Адя. — Только он совсем не толстый. Она выдумала.

В свои десять лет он уже следил за моей жизнью, понимал подробности моей работы, сочувствовал мне, проявлял мужскую точность. Он знал, что в моей газетной жизни «Северный Край» и Фальк занимают немалое место.

— За что же ты на них сердишься?

— За что? Пришли, спрашивают, где ты? Мы го-

ворим: в тюрьме. Шаховской как захохочет. Дурак! Как он смел? Разве это смешно?

Черные глаза моей девочки горели негодованием, метали искры. Я посадила ее к себе на колени. Господи, как хорошо опять видеть их лица, чувствовать их теплоту, вот так прижимать их к себе, крепко, крепко. Но при мысли о том, как Шаховской хохотал, и я не удержалась, засмеялась. Когда я ему расскажу про жандармский приговор, он еще громче будет хохотать.

— Ну вот, теперь и ты смеешься. Совсем не было смешно, как он смел? Я так и хотела ему сказать: вы дурак, просто дурак. Ведь нам же было страшно за тебя. Ну, не смейся, пожалуйста, не смейся.

Она даже отодвинулась, готовая обидеться уже на меня, не на Шаховского. Но я крепко охватила ее одной рукой, моего мальчика другой. Я не раскаивалась, что пошла на демонстрацию, но что-то меня смущало, во мне двоилось. Может быть, я плохая мать, не поберегла их, растревожила? И все из праздного любопытства?

Нет. Тут было больше, чем пустое любопытство. Начиналась для меня новая жизнь, пробуждались новые инстинкты и потребности. Но как сочетать их с домом, как сделать, чтобы дети попрежнему получали от меня все нужные им заботы, все внимание? Всю любовь, которая им по праву принадлежит.

На Казанской площади началось мое участие в Освободительном Движении, сначала случайное, отрывистое, потом все более и более близкое.

Глава четвертая

ЯРОСЛАВЛЬ

Зима 1902-3 года была для меня тяжелая. Кроме «Северного Края», я нигде не писала, а там зара-

батывала гроши. За романы я еще не принималась. После того, как я так важно отвернулась от «Приднепровского Края» и Копылова, мне негде было печатать мои рассказы. До толстых журналов я еще не доросла. Заработок не налаживался, хотя переутомленье прошло бесследно и я опять писала легко и с увлечением. «Северный Край», по случаю 50-ти летия со дня смерти Гоголя, по телеграфу заказал мне о нем срочную статью. В три дня мне надо было проглотить четыре объемистых тома материалов Шенрока и написать два длинных фельетона. Я это проделала с большим удовольствием. Редакция осталась так довольна, что прислала мне телеграмму, уже благодарственную. Любезность по тогдашним нравам необычайная. Я была польщена, только было досадно, что некогда было подумать о Гоголе не наспех, а спокойно. Но такова судьба журналистов, что им приходится на работе учиться, разбираться в мыслях, своих и чужих, находить форму, определять свою манеру писать. Мне очень помогло то, что я с раннего детства знала очень много стихов наизусть. Это развило во мне чувство русского языка. Мое писательское ухо сразу настораживается, когда я слышу неправильный ритм, корявую расстановку слов. И деревенская жизнь перепахивала душу. Чистый крестьянский говор, как освежительный ветер, сдувал мусор городских оборотов. Была у меня наблюдательность, любопытство к людям, к жизни. А главное, я сразу полюбила свое ремесло, свою работу. Все это было мне на пользу. Но мешало отсутствие систематических знаний, привычки изучать вопросы. Читала я много, но беспорядочно. Думала я отрывисто и одиноко, не опираясь ни на какое определенное течение мысли, ни на какое содружество или партию. От церкви я была очень далека. Была во мне свойственная моему поколению привычка для всего требовать рассудочных объяснений, но

собственную строптивость смирять рассудком — привычки не было. Моей внутренней опорой было переданное мне мамой оптимистическое мироощущение, полное доверчивости к людям и благожелательности. У меня, как и у большинства людей, не было самостоятельно выработанных взглядов, только цепь эмоциональных пристрастий и отталкиваний. Эти чувства мы принимали за убеждения, готовы были за них воевать. На мое счастье, когда, много лет спустя, жизнь заставила меня подумать покрепче, многое проверить, закрепить, я нашла для своих прежних эмоций и логические оправдания. Я была и осталась либералкой. Свобода и уважение к личности всегда были в основе моих взглядов. Но для писателя, для журналиста нужно еще многое другое.

Помимо моей умственной и профессиональной неопытности, были в моей работе и внешние трудности. Очень мешала цензура. Когда я пробовала от бытовых описаний Петербурга, от отчетов о выставках, театрах, книгах, перейти к темам психологическим или социальным, я получала из Ярославля унылое оповещенье:

— Нам ваша статья очень понравилась, но вице-губернатору совсем не понравилась.

Случалось, что цензор казнил мою статью за одно какое-нибудь неугодное выражение. Из Москвы привезли Художники в Петербург чудесную постановку «Юлия Цезаря». Я написала восторженную статью, взяла припевом слова прорицателя: «Дней мартовских остерегайся, цезарь». Цензор уловил в этом угрожающий политический намек и зарезал весь мой фельетон. Я была вдвойне огорчена. Мне казалось, что я хорошо написала. А кроме того, мне были очень нужны деньги, а за ненапечатанную статью мне, конечно, никто не платил. Плохо кормило меня писательство. Но другой работы не хотелось искать. Писательство

как пьянство. Раз хлебнешь, так всякая другая работа валится из рук. Но иногда очень туго приходилось.

Вот тут-то, как некий благодетельный дух, явился ко мне Шаховской. Легконогий, стремительный, с решительным голосом и решительными взмахами тонких рук, еще не здороваясь, он заявил:

— Ну вот. Собирайтесь!

— Куда?

— В Ярославль.

Точно полковник прапорщику приказ отдал.

Я засмеялась. Смеялся и он своим заливчатым, милым смехом, который для его многочисленных друзей был верным признаком, что Шаховской кипит новыми планами. Все еще смеясь, он стал меня уверять:

— Да ведь я серьезно. Вам необходимо уехать из Петербурга, увидать настоящую русскую жизнь, не петербургскую. Вам нечего делать в Петербурге. А нам вы нужны.

Он был прав. В Петербурге мне совершенно нечего было делать. Меня подавляло сознание, что в этом большом городе, где я всегда жила, я решительно никому не была нужна. Только детям и родным. А тут Шаховской уверяет меня, что в неизвестном мне Ярославле я кому-то нужна. Меня это удивляло, но раз он говорит, значит так и есть. Я ему верила. С первой встречи каждому его слову поверила. Да и не я одна. Все ему верили. Стоило заглянуть в его пристальные, ясные, ястребиные глаза, из которых смотрела ясная, прозрачная, совсем не ястребиная душа, чтобы почувствовать, что этому человеку надо верить.

Я согласилась. В сущности у меня и выбора не было. В Петербурге я начинала от безработицы и безденежья впадать в унылое оцепенение. В Ярославле мне предлагали 175 р. в месяц. Для меня это было целое богатство. В первый раз у меня будет твердый заработок, которого хватит на меня и детей. Спешно

ликвидировала я свою маленькую квартиру и мы втроем покатили в Ярославль. Там уже на вокзале пахнуло на нас дружеским теплом. Мои новые товарищи устроили нам шумную встречу. Мне, а в особенности детям, очень понравилось, что в новом городе нас сразу окружили приветливые, веселые лица. Ни о чем не надо было заботиться. Все делалось само собой. Когда мы вышли на широкое крыльцо вокзала, один из младших моих коллег, чернявый, скуластый, улыбаясь широкой, неудержимой улыбкой, которая открывала ослепительно белые зубы, неожиданно завопил на всю площадь:

— Извозчик! Два! Три! Десять извозчиков!

Этот крик, блеск маленьких, как бусинки, черных глаз явно говорил, что мы ему понравились. Дети это почувствовали. Им сразу стало весело. Я была очень благодарна моему экспансивному товарищу, Зезюлинскому, которого я на следующий день стала звать, как все его звали, Зузуля. Не знаю, удержалось ли за ним это прозвище, когда, спустя 15 лет, он как один из сотрудников советской прессы, очутился в стане моих врагов.

Никогда раньше не жила я так на людях, в таком ощущении новизны, как в обвеянном стариной Ярославле. Это было мое первое, более близкое знакомство с русской провинцией. Волжский простор, древние церкви, губернские домики, окруженные садами, напоминали Новгород. Но Ярославль был не только памятник минувшего, он жил настоящим. Лицей с его профессорами и студентами придавал ему характер университетского городка. Фабрики и волжское судоходство делали Ярославль несравненно богаче захиревшего Новгорода, оставшегося вне больших железнодорожных линий. Оживляла Ярославль и газета, к которой тянулись читатели и сотрудники разных оттенков.

Я сразу, благодаря «Северному Краю», попала в центр этой жизни. Материально все складывалось легче, чем в Петербурге. Мне временно уступил свою квартиру хозяин «Северного Края» Э. Г. Фальк. Мы с ним сразу подружились. Несмотря на немецкую фамилию, это был настоящий ярославец, на редкость привлекательный, умный, бойкий, полный насмешливого юмора. Но ярославской тяги к деньгам в нем не было. Он был адвокат. От отца унаследовал дом и типографию. Вместо того, чтобы спокойно получать доходы от имущества и наживаться от адвокатской практики, он затеял газету, которая втягивала его в долги, отвлекала от адвокатуры. Но «Северный Край» давал ему возможность проводить в сознание местных людей те идеи, которыми он сам горел. Ради этого он готов был идти на жертвы, хотя в его разговорах, пересыпанных меткими, насмешливыми словечками, это слово никогда не произносилось. Фальк вел работу сам. Он был хорошим редактором, но не был ни писателем, ни публицистом. Это ставило его в зависимость от сотрудников. Писать передовые приходилось Шаховскому. Он тоже был не любитель писать, но, как человек разносторонне образованный, конечно, справлялся с не слишком сложной работой провинциального передовика. Он и Фальк были большие друзья и отлично дополняли друг друга.

Э. Г. Фальк был одним из самых популярных общественных деятелей верхнего Поволжья. «Северный Край» оправдывал свое широкое название, обслуживал целую область, более обширную, чем несколько европейских государств, взятых вместе. Газета читалась на правом и левом берегу Волги, распространялась в губерниях Ярославской, Костромской, Вологодской, даже Пермской.

«Северный Край» был нервным центром местной оппозиции. А кто тогда не был в оппозиции? По

всей России начинался какой-то химический процесс. Прорывались наружу неудовлетворенные общественные и политические запросы и мечтания, которые набегали быстрее, чем знание жизни своей и чужестранной. Все это еще не было облечено в стройные пункты партийных программ. Но круг людей, которые толковали о свободе и бесправии, о необходимости считаться с волею и потребностями народа, все ширился. Все это было молодо, многое расплывчато, не всегда продумано, и заканчивалось решительным возгласом: так дальше жить нельзя!

Мои сверстники и современники, а вместе с ними и я, были твердо уверены в двух вещах — в непрерывности прогресса и в том, что в России главным препятствием к победоносному шествию этого, всеми чтимого, прогресса является самодержавие. Только много позже я поняла, как плохо мы знали самодержавие, его историю, вообще историю нашей родины, которую мы так страстно, так простодушно стремились перестроить. Нами руководили не мысли, продуманные и ответственные, а эмоции сливавшиеся в один общий клич: «долой самодержавие!» Это становилось паролем. Он передавался из уст в уста. Чтобы его подхватить и повторять, не нужно было принадлежать ни к какой тайной организации, поставившей себе целью осуществить это долой. Незнакомые люди, встречаясь случайно, доверчиво заводили антиправительственные разговоры.

Перед этим бурным напором вздымающихся весенних вод правительство терялось, как старый мельник, напуганный разливом. Вместо того, чтобы приоткрыть шлюзы, дать возможность вслух обсудить назревшие вопросы — общественные, политические, экономические, литературные — власть все крепче завинчивала цензурный пресс. Это раздражало и читателей, и писателей, обостряло любопытство к подпольной

прессе, увеличивало ее успех. Так же, как и успех газет дозволенных, но явно оппозиционных.

Не легко было нам, газетчикам, при тогдашней цензуре, отражать эту важную переходную полосу русской истории. Это была весна либерального движения. Отлетело принудительное затишье царствования Александра III. Еще не разразились военные и революционные бури царствования Николая II. О японской войне, до которой оставалось несколько месяцев, еще мало кто думал. Но что лед уже потрескивает, что во внутренней жизни России что-то происходит, это многие чувствовали. А говорить об этом вслух, в печати, или в речах было невозможно. Немного больше простора давалось при обсуждении иностранных дел. Но в заграничной общественности русское общественное мнение плохо разбиралось. Русская интеллигенция идеализировала Европу, где все было отлично, а у нас все было скверно. В Европе непрерывное торжество прогресса. У нас непрерывная мрачная реакция. В Европе процветающие фермеры, хорошо организованный пролетариат, у нас нищий пролетарий, несчастные, полуголодные мужики. Что 80 процентов населения пашет собственную землю, живет в собственной избе, что, как указывал еще Пушкин, у нас последний нищий, уходя по кусочки, запирает на замок **свою** избу, знает, что в любое время может вернуться в свой собственный дом, об этом как-то не думали. Эти слова Пушкина пропускали, зато часто повторяли: «И на обломках самовластья напишут наши имена!» В европейской жизни больше всего интересовались революциями, бунтами, разрушениями.

Хотя руководители «Северного Края» были не революционерами, только радикалами, но бунтарство у нас царствовало. Среди многочисленных читателей и сотрудников нашей газеты далеко не все были такими убежденными, закончеными радикалами, как Фальк и

Шаховской. Но всех объединяло стремление к более свободной, более справедливой, достойной жизни. Общее настроение проявлялось в обличительных корреспонденциях о местных беззакониях, несправедливостях, подчас просто безобразиях. Статьи присылались из далеких медвежьих углов, где жизнь плелась так скучно, так однообразно, что, казалось, должны замереть гражданские чувства и потребность их высказывать. От маленького человека в захолустьи требовалось не мало мужества, чтобы сообщать даже далекие от политики, но неприятные сведения, что в городском приюте детей морят голодом, что учитель гимназии приходит на уроки пьяный, но это ему сходит с рук, потому что он женат на дочери члена суда, что исправник берет взятки и позволяет подрядчику обсчитывать артель.

Корреспондентам придавало храбрости сознание, что, в случае нужды, Фальк поддержит, заступится. Им доставляло удовлетворение чувство связи с каким-то большим, общим делом. Наша газета не случайно стала центром местной общественной жизни. Во всем крае у нее были единомышленники, которым она давала возможность сплотиться, перекликаться. Понемногу «Северный Край» становился колыбелью будущих политических организаций.

Это пугало правительство. Оно боялось организаций. Руководители и сотрудники газеты были на дурном счету у губернских властей. Цензура придиралась нещадно. Нередко корректура возвращалась из губернского правления вся исчерканная красными чернилами. Было не легко разгадать, почему та или иная статья не понравилась вице-губернатору, который был нашим цензором? Статьи запрещались не только за то, что в них было сказано, но и за то, что цензор в них подозревал.

О. Иоанн Кронштатский выступил с обличениями

против Толстого. Я написала об этом статью. Ее не пропустили. Неделю спустя мне не пропустили статью, где я критиковала некоторые взгляды Толстого. Так повелось у нас еще с Пушкинских времен, что цензура не доверяла писателям, в каждой строчке искала тайного, неблагонадежного смысла. По-своему они были правы. Вместе с ростом Освободительного Движения росла и потребность говорить о делах общественных. Никакая бдительность цензуры не могла этого переломить, а читатели развлекались, всюду отыскивая крамольную тенденцию. Я как-то написала фантастическую сказку про глупого тюленя. У читателей она имела большой успех, потому что они вообразили, что я высмеиваю ярославского губернатора Бориса Штюрмера, хотя я о нем совсем не думала.

Подозрительность властей к «Северному Краю» усиливалась еще тем, что у нас сотрудничали многие политические, сосланные в Вологодскую и Пермскую губернии. Нас враждебность власти нимало не смущала. Это была игра, которая нас тешила, придавала нам в собственных глазах некоторую важность. Хотя в этом мы не сознались бы даже в своем кругу.

Благодаря Шаховскому, который очень хорошо знал весь край, газета стала земским органом, следила за городской и земской работой в уездах, давала подробные отчеты о земских собраниях, в самых глухих углах находила хороших осведомителей о местной жизни. Считалось за честь печататься в «Северном Крае». Помню как длинновязый гимназист, сын ярославского миллионера-фабриканта, приносил в газету свои стихи, довольно плохие. Бедный малый, подходя к скромному одноэтажному дому, где помещалась редакция, быстро, быстро крестился. Очень уж было страшно — а вдруг опять не примут? Это с ним частенько случалось.

Но и хорошие стихи могли вызвать шумные спо-

ры, могли быть отвергнуты, если в них было слишком много новизны, того, что еще определялось слитным, темным словом — декаденщина. Это было время не только политического брожения, но и революционных исканий в искусстве, театре, живописи, поэзии, философии.

Для той напряженной умственной жизни конца XIX и начала XX века, которая кипела на верхах русской интеллигенции, очень показателен большой успех толстых сборников на самые отвлеченные темы. Несмотря на их внушительный объем и нередко очень тяжеловесное изложение, эти сборники быстро раскупались и внимательно читались. Для их изучения устраивались кружки. Вокруг них возникали свирепые споры, иногда кончавшиеся жестокой размолвкой вчерашних друзей.

Один из таких сборников, носивший выразительное название «От марксизма к идеализму», оставил приметный след в истории русской мысли, был своего рода рубежом, подал знак к бунту против позитивизма, в течение десятилетий темнившего мозги русской интеллигенции. Насколько помню, авторы сборника еще не говорили об Иисусе Христе, но от Карла Маркса они уже отошли. Это был один из первых признаков предстоящего духовного пробуждения думающих русских людей.

Новые эстетические и философские течения вызывали страстные споры, усиливали остроту умственной жизни, ускоряли ее ритм, то сближали, то разделяли людей по более глубоким признакам, чем политика. Очень левые в политике могли оказаться крайними ретроградами в других областях мысли, в живописи, цепляясь за отмирающий, формальный реализм Передвижников, не признавая «Мира Искусства».

Такие люди обычно в поэзии шарахались от символизма. Они считали сумасшедшим домом «Север-

ный Вестник», где Любовь Гуревич и Волынский печатали стихи Федора Сологуба, Бальмонта, Зинаиды Гиппиус. Эти люди были готовы ниспровергать классовые, социальные, политические устои старого мира, отчасти и моральные, но от искусства требовали мертвой неподвижности. Они повторяли неосторожные слова Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И скрепляли этот взгляд на поэзию еще тлеющим авторитетом Писарева и Чернышевского.

Все же в искусстве допускалось большее разнообразие взглядов, чем в политике. Можно было яростно противопоставлять Маковского Врубелю и все-таки ходить друг к другу чай пить. А с теми, кто не присоединялся к лозунгу — «долой самодержавие», — пить вместе чай становилось все труднее. Передовая интеллигенция, к которой мы все себя самоуверенно причисляли, считала своими только тех, кто отрицал самодержавие целиком, в прошлом, в настоящем, тем более в будущем. Тут, в редакции «Северного Края», было полное единодушие, хотя не единообразие. Правее Фалька и Шаховского никого не было, но левее были. Это не мешало нам всем мирно уживаться. Резкое дробление на партии произошло несколько позже. Ну, а в оценках литературных мы часто не могли сговориться.

Мне не раз доставалось за то, что я люблю Верхарна, Эредиа, Метерлинка, что считаю Зинаиду Гиппиус талантливой женщиной. Больше всего нападали на меня за Ницше, о котором я напечатала в «Северном Крае» несколько статей. Ницшеанкой я никогда не была, но, прочтя несколько книг о Ницше, его «Происхождение трагедии», «Сумерки богов», «Зоратустру», я почувствовала веяние нового духа. Он на многих произвел такое впечатление. Несколько лет спустя, даровитая умница А. Я. Ефименко, которая, минуя уни-

верситет, из сельских учительниц поднялась до степени доктора русской истории и получила свой диплом из рук самого С. Ф. Платонова, как-то разговорилась со мной об этапах своей умственной жизни. Сначала она складывалась под влияньем позитивистов. Но душа ее затосковала. Даже научная работа, которую она так любила, не могла разогнать тоски. Кто-то из друзей принес ей сочинения Ницше.

— Точно окно в комнате открыли. Я вдруг поняла, что логика только маленькая часть нашей внутренней жизни. Это меня выпрямило. Но ницшеанкой я не стала.

Второй мыслитель, который произвел на нее еще более глубокое впечатление, был Бергсон:

— Он повел меня дальше. Показал, что можно быть думающим человеком и верить в Бога.

А. Я. Ефименко со вздохом прибавила:

— Но поверить я уже не могла. Поздно было.

Этот разговор происходил несколько лет спустя после Ярославля, но я его привожу, потому что он освещает многое, что я переживала и наблюдала в эти годы бури и натиска.

Меня, как и А. Я. Ефименко, Ницше привлекал тем, что ставил малый, логический разум в подчинение большому, подсознательному разуму. И что выводил зарождение искусства не из экономической необходимости, не из угодничества перед заказчиками, а из таинственных глубин творческого человеческого духа. Я прошла мимо его социального высокомерия, его преклонения перед белокурой бестией. И совершенно не задумалась над губительностью его религиозного нигилизма.

Только позже поняла я, почему Шаховской, мысли которого были несравненно шире и глубже моих, испытывал моральное отталкивание от Ницше. Дмитрий Иванович редко спорил, а если спорил, то или

возражал по-своему, полушутя, отрывисто, точно журавль клевал противника своим длинным носом, или, что бывало реже, бурно вскипал и тогда уже договаривал свои доводы всеми словами, целиком.

Меня он часто высмеивал, уверял, что не стоило меня выписывать в Ярославль:

— Вы приехали, сначала заболели свинкой, потом ницшеанством. Не знаю, что хуже?

Насчет свинки я, действительно, провинилась. Умудрилась заразиться от детей этой неприятной болезнью, которая у взрослых протекает гораздо тяжелее, чем у детей. От обвинения в ницшеанстве, к которому обычно присоединялось и обвинение в декадентстве, я отбивалась к большому удовольствию моих коллег, которых забавляли мои стычки с Шаховским.

Не раз спорили мы с ним из-за А. М. Ремизова, тогда еще никому неизвестного. Он жил в Вологодской губернии как ссыльный. Я его не знала, даже не читала. Но когда на столе Фалька появлялись листки, исписанные четким, заковыристым полууставом, он перебрасывал их мне:

— Ремизов. Это по вашей части.

Шаховской смеялся дробным, дразнящим смехом.

— Ну скажите откровенно, вы тоже не понимаете, что он пишет?

— Да, не всегда понимаю. Но что ж из этого? Мне нравится его ритм, выбор слов, недоговоренность.

На меня налетали со всех сторон:

— Скажите прямо: — вам нравится его бессмысленность?

— Нет, не скажу! Если каждому слышится иное значение, это не бессмыслица. Это магия слова. Помоему его необходимо напечатать.

Фальк своим характерным ярославским говорком, немного нараспев, клал резолюцию:

— Ах, барынька, барынька, кажется и голова у вас на плечах есть, а вот тянет вас на эту декаденщину. Ну, давайте эту тарабарщину сюда, пошлю в типографию. Не ради Ремизова, ради вас.

Спор продолжался уже не в редакции, где надо было делать очередную редакционную работу, а вечером у меня за самоваром. Ко мне шли без зова, на огонек. Мой самовар очень скоро стал центром, около которого располагались, чтобы поболтать, обменяться последними новостями и мыслями. Приходили оба брата Шаховские, Дмитрий Иванович и его младший брат Сергей Иванович, широкоплечий красавец, жизнерадостный и легкомысленный. Ему быть бы в гусарах, идти по следам отца в кавалерию, а он, по беспокойству русской души, поступил в земские начальники, чтобы быть ближе к народу. Потом оставил службу и вслед за старшим братом втянулся в общественную работу, сначала тайную, потом явную и незаметно для себя врос в интеллигентские треволнения. Но что-то гусарское оставалось в нем даже тогда. В декабре 1905 г., во время вооруженного восстания, он устроил у себя для партизан склад револьверов и прятал их в огромной пустой голове алебастрового Апполона, украшавшего большую, нарядную, московскую квартиру князя. Но это уже было два года спустя после Ярославля.

Ко мне приходили разные местные люди — земские врачи, адвокаты, инженеры, земские служащие, губернские чиновники. Часто бывали мои товарищи по редакции, включая двух корректоров, Яшнова и Каляева. Оба были очень молоды, оба годились в герои романа. Яшнов был социал-демократ. Сын рабочего, он учился только в народной школе, был самодельный интеллигент. И это его мучило. Его многое мучило. Самолюбив и застенчив он был до резкости. Сначала его красивые глаза смотрели на меня вызы-

вающе. Дескать не воображай, что и я с тобой буду носиться. Не дождешься.

Я и не ждала и не воображала. Он мне нравился, нравились и его стихи, временами печатавшиеся в «Северном Крае». В них была искренность, было чувство слова, было и небольшое дарование. У Яшнова была очень красивая голова, но он был горбун. Щедро задумала его природа и не доделала, испортила, бросила. Чужая красота, полнота чужой жизни вызывали в нем горькое чувство. Он потрясал своими марксистскими лозунгами, как шашкой. Мы с ним часто спорили, но за внешней его колючестью была подкупающая прямота и неожиданная мягкость. Не знаю, что с ним потом сделалось, но думаю, что его гордая душа отшатнулась от прежних товарищей, когда они стали называться коммунистами.

Более частым моим гостем был Иван Каляев, который два года спустя убил в Москве вел. князя Сергея Александровича. В Ярославле никто не предугадывал, что этого тихого, задумчивого юношу ожидает кровавая слава террориста. В Каляеве не было внутреннего надрыва, раздиравшего Яшнова. Он был сдержанный, замкнутый, вежливый. Сын полицейского чиновника в Варшаве, он там кончил гимназию, поступил в университет, был замешан в какую-то историю, попал в тюрьму, выслан в Ярославль. О своих столкновениях с властями, о своих тюремных похождениях он почти не говорил. Не потому что хотел их скрывать, а просто это была не достаточно интересная тема. У кого не было таких историй? Каляев не чувствовал себя гонимым. Он был борцом, если не гонителем. Но и об этом мы не говорили, уже по другим причинам, конспиративным. Социалисты-революционеры, к партии которых он принадлежал, — были заговорщиками, конспираторами, что не помешало им поставить во главе боевой организации, нервного

центра партии, великого провокатора, агента Охранки Азефа. Среди многих своих дьявольских дел Азеф был организатором и убийства великого князя Сергея Александровича, которое он подготовлял вместе с Борисом Савинковым. А исполнение этого преступления они поручили Каляеву. Но в Ярославле я поила чаем не террориста, — я даже не знала, что Каляев социалист-революционер, — а молодого, приятного, но мало заметного, скорее некрасивого поэта. Хороши у него были только глаза, вернее взгляд, печальный и чистый. Каляев любил приходить, когда других гостей не было. Ему легче было разговаривать вдвоем, чем в обществе. Он перелистывал мои книги. Мне только что один инженер подарил несколько томиков французских поэтов в изысканных переплетах из бархата, русской парчи, набойки. Каляев с наслаждением брал в руки сонеты Эредиа и ласково гладил тонкими пальцами темносиний бархат переплета. Иногда просил меня прочесть их. Я раскладывала перед ним снимки с картин. Я привезла с собой фотографии с произведений Бегаса, литовского пастуха, который еще мальчиком-подпаском вырезал деревянные фигурки. Из него вырос настоящий скульптор. Бегас часто изображал Христа. Его своеобразная скульптура напоминала деревянные распятия, простирающие свои руки на перекрестках в его родной Литве. Каляев подолгу всматривался в скорбный лик Спасителя и мягким, тихим голосом толковал замыслы Бегаса:

— Смотрите, как идет линия усталых, опущенных плеч. Какая благодатная сила в руках, даже распятых. Как из них источается таинственная, святая, кроткая мощность...

Ходил ли Каляев в церковь? Не знаю. Кругом него все были так далеко от церкви. Думаю, что и он не был к ней близок. Но я могу себе представить, как

он украдкой заходит на всенощную в одну из старинных ярославских церквей и подолгу стоит в темном углу, около стены, расписанной древними фресками с устрашающими изображениями вечных мук. На обедне, днем, мне его себе труднее представить. Обедня есть осуществление таинства, ослепительный дневной свет. Всенощная — преддверие, полусвет, обещание.

Мы с Каляевым о церкви, о православии не разговаривали. Но о Христе этот приятель, если не друг, Бориса Савинкова, профессионального политического убийцы, часто говорил. Мне думается, что сердце Каляева было способно принять божественную истину. В прежние времена такие, как он, романтики уходили в монастыри, молитвою и постом преодолевали злую силу. В наш, полный соблазнов век он поддался дьявольскому искушению, поверил в жертвенность терроризма. Может быть, его грызли сомнения? Может быть, после убийства он почувствовал раскаяние? Но в этом я не уверена.

Со мной он о терроре никогда не говорил. Террорист, посвященный в тайны подполья, обязан о них молчать. Но никто не запрещал ему говорить о тайнах искусства, о трагическом противоречии добра и зла во вселенной, в каждом из нас, о том, как совместить Евангельское Откровение с царством насилия и неправды, где обречен человек жить даже в странах, считающих себя христианскими.

Весной Каляева посадили на два месяца в тюрьму, отбывать административный приговор за какие-то сравнительно невинные политические проступки. Из тюрьмы он писал мне письма, в прозе и в стихах. Одно из них начиналось словами: — Христос! Христос! Оно звучало как призыв, как сыновняя мольба, как страстная просьба указать людям пути любви. После казни Каляева я отдала эти стихи его товарищам по партии. Надеюсь, что они их напечатали, несмотря на

явно религиозное настроение, которое тогда среди революционеров считалось признаком слабости, если не глупости.

От наших встреч с Каляевым в Ярославле у меня осталось воспоминание о нем как о начинающем поэте. Когда, два года спустя, я прочла в газетах, что Иван Каляев бросил бомбу в в. кн. Сергея Александровича, я была поражена. Образ этого тихого искателя истинного пути так не вязался с убийством. Убить безоружного человека без суда, без права защиты, по постановлению анонимной кучки заговорщиков! В психологии террористов есть что-то страшное. Какое-то дьявольское навождение. С одной стороны, идеализм, доходящий до самопожертвования, с другой, зверская расправа с противниками. Как могли люди с таким духовным складом, как мой брат или Каляев, вместить в себе эти обе крайности?

В Ярославле у нас не было трагических предчувствий. Мы весело, беспечно переживали упоение общественным подъемом, никогда еще не испытанным. Все вокруг нас пришло в движение и все мы в него втягивались. Мы все двигались к одной цели. Мысли, чувства, желания, личная жизнь, все стягивалось к тому, чтобы добиться политической свободы. Все явственнее и явственнее чувствовалось, что подымается какая-то сила, какая-то рать сплачивается, зовет нас в свои ряды. В Ярославле главным знаменосцем был Шаховской. Ему было тогда лет сорок. Он и по внешности сразу привлекал к себе внимание. У него были тонкие черты лица, белый, выпуклый, чуть сжатый на висках лоб, на который упрямо падала прядь рыжеватых волос. К подбородку лицо круто суживалось, заканчиваясь острой, тоже рыжеватой бородой. Движения тонких, красивых рук, с длинными пальцами изредка то подчеркивали, то дополняли смысл его

слов. Горбатый, тонкий нос, круглые, серые, светлые, ястребиные глаза придавали ему что-то птичье. Его быстрота, подвижность, устремленность усиливали это впечатление. Худой, высокий, длинноногий, легкий, Шаховской не ходил, а летал, как журавль. У меня с детства, от моих ручных журавлей, осталось впечатление, что они насмешники. В моем воображении фантастические журавли Андерсена сливались с моими питомцами. Когда Дмитрий Иванович начинал посмеиваться, он мне казался таким заколдованным журавлем. Легкий, с крылатыми движениями, не оборотень ли он? Как разберешь, что в нем таится, в этом опростившемся земском князе? Когда он врывался и опять исчезал, точно трепет крыльев проносился по комнате. В долгие годы нашей дружбы это ощущение не раз возвращалось.

Молодое толстовство уже сбежало с Дмитрия Ивановича. От непротивления злу он перешел к практической земской работе, чтобы потом стать видным политическим деятелем. Но от толстовства осталось опрощение, пренебрежение к внешним удобствам и благам жизни, земной, мирской аскетизм.

Шаховской вышел из того просвещенного, дворянского класса, который дал России много хороших людей. За Шаховским тянулся, восходя к Рюрику, длинный ряд сановитых предков. Отец его был военный. Сестра, красоту которой описал Толстой в «Воскресении», была замужем за шефом жандармов, генералом Оржевским. В нашем ярославском кружке Шаховской был самым значительным и влиятельным человеком. К нему все прислушивались, с ним соразмеряли свои мысли и поступки. Его личное обаяние усиливало, скрепляло его значение, как одного из самых видных руководителей общественного мнения. Официально он был земский гласный, редактор «Северного Края». Я тогда не догадывалась, что он так-

же один из главных собирателей и организаторов оппозиционных сил, не только в этой части Поволжья, но и по всей России. А правительство это знало, но не знало, как справиться и с движением и с такими двигателями. Губернаторы не утверждали Шаховского на земские должности, на которые его выбирало земское собрание. Но и как простой гласный он умел придать земской работе определенное направление. Особенно в деле народного образования, для которого он много сделал и в Тверской и в своей родной Ярославской губернии. Ради земского дела он отказался от университетской работы и поселился в Ярославле. Сначала это была деятельность явная, у всех на виду. К тому времени, как он вызвал меня в Ярославль, шла уже и другая, тайная политическая жизнь, в которую я не была посвящена.

Общественный темперамент пересилил в Дмитрии Ивановиче научную пытливость. Но она в нем всегда жила. Когда наступали полосы политического затишья, он искал отдыха и удовлетворения в архивных изысканиях, но не надолго. Зовы настоящего звучали громче, чем голоса прошлого.

От отца Шаховскому досталось родовое имение. Он боялся, что в старой княжеской усадьбе его дети, — их было четверо, — впитают в себя старый, вредный помещичий дух. Чисто толстовский взгляд. Но Шаховской его не на словах проповедывал, а провел на деле. Он свою родовую усадьбу продал, хотя в этом не было никакой нужды. Себе оставил только клочок земли для ценза, чтобы сохранить выборные земские права. Княжеский дом перешел в другие руки, но память о прошлом витала в городской квартире Шаховских. Рядом с некрашенными столами и венскими стульями стояли очаровательные шифоньерки, пузатые комоды с инкрустацией, важные книжные шкафы XVIII в. В одной из шифоньерок хранились

письма Чаадаева. Его портрет висел в столовой. Казалось, изысканный вольнодумец времен Александра I, когда умели сочетать безумные шалости с либеральными умствованиями, шампанским запивали беседы о конституции, с недоумением смотрит на незатейливую жизнь своего аскетического внучатого племянника. Приходили гости. На чайном столе, покрытом клеенкой, появлялись старинные, нежные севрские тарелки. На них лежали ломти хлеба и колбаса, не всегда разрезанная. Гости справлялись, как умели.

Шаховской был женат на Сиротининой, сестре известного профессора медицины. Княгине Шаховской не стоило больших усилий приспособить жизнь семьи к упрощенным формам. Она была хорошая женщина, искренняя, преданная детям и мужу, но не сложная. Опрощение было в ее стиле. Барственности в ней не было и тени.

А муж ее и по внешнему облику и по внутренним свойствам все-таки оставался русским барином. Порода сказывалась не только в костяке его лица, в его худощавой стройности, но и в его вежливости, изысканно простой, непосредственной, свободной от смущения, от усилия. Простота в нем совмещалась с той особой благовоспитанностью, которая, впитав в себя хорошие манеры запада, прибавила к ним и свои очень привлекательные особенности русской обходительности, для всех равной.

Дмитрий Иванович никого не стремился удивить, поразить, он не оглядывался на других, не искал популярности, не искал власти над людьми, но заражал их своим политическим горением и умел каждого повернуть к жизни лучшей его стороной. Он находил единомышленников, сплачивал их, пробуждал в них политическое сознание, направлял распыленную энергию к одной цели. У него был огромный, заслужен-

ный моральный авторитет. Он не способен был покривить душой. Это понимали даже его противники.

Шаховской хорошо знал русскую историю, включая историю своей семьи, что с русскими не так часто бывало. Среди своих предков выделял он Чаадаева и князя Щербатова, историка и публициста Екатерининского царствования. Между ним и нашим Шаховским была своеобразная преемственность мысли. Но в Шаховском было меньше озлобленности. Хотя порой и на Дмитрия Ивановича нападали вспышки гражданского гнева. Его настроение волнообразно падало и подымалось в зависимости от политического барометра. Случались и с ним приступы общественного сплина. Тогда он забирался в Румянцевский Музей в Москве или в Публичную Библиотеку в Петербурге и пропадал в рукописном отделе. Такие архивные припадки начались позже. Когда я с ним встретилась, ему некогда было рыться в библиотеках. Он несся вперед на гребне вздымающейся волны. В эти бурные годы Дмитрий Иванович не изучал историю, он скорее делал историю, поскольку это можно сказать об усилиях отдельного человека.

Шаховской был радикал, освобожденец. От партий революционных, социалистических его отделяли не только их программы, но и психология. Присоединение к той или иной политической группировке в значительной степени определяется не столько теориями, логикой, сколько моральными и эмоциональными свойствами человека. Шаховской был прямой потомок декабристов. Та же была в нем рыцарская прямота, непоколебимое чувство долга, наивная влюбленность в свободу, равенство и братство.

Когда он бывал в очень хорошем настроении, он повторял:

По чувству братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба

И будем мы хранить до гроба
Вражду к бичам земли родной.

На самом деле в его сердце было больше любви, чем вражды.

Если по внутреннему облику своему он был сходен с декабристами, все же десятилетия, отделявшие его от них, принесли русским думающим людям некоторый опыт, хотя и далеко недостаточный, чтобы предвидеть позднейшие события и справиться с ними. Но Шаховской был менее отвлеченным идеалистом, чем декабристы, он лучше понимал насущные потребности России. Он ощущал действительность, старался найти в ней опорные пункты для борьбы за конституцию. Но он искал поддержки не в офицерстве, как делали это декабристы, а в новой, земской среде. Земцы на работе изучили нужды и желания населения. Они выработали в себе общественные навыки, научились обращаться с народным хозяйством, с общественными делами и деньгами. Это были не чиновники, присланные из далекого центра, а местные, выборные люди, честно преданные интересам своего края и ответственные перед избирателями. Позже, присмотревшись к европейским порядкам, которые издали казались нам образцовыми, завидными, я поняла, на какой высокой ступени стояло наше земство, каких деятелей оно воспитывало, какие возможности в себе носило.

В земской среде Шаховской без труда находил себе сотрудников и единомышленников. Он был собиратель. Его главным талантом было привлекать и объединять людей. Его круглые, зоркие глаза всюду их выискивали. Он не боялся разнообразия характеров, допускал разные оттенки во взглядах. Он так ясно ощущал необъятность, богатство русской земли,

так твердо знал, что на такой просторной ниве всем честным труженикам найдется место, найдется дело.

Деловое объединение земств и городов началось раньше общего конституционного движения. Не знаю, сохранились ли где-нибудь подробные записи о земских съездах и о тесно с ними связанном Союзе Освобождения. Боюсь, что нет. Всем было не до исторических записей, на вчерашний день некогда было оглянуться. Все жили завтрашним днем, летели без оглядки вперед.

Но когда я жила в Ярославле, земских съездов еще не было. Был Союз Освобождения, тайное общество, о котором мне Шаховской, несмотря на нашу дружбу, ни слова не говорил, хотя был одним из его создателей. А я не догадывалась, что в Ярославле, помимо прославления вполголоса всех свобод, развивается подпольная работа для их завоевания. Я знала, что социалистические партии усиливают свою активность, но что и Шаховской конспиратор, этого я не подозревала.

Когда зимой 1903 г. он убедил меня переехать в Ярославль, я была уверена, что нужна им только для редакционной работы. А он уже готовил меня для сотрудничества более широкого. Шаховской, вместе с Фальком, рассчитывали, что появление женщины-журналистки, да еще приезжей из Петербурга пойдет на пользу движению.

Я ничего не знала о невидимом Союзе Освобождения, где разрабатывалась тактика оппозиции, готовились для нее лозунги. До нас, непосвященных, они доходили уже готовыми. Конечно, за нами оставался свободный выбор, следовать им, или нет. Но мы их принимали, за ними шли, потому что они были созвучны общему настроению, потребности проявиться, показать правительству, что мы существуем. Мы уверяли себя и других, что мы задыхаемся в тисках

самодержавия. На самом деле в нас играла вольность, мы были свободны телом и духом. Многого нам не позволяли говорить вслух. Но никто не заставлял нас говорить то, что мы не думали. Мы не знали страха, этой унизительной, разрушительной, повальной болезни XX века, посеянной коммунистами.

Нашу свободу мы оценили только тогда, когда большевики закрепостили всю Россию. В царские времена мы ее не сознавали. Мы бунтовали, шумели, кричали, протестовали против насилия, виновными себя не признавали. Нелепый возглас, выкинутый во время процесса «Контрабандистов», повторялся в разных вариантах. Кричать во весь голос еще было невозможно, но можно было шуметь негромко, под сурдинку, по углам. Собрания все еще не разрешались, печать была под строгой цензурой. Но недомолвки, намеки, выборы тем — мы всем этим умели пользоваться, чтобы усилить в читателях недовольство существующим строем. Вражда к правительству быстро росла. Власть была права, когда всюду чуяла крамолу. К несчастью, она не хотела вдуматься в ее причины, не допускала возможности открытого обсуждения недостатков, возбуждавших недовольство.

Силы оппозиции так стремительно росли потому, что в ее критике, в ее требованьях было много здорового, жизненного. России действительно нужны были и реформы и поправки во многих областях. Больше всего ей нужно было народное представительство. Это сознание пробуждалось в широких кругах. А правительство даже самое слово реформы считало крамольным. Положение оппозиции было выигрышным, так как она добивалась удовлетворения живых, назревших народных нужд. И еще потому, что оппозиция наступала, а правительство только оборонялось, не выдвигало никаких положительных мероприятий или зая-

вляло о них слишком поздно. Это особенно ясно выявилось во время японской войны, которая дала сильный толчок Освободительному Движению. Но уже в лето 1903 г., за несколько месяцев до войны, либеральный дух разгорался все сильнее, от профессоров, студентов, журналистов, адвокатов перекидывался в министерства и канцелярии, смущая чиновников, подрывая их уважение к режиму, которому они служили. Уверенность в своей правоте была на стороне оппозиции.

Нашим цензором был вице-губернатор. Раз какая-то моя статья вернулась от него на крест перечеркнутая красными чернилами. Фальк показал мне ее на редакционном собрании и с улыбкой сказал:

— Посмотрите, какой невежливый господин. Все вычеркнул. Если бы он знал, какая славная женщина это писала, он не посмел бы так чиркать.

Шаховской хохотал:

— Ну еще бы! Вот поезжайте к нему. Поговорите. Отвоюйте свою статью.

— Отчего же нет? Я съезжу.

Все посмотрели на меня с некоторым удивлением. Они меня порядочно баловали, а я точно напрашиваюсь на неприятные объяснения с цензором.

На самом деле ничего особенно неприятного не произошло. Вице-губернатор принял меня не в канцелярии, а у себя дома, в своем кабинете, обставленном красивой мебелью. Говором и манерами он был похож на товарищей моего брата, правоведа. Он не очень знал, как себя со мной держать. Я пришла к нему из «Северного Края», из враждебного лагеря. Но перед ним была не задорная нигилистка с папироской в зубах, а молодая женщина привычного дворянского круга, скорее привлекательная, смелая, а главное твердо уверенная в своем писательском праве высказывать свои мысли. Бедный вице-губернатор явно был

сбит с толку, что мне было очень приятно. Я попыталась его убедить пропустить мою статью.

— В каждой статье можно, при желании, заподозрить тайный смысл. Но явно в моей статье нет ничего предосудительного. Я буду вам крайне признательна, если вы в нее еще раз заглянете и снимете ваш запрет. Не забывайте, что это моя профессия, мой хлеб...

Я улыбнулась, чтобы не придавать моим словам ненужного трагизма. И по лицу моего цензора прошла неудержимая улыбка. Он заглянул мне прямо в глаза, точно хотел понять, в чем тут штука, почему он должен таких, как я, бояться, следить за мной, подозревать меня в преступных замыслах и кознях? И я с таким же любопытством разглядывала его и, как это ни странно, видела, что он меньше уверен в себе, в своей правоте, чем я.

Я недолго пробыла в его просторном кабинете. Было ясно, что он разрешить статью не может. За этим, повидимому добродушным, молодым чиновником стояла тяжелая, недобрая фигура губернатора, будущего рокового премьера, Б. Н. Штюрмера. Это уже был не противник, а враг. Штюрмер раньше был губернатором в Новгороде, откуда вывез и недоверие лично ко мне, как отпрыску крамольного Тырковского рода. Всю редакцию «Северного Края» он держал под подозрением. Шаховской был для него государственным преступником, еще не посаженным за решетку. Его земской деятельности Штюрмер ставил на каждом шагу препятствия. На нашу газету Штюрмер смотрел, как на рассадник беспорядка во вверенной ему губернии. А мы считали, что беспорядки в губернии производит сам губернатор.

Тут еще через Ярославль проехал мой ссыльный брат Аркадий. Он, после двадцати лет тюрьмы и сибирской ссылки, подпал под амнистию. Я просила

его, по дороге из Минусинска на Вергежу, остановиться у меня в Ярославле. Мои друзья встретили его не только внимательно, но с почтительной ласковостью. Брату было только 43 года. Суровая сибирская жизнь огрубила, обветрила его красивое лицо. В глазах было новое выражение печали, недоумения. Точно за все эти тяжелые годы он старался понять что-то темное, что его давило.

Я была счастлива за маму, за него, за всех нас, что он будет среди нас, займет место в нашей жизни. Он с любопытством смотрел на меня, на все, что творилось кругом меня. Уезжая в Сибирь, он оставил молчаливую Россию, меня оставил маленькой гимназисткой. Теперь вокруг звучали новые, дерзкие голоса и в их хоре раздавался и мой голос. Внимательно прислушивался Аркадий к нашим разговорам и спорам. В ссыльном своем одиночестве он много передумал, произвел переоценку многих ценностей. В нашем задоре он, может быть, находил меньше здравого смысла, чем хотел бы. Но спорить он не стал. Он мало говорил, больше слушал, темными, красивыми, тырковскими глазами, пристально глядя на говорившего. Как часто мы с ненужной стыдливостью стесняемся делиться нашим житейским опытом. Кто знает, если бы он откровенно поговорил с Каляевым, может быть, этот, поддавшийся бесам мечтатель стряхнул бы с себя террористическое навождение, от которого Аркадий уже освободился. Позже я поняла, как дорого заплатил он за эту свободу, как мучила его совесть.

Особенно внимателен к Аркадию был Шаховской. Мой брат ему очень понравился. Шаховскому хотелось втянуть его в свою политическую работу. Но Аркадий был человек надломленный. Он потерял способность предаваться иллюзиям, а без них трудно в эпоху всеобщего подъема вести общественную деятельность.

Появление в нашей среде амнистированного террориста не могло улучшить отношения властей к редакции «Северного Края». Но это ничего не меняло.

Шаховской всегда был рад лишний раз поддразнить губернатора, умел для этого пользоваться всяким случаем, всяким происшествием. В то лето ему помогла устроенная в Ярославле сельскохозяйственная выставка и состоявшийся при ней съезд сельских хозяев. И тем и другим Шаховской воспользовался для политической ловитвы. На съезд приехали земцы, агрономы, помещики. Среди них были и люди, уже охваченные либеральным энтузиазмом, и такие, которых Шаховской надеялся им заразить, втянуть в свою орбиту. В первый раз встретила я там кн. Петра Дмитриевича Долгорукова, одного из ближайших товарищей Шаховского по Союзу Освобождения. Шаховскому очень хотелось, чтобы мы подружились. Он всегда старался, чтобы его друзья между собой сближались. Но, насколько мне с Дмитрием Ивановичем с первой же встречи было легко и просто, настолько Долгоруков показался мне человеком из другого мира. Позже, встречаясь на партийных съездах, в Ц. К., в кулуарах Государственной Думы мы лучше присмотрелись друг к другу. Но в Ярославле меня сбила с толку спокойная уверенность человека, не знавшего борьбы за существование. Про таких людей англичане говорят, что они родились с серебряной ложкой во рту. Долгоруковы были и родовиты и богаты. Их усадьба Волынщина в Рузском уезде сохранила всю пышность Екатерининских времен. В Москве у них был чудесный особняк, где когда-то Пушкин бывал у Вяземских. У Петра Долгорукова был брат, Павел, близнец. Оба высокие, видные, осанистые, они были так похожи друг на друга, что даже близкие знакомые их путали. Братья пользовались этим, чтобы весело мистифицировать московских барышень, которые не мо-

гли разобрать, кто же за ними ухаживает, Петр или Павел? Братья Долгоруковы были похожи друг на друга не только физически. Было в них и внутреннее, крепкое сродство. Они шли в общественной деятельности плечо к плечу. Оба были земцы. Обоих, когда началось общественное движение, потянуло к политике, как, в течение столетий, тянулись их предки к государевой службе. Оба были освобожденцами, потом кадетами, думцами. Когда нагрянула красная чума, стали белыми патриотами. Среди дворян-радикалов, сыгравших такую большую роль в русской истории XIX века и начала XX в., эти князья-близнецы занимали живописное место и себя достаточно ярко проявили. Князь Павел, уже при большевиках, героически завершил свою общественную деятельность. С ним я познакомилась позже. В Ярославль приезжал только князь Петр. Ту неделю, что он провел в Ярославле, Шаховской был с ним неразлучен. Они были в центре всего, все время были окружены. К ним прислушивались, за ними шли. За ними обоими уже был земский опыт, главным образом в области народного образования, у Шаховского в Тверской и Ярославской губ., у Долгорукова в Курской. На сельскохозяйственном съезде, как в комиссиях, так и в общих собраниях, они говорили о практических задачах, но в их речах слушатели ловили иной призыв. Особенно в оживленных застольных беседах, хотя таинственное слово — конституция — все еще публично не произносилось. Но в частных беседах, даже с малознакомыми людьми, его уже не боялись. Помню как на выставке два уездных агронома, стоя около большой диаграммы, изображавшей крестьянское хозяйство, поясняли мне мужицкие нехватки и недостатки. Когда я спросила, как их исправить, они взглянули на меня с выразительной усмешкой. Я ответила улыбкой на улыбку и всем троим, без слов, было понятно,

что от всех бед одно есть магическое лекарство — политическая свобода. Хотя о политике между нами не было сказано ни слова. Эта агрономическая неделя чуть не свела с ума губернатора. Бедный Штюрмер, наверное, видел страшные сны про двух князей, легконогого, птицеподобного Шаховского, с его заливчатым, насмешливым хохотом, и широкоплечего, громоздкого Долгорукова, который шел вперед так решительно, точно перед ним всё и все должны были расступаться. Да отчасти и расступались.

Через губернских чиновников, среди которых у нас были единомышленники и приятели, до нас доходили слухи, что губернатор в панике и с часу на час ждет в городе если не революции, то уж по крайней мере уличных манифестаций. Шаховского это очень забавляло. В нем, при всей его глубине и основательности, было много детского. В эти дни в Ярославле он весь искрился, точно молодая девушка, начавшая выезжать. Это не были его первые шаги, но дорога перед ним расширялась. Было где разбежаться. Как собиратель оппозиции, он почуял ее и свою силу.

Он был окружен людьми, знакомыми и незнакомыми, в которых горели близкие ему запросы и идеалы. Вся эта новая общественная деятельность разворачивалась в живописной рамке. Волга, старинная величавость церквей, синее небо над золотыми куполами и крестами, простор родных полей, со всех сторон подступавших к городу. По ночам, когда мы возвращались с затянувшихся заседаний — яркое горение звезд. Все нас радовало. Шаховской любил красоту родного Ярославля, хорошо знал художественные сокровища местных церквей, ворчал, что никто в редакции ими не интересуется.

Как последний аккорд этой быстро промелькнувшей, насыщенной впечатлениями недели, прозвучала речь Шаховского на прощальном обеде участников

съезда. Между собой мы называли это банкетом, в честь наших литературных банкетов в Петербурге. Название было громкое, а речи все еще туманные, недоговоренные. Но уже были некоторые ходячие поговорки, вроде: «Чем ночь темней, тем звезды ярче», «На Святой Руси петухи поют, скоро будет день на Святой Руси». Все это схватывалось, передавалось, толковалось, окрыляло, звало к действиям.

И все это история смела. Все прошло, все забыто, все достижения разбиты в щепки. Много по Руси с тех пор прокатилось иных, дерзких, буйных зовов, по сравнению с которыми то, о чем шептались, перешептывались до японской войны, кажется юношеской романтикой. Но именно эти первые, недоговоренные толки о правах человека и гражданина, постепенно разрастаясь, разливаясь, перешли в сокрушительные раскаты позднейших грозных революций. За мою жизнь их в России произошло три. Первая в 1905 г., вторая в феврале 1917 г. Третья в октябре 1917 г.

Но в Ярославле нам грезились сдвиги, а не катастрофы, ледоход, а не землетрясение. В этом отношении жандармы и полиция, которых мы считали дураками, оказались прозорливее нас. Когда за обедом, в большой зале лучшей ярославской гостиницы, раздавался высокий, с легкой дрожью тенор Шаховского, мы все заражались его порывистыми призывами, а сыщики, присутствующие тут же под видом половых, спешили донести начальству, что, хотя князь ни одного запрещенного слова не произнес, но речь он сказал крамольную. Штюрмер угрюмо принимал эти донесения. Он боялся подступиться к Шаховскому. Как за него взяться, когда никакого состава преступления нет, есть только оппозиционная строптивость, вроде облака? Как его уловить, как остановить облака, прежде чем они сгрудятся в грозовую тучу? Как прекратить стремительное мелькание по Ярославлю этого

князя, который ни в чем и нигде не преступил законных граней, а в то же время всех кругом будоражит? Шаховской не первый встречный. Его отец видный генерал, его сестра замужем за шефом жандармов. Тут можно нажить неприятности.

Так съезд и сошел с рук благополучно. Шаховской считал его удачным. Он завел новые связи, расширил и укрепил прежние отношения с земцами и с земскими служащими, с агрономами, инженерами, с отзывчивой, живой краевой интеллигенцией, среди которой крепли либеральные настроения. Это была та питательная среда, откуда Шаховской для издававшегося в Штутгарте «Освобождения» набирал читателей и сотрудников. Он уже высматривал кто из них может стать членом будущей либеральной партии, когда она, наконец, народится.

Такое же, как в Ярославле, движение, такая же кристаллизация общественной энергии происходили во всей России. Мне случайно пришлось наблюдать ее именно в Ярославле, где этому процессу способствовал Шаховской, обладавший таким исключительным талантом общественности. Он его смог проявить, потому что сама эпоха толкала на общественное дело. Люди, еще вчера, казалось, друг другу чуждые, сближались, группировались, сообща обсуждали, уточняли свои пробуждающиеся политические потребности, которые носились в воздухе. Их нечего было выдумывать, сама жизнь их выдвигала. Такие деятели, как Шаховской, только направляли их в известное русло, находили для них словесное выражение. Пафос Освободительного Движения начала XX в. питался мечтами о народоправии и политической свободе, зародившимися еще во времена Александра I. На этом объединялась вся оппозиция. Тут либералы и социалисты были, если не единомышленниками, то попутчиками, что не мешало социалистам считать либера-

лов классовыми врагами. Но, до поры до времени, в целях революции, выгодно пользоваться буржуазными соратниками. Между социалистами и либералами — этими двумя крылами Освободительного Движения — не было настоящего сговора. Оппозиция была пестрой, расплывчатой. Ее объединяла общая готовность свалить самодержавие и потом наградить народные массы политическими благами и правами, которые разные течения толковали по-разному.



В Ярославле самыми приметными шумными представителями этих народных масс были грузчики на Волжских пристанях. Я наняла дачу на левом берегу Волги и поселилась там с детьми. Рядом с нами была пристань и перевоз. Моста не было. Самый город раскинулся на правом берегу. Мне каждый день приходилось бывать в редакции. Часто, поджидая лодочника, я любовалась красочной, яркой толпой грузчиков. Плохо одетые, в заплатанных штанах, в пестрых, вылинявших от солнца и пота рубахах, сквозь дыры которых просвечивали стальные мускулы, эти могучие, ловкие, легкие богатыри, точно играя, бегали то вниз, то вверх по колеблющимся досчатым сходням с десяти пудовыми мешками зерна или муки на спине. Зарабатывали они хорошо, но немало денег оставляли в царевом кабаке. В промежутках между работой они толпились около казенной винной лавки, которая ютилась недалеко от сходней. Купят сотку, тут же на улице ловким ударом ладони по донышку выбьют пробку и опрокинут водку из бутылки прямо в глотку.

Несмотря на тяжелую работу, это была толпа говорливая, веселая. Я прислушивалась к их неподражаемому волжскому говору. В выражениях они не стеснялись, острили и шутили, играя словами, для пе-

чати не всегда годными. Но когда я, в ожидании перевозчика, присела на скамье около казенки и стала болтать с грузчиками, они в мою честь подчистили свой словарь насколько могли. Один из моих младших коллег по редакции, Зузуля, позже ставший редактором советской газеты «Парижский Вестник», застал меня в самый разгар такой беседы. Я едва успевала отвечать остротами на остроты грузчиков, шутками на их шутки. Мы развлекались во всю. Хохот стоял над толпой, расправлявшейся после утренней работы. Зузуля, как хороший журналист, подошел посмотреть по какому случаю народ собрался, нет ли происшествия, пригодного для газетной заметки?

К своему великому изумлению, он нашел около кабака меня в светлом летнем платье, в большой соломенной шляпе, с пестрым зонтиком в руках, с моей хромой вороной на плече. Я подобрала ее на лугу, перевязала ей подбитую лапу и всюду таскала ее с собой. Она искоса иронически осматривала моих шумных собеседников. У ворон насмешливый характер. Они не прочь посмеяться над людьми.

У Зузули оказалось меньше юмора, чем у птицы. В его черных глазах не было усмешки. В них было сердитое недоумение, куда это Ариадна Владимировна затесалась? Мои новые знакомцы это сразу почуяли. Холодок пробежал по их толпе. Игра была испорчена и оборвалась. Мне было досадно. Я увлеклась нашей болтовней, да и они тоже. Мне запомнились из нее только отрывки. Помню, что этих буйных здоровяков очень забавляло, что я пишу в газетах.

— Поди и на хлеб зарабатываешь?

— На хлеб, и на сапоги, и на пряники хватит для меня и для ребят.

— Ишь ты, какая шустрая. А я думал ты так, дачница, под зонтиком гуляешь.

Я засмеялась. Смеялись и они.

— Иногда и под зонтиком гуляю. Разве ты никогда не гуляешь? А мне на ходу легче придумать, что писать. Чем тебе мой зонтик помешал?

Голубые глаза рыжего бородача, который подразнил меня зонтиком, мне лукаво подмигнули:

— Это я так, к слову. Вот накоплю деньги, своей Агашке аккурат такой зонтик куплю.

Кругом хохотали.

— Такой, как ты, накопит! Ты ей пробки от соток копи. Скорее будет.

— Ты Агашке лучше ворону подари, дешевле будет.

Ворона точно поняла, что это про нее, и хлопнула крыльями.

— Ишь ты, как она у тебя приучена.

Тут-то и ворвался некстати Зузуля. Мы с ним сели в лодку, стали переезжать Волгу. Он устроил мне сцену:

— Вы с ума сошли, Ариадна Владимировна? Разве можно такие штуки делать? Ведь это же отпетый народ, эти грузчики. Они все, что угодно, могут выкинуть.

— А я, Зузуля, нахожу, что вы с ума сошли. Считаете себя социалистом, а мужиков испугались. Мне с ними куда интереснее, чем с книжниками.

— Ничего я не испугался, а вы просто Горького начитались, вот и потянуло к босякам.

— Ну, знаете, я и до Горького у себя в деревне насмотрелась на босяков. А ваши здешние любопытнее горьковских.

— Тем лучше, но вы обещайте мне, что если вам опять вздумается около казенки салон открывать, вы меня с собой возьмете.

— С какой стати?

— Да неужели вы не понимаете?

Он пристально посметрел на меня и вдруг улыбнулся широкой улыбкой, от которой черные глаза сузились, как щелки, белые зубы открылись, как у щенка.

— А еще говорят вы умная. Или и вы, по-бабьи, на комплименты напрашиваетесь?

На этот раз мы с Зузулей чуть не поссорились. Тем более, что он пожаловался на меня Шаховскому, который в ту полосу его жизни был для него предметом неограниченного восхищения. Шаховской залился своим заразительным смехом и стал уверять, что если босяки заберутся ко мне на дачу, где я, после отъезда детей, жила совсем одна, без прислуги, и если они похитят меня и мою ворону, то редакция разыскивать меня не станет, а попросит Каляева написать элегию, на тему о сближении Вергежского с народом.

Кроме грузчиков, я в Ярославле так называемого народа не встречала, с местной фабричной жизнью совсем не познакомилась, хотя фабрик было не мало. Раз, и то мельком, взглянула я на рабочих в Костроме. Там, на большой прядильной фабрике, шла забастовка. Мы поехали туда вдвоем с приват-доцентом Е. В. Аничковым. Он приехал на несколько дней из Петербурга, привез рассказы о том, как там все кипит. От него я тогда впервые услыхала, что П. Б. Струве издает в Штутгарте «Освобождение». Шаховской мне об этом ни словом не обмолвился. Аничков предложил мне прокатиться с ним на пароходе в Кострому. Он ехал посмотреть на забастовку, чтобы написать об этом в «Освобождение». Забастовка была чисто экономическая, вызванная низкой заработной платой и плохими условиями труда. Влияние социалистических партий было еще очень слабое и политические требования рабочие выдвигали редко.

Ни у Аничкова, ни у меня связей в Костроме никаких не было. Мы прошли мимо закрытой, затихшей фабрики, разыскали пыльную, немощенную улицу, за-

селенную фабричными. Они сидели на скамейках около своих неказистых домишек, угрюмыми кучками собирались на деревянных мостках, заменявших тротуары. Вид у них был подавленный, лица осунувшиеся. Затянувшаяся забастовка уже подорвала их скудные сбережения. Они явно недоедали.

С нами рабочие разговорились с детской доверчивостью, хотя Аничков своими длинными усами и картавым голосом больше напоминал отставного гусара или чиновника, чем социалиста-заговорщика, каким он себя считал. Пока он расспрашивал забастовщиков и записывал в книжечку количество рабочих часов и размер заработной платы, я разглядывала их осунувшиеся лица. Мне было их жалко, как когда-то было жалко мальчишку-нищего, которого я привела в наш дом. Как в неурожайный год было жалко больных цынгой ребятишек на Вергеже. Вставал тот же вопрос — за что? Как сделать, чтобы этого не было? Мне подсказывали, что спасение в социализме. Но мои мысли этой дорогой не шли. Хотя, конечно, я не могла себе вообразить, до какой нищеты, до каких страданий доведет социализм Россию.

Тогда мы ребячески сваливали всю ответственность за социальные болезни на самодержавие. Возвращаясь на пароходе в Ярославль, мы с Аничковым так упорно, с таким упоением трепали эту тему — долой самодержавие, — что только мельком замечали простор неба, реки, полей, красоту церквей и далей.

Я прожила в Ярославле немного более полугода и к концу лета уехала, сначала на Вергежу, потом в Петербург. Детей я еще раньше отправила к маме в деревню. Там они были больше дома, чем в маленькой, неустроенной дачке за Волгой. Я все меньше и меньше могла отдавать им времени. Популярность моя в Ярославле росла. Это часто идет за счет близких. Раз, когда я, в обычный редакционный час, уехала в город,

моя маленькая дочка, очутившись одна на лугу, недалеко от нашей дачи, стояла и жалобно приговаривала:

— Коровы боюсь. Собаки боюсь. В грязь не хочу. К мамочке не могу.

Когда мне, смеясь, рассказала об этом лесгафтичка, которая была к ним приставлена, я сразу написала маме, что посылаю детей на Вергежу. Там моей девочке нечего бояться. Мама уже перенесла на внуков часть своей любви к нам. Нет. От нас она ничего не отняла. Такой в ней был запас деятельной любви, что на внуков хватило. Особенно много досталось на долю моих детей. Они подолгу жили около нее на Вергеже. Она понимала, как мне трудно бывает совместить мою новую жизнь, мою нелегкую борьбу за существование, с обязанностями матери и мягко, без слов переложила на себя часть моей ноши. И часть моих радостей.

Поддерживала она меня и тем, что так сочувственно относилась к моему писанью, ко всему новому укладу моей жизни. Ее похвалы даже удивляли меня. Детям своим она никогда не мешала мелкой, придирчивой критикой, как часто делают даже преданные детям родители. Но она нас и не захваливала. И тут сказывалось ее удивительное чувство меры. Когда, в ответ на ее читательские похвалы, она видела на моем лице выражение недоверия, она обижалась. Как хотелось бы мне сейчас, сию минуту, увидать ее улыбку, услыхать ее слова:

— Ну вот, ты опять хорошо написала. Как всегда.

С тех пор как я переехала в Ярославль, ей почти не за что было меня хвалить, так редко я там писала. Со мной произошла странная вещь. В меня на Волге влилось много новых впечатлений, я услыхала много новых мыслей. Передо мной ясно обрисовались политические задачи, я увидала новых людей, им преданных. Они ко мне отлично относились, ценили и мое

общество, и мое писание. Казалось бы, все это должно меня подстрекать, поощрять.

А работа стала. Я была здорова, полна интереса к жизни, была готова в ней участвовать. Мне очень хотелось быть полезной и Фальку, и Шаховскому, и «Северному Краю». Хотелось исполнить взятые на себя обязательства, оправдать мои 175 р. в месяц, сумма для провинциальной газеты щедрая. Но заставить себя писать я не могла, хотя из Петербурга писала им с птичьей легкостью, о чем угодно. Я даже в старости пишу легко и быстро. Но в Ярославле вышла какая-то внутренняя задержка. Меня это мучило. Я заявила на редакционном собрании, что хочу вернуться в Петербург, так как сознаю себя нерадивой сотрудницей. К моему удивлению, это вызвало бурный и дружный протест. Шаховской захватил в горсть свою рыжую бороду, что было у него признаком раздумья, помолчал и спросил:

— В Петербург? Зачем? Ваше место здесь. Пока...

Я не обратила внимания на это многозначительное слово, не поняла, что он что-то уже дальше для меня намечает. Я не отдавала себе отчета, сколько он для меня сделал, как подготовлял меня для общественной деятельности. Тем, что товарищи так держатся за меня, я была и смущена, и горда, и тронута. Значит я что-то им даю, как-то им нужна. Несколько лет замкнуто, одиноко прокладывала я себе дорогу и часто холодящее сознание, что я решительно никому, кроме родной семьи, не нужна, что, может быть, я ни на что не годна, тяготило меня. А тут хорошие, славные, даровитые люди так дорожат мною.

Но я не сдалась. У меня была еще одна причина уехать, настолько фантастическая, что я даже Шаховскому о ней не сказала. Я решила уехать, потому, что в Ярославле меня забаловали, заласкали, переоценили.

У меня не было ни знаний, ни умения думать. Этому надо было научиться, надо было сделать над собой усилие. А в Ярославле зачем было его делать, когда там прислушивались ко мне, подхватывали мои слова, считались с моими мнениями, часто не обдуманными, ждали от меня чуть не руководства. Что я могла им дать?

Все это меня смущало. Я знала, что если я поддамся, если я соглашусь стать чем-то вроде водительницы, если я буду притворяться умницей, я поглупею. А мне хотелось поумнеть. Крепко хотелось. Я чувствовала, что мне нужен другой, более суровый опыт. Жизнь мне его скоро дала. Но из Ярославля я уже уезжала другой, чем туда приехала. Шаховской что-то разбудил в моих мозгах. Я становилась взрослой. Но далеко еще не понимала, что совсем взрослыми мы в этой жизни никогда не бываем.

Глава пятая

КОНТРАБАНДИСТКА

Осенью 1903 г. мы с детьми вернулись из деревни в Петербург. Только что мы устроились, немного обжились на новой квартире и снова наладилась детская школьная жизнь, как меня арестовали. На этот раз за прямое и несомненное нарушение закона. Произошло все это быстро, просто, неожиданно, т.к. я попрежнему не принадлежала ни к какой тайной организации и ареста ожидать не могла.

Пришла ко мне Е. Д. Кускова и попросила съездить в Гельсингфорс, привезти оттуда транспорт «Освобождения». Я знала, что этот журнал, приобретавший все больший и больший успех среди читающих в России, издает в Штутгарте П. Б. Струве, но кто сотрудничает с ним в России, было мне неизвестно. Ко-

гда Е. Д. Кускова, которую я мало знала, предложила мне съездить за контрабандой в Финляндия, я, конечно, сразу согласилась. Только немного удивилась, почему выбрали меня, а не кого-нибудь близкого к их тайной организации. Я уже была уверена, что она есть, но не знала, что она называется Союз Освобождения, не знала кто в него входит.

Е. Д. Кускова пояснила мне, что пачки будут довольно объемистые и перевозить их удобнее вдвоем, жандармы меньше обратят внимание. Финляндия часто служила приютом для влюбленных парочек. В спутники мне назначили Е. В. Аничкова, с которым я ездила в Кострому. Меня просили принарядиться, чтобы произвести на жандармов впечатление дамы. С тех пор как я стала писательницей, мои наряды очень пооблиняли, но я сделала все что могла, чтобы привести себя в боевую готовность.

Поручение было срочное. Надо было выехать на следующий день вечером. А мы с Аничковым как раз подготовляли для ближайшего литературного банкета дерзкое выступление. Мы находили, что руководители наших ужинов, включая милейшего Н. Ф. Аненнского, слишком осторожны. Пора решительнее идти на приступ, хотя бы словесный, пора вслух выкрикнуть заветные слова. Целый вечер мы с Аничковым сочиняли решительную резолюцию, где наши политические чаяния будут, наконец, высказаны вслух. Бумаги мы исписали не мало, но все что-то не выходило. Только одна фраза нам обоим понравилась и мы совали ее во все черновики — «в стране насилия, беззакония и произвола». Нам чудилось, что эти существительные отлично определяют злосчастное самодержавие. Много клочков бумаги мы выбросили в корзинку под моим столом и почти в каждом повторялась эта обличительная фраза. Исписанные моей рукой клочки остались лежать в корзинке до прихода

жандармов. Моя прислуга Иринья, здоровенная, рябая крестьянка Петербургского уезда, очень заботилась обо мне и о моих детях. Но она была неграмотная и все, что касалось чернил и бумаги, вызывало в ней пренебрежительное недоумение. Бедная наша барыня все что-то строчит, а хорошего костюма себе сшить не может. Корзинка с бумагой не привлекала ее внимания, тем более, что мой арест взволновал ее до глубины души и ей было не до уборки. Словом, она забыла опорожнить корзинку и обрывки нашей грозной резолюции дожили до жандармского обыска.

Но предложить резолюцию на банкете нам не пришлось. Я взяла у сестры бархатную ротонду на лисьем меху, с песцовым воротником, подновила большую черную шляпу, знавшую лучшие времена, и мы с Аничковым с вечерним поездом, в купе первого класса, покатили в Гельсингфорс. Опять я путешествовала как дама, а не в третьем классе, как интеллигентная пролетарка. Авантюра меня забавляла. В Гельсингфорсе мы заняли комнаты в лучшей гостинице. Неизвестные нам финны принесли и в мой номер, и в номер Аничкова длинные холщевые мешочки с запретными номерами «Освобождения», напечатанными на тонкой индийской бумаге. Мешочки надо было подвязать под платьем. Все было хорошо придумано, прилажено и я, согласно наставлениям таинственных финских сообщников, запрятала контрабанду под юбку. Когда я надела ротонду, ничего не было заметно. Но в Аничкове было много мальчишеского задора. Он вдруг закинулся и заявил, что просто положит мешки в карманы шинели. Совершенно не к чему заниматься глупым прятанием. Я пробовала его уговорить, но мой ученый специалист по славянскому фольклору был малый упрямый и воображал себя конспиратором. Вечером мы сели в обратный поезд, утром приехали в Белоостров, где проходила граница между Княжест-

вом Финляндским и Российской Империей. Поезд остановился для проверки паспортов и таможенного осмотра. Я с изумлением увидала, что Аничков оставил нашу контрабанду в карманах шинели, которую повесил на крючок у входа в купе. Я пробовала его уговорить накинуть шинель на себя. Он лихо ответил:

— Ах, хоть бы что! Проскочим!

Но мы не проскочили. Во время пограничного обхода поезда жандармы вошли в купе, просмотрели наши паспорта, попросили открыть чемоданчики, козырнули, собираясь уходить, но один из них, на всякий случай, провел рукой по шинели, нащупал толстенькие пачки, вытащил их из кармана, увидал заграничный журнал и вежливо, но твердо предложил нам обоим последовать за ним. Мы последовали. На платформе около нас появилось еще несколько жандармов. Получалось уже некоторое торжественное шествие. Аничков, с виноватым видом, взволнованно сказал мне:

— Pardonnez moi, je vous ai perdue!

Жандарм его строго остановил:

— Прошу на иностранных языках не изъясняться.

На платформе стояли пассажиры. Они смотрели на нас с несомненным сочувствием: Среди них был кто-то, откомандированный Союзом Освобождения, чтобы удостовериться, провезли мы груз или попались? В тот же день в Петербурге члены Союза Освобождения узнали, что мы просыпались. Слова Аничкова переиначили и по городу рассказывали, что он крикнул:

— Pardonnez moi, nous serons pendus!

Меня этой фразой потом дразнили, уверяли, что мы так зазнались, что вообразили себя важными преступниками, которым не избежать виселицы. На самом деле я никакой преступницей себя не чувствовала. Страха во мне, конечно, не было. Самодержавного

правительства и его Охранки мы не боялись. Страх, 15 лет спустя, принесла с собой социалистическая власть. Но мне было и смешно и досадно, что мы так глупо, так по-ребячески, сами влезли в лапы жандармов. Когда горничная в Белоострове меня обыскивала и вытаскивала из-под моих юбок жирненькие, похожие на сосиски, мешочки с преступной литературой, мне было неловко, точно меня накрыли на детской шалости. Обыск продолжался довольно долго. Я видела, как уходил в Петербург наш поезд. Захотелось домой. Теперь утро. Дети собираются в школу, а я заперта здесь с этими дурацкими мешочками. На этот раз тюрьма может быть длительной. Эту мысль я от себя отгоняла. Старалась о детях не беспокоиться, знала, что о них позаботятся мои родные, мои друзья. Неприятно, что мы не исполнили поручения, но отказаться от него мы не имели права. Нас к этому обязывали все наши разговоры, все наши «долой», все наши мечты.

После обыска меня опять посадили в купе первого класса. Но теперь меня сопровождал не приват-доцент Петербургского Университета, а два жандарма. Аничкова я увидала только полгода спустя на заседании петербурской Судебной Палаты, когда мы с ним сидели рядом на скамье подсудимых. Наш поезд шел медленно. Только к вечеру добрались мы до Петербурга. Было хмуро. Темный ноябрьский вечер не веселил. К счастью, сестрина шуба грела. На финляндском вокзале меня провели в царские комнаты и заперли там до утра. Не знаю, зачем понадобилось контрабандистку, хотя бы и политическую, держать в таком почетном помещении. Я легла на диван и проспала, как убитая, до утра. Утром меня опять повезли в карете с жандармами. Я ждала, что приеду на Шпалерную, в знакомую мне Предварилку, где за 20 лет перед тем я бывала на свиданиях с братом. Но ка-

рета свернула с Литейного моста направо. Мы приехали на Мойку, к дому, где умер Пушкин. Там помещалось Охранное Отделение, или какая-то его часть. Меня мельком опять допросили, потом провели в комнату с хорошей мягкой мебелью. Пришел молодой, франтоватый жандармский офицер, щелкнул шпорами:

— Вы арестованы еще вчера. Надеюсь что вас прилично кормили?

— Да, да. Благодарю вас...

Я чуть не сказала ему: все было очень мило. Но во время удержалась.

— Я уже послал к Донону. Это тут, рядом. Сейчас принесут завтрак.

Опять щелкнул шпорами и ушел. Завтрак, а вечером и обед, действительно, были от Донона. Этот первоклассный ресторан помещался в соседнем доме. Все было, как всегда у него, очень вкусно. Я узнавала знакомые блюда, которыми я прежде угощалась в этом уютном ресторане с мужем и его товарищами инженерами. Ну, а теперь меня угощает любезный жандармский ротмистр. Пока меня содержали не в очень суровой обстановке. Но я начинала уставать от закрытых дверей, от сознания, что я попалась, да еще так глупо.

В Предварилку меня отвезли только на третий день ареста, вечером, часов около восьми. Странно было входить пленницей в тюрьму, где я девочкой навещала пленного брата. Теперь звяканье ключей, лязг запирающихся и открывающихся дверей и железных решёток звучали с угрюмой насмешливостью. Щелк... Щелк... Щелк... С каждым поворотом замка кто-то издевался надо мной — что? допрыгалась? Теперь посиди-ка смирно!

Тюремщик передал меня надзирательнице. Она провела меня в одиночную камеру. Я несколько раз на

свидании с братом бывала в камере, не в той, где он жил, в пустой. Мне запомнилось нехитрое убранство арестантской кельи. К стене привинчена узкая, железная кровать с соломенным матрацем, прикрытым серым одеялом. Железный столик и сидение рядом с ним, тоже железное, привинчены к стене. Умывальник и уборная с текучей водой. Труба от отопления. Электрическое освещение, довольно тусклое. Маленькое окно под потолком, скупо пропускающее свет. Вот и все. Да еще особый тюремный запах, неотъемлемая подробность всякой тюрьмы. В Предварилке на грязь нельзя было жаловаться. Ее старались держать чисто. Но память о прежних арестантах, казарменная липкость наслоились на всем: на выкрашенных в тоскливую серую краску стенах, на дверях с маленьким глазком, через который надзирательницы следили, что делает арестантка. Было в двери еще окошко побольше для раздачи кипятка. Для большой раздачи еды открывали дверь. Две уголовных вносили жестяные ушаты с неаппетитным супом и с кашей, сравнительно съедобной. Помимо этой даровой, казенной еды, мы могли заказывать обед в тюремном ресторане, довольно скверном, но дешевом. Мы были подследственные и режим был не строгий. Три раза в неделю нам разрешалось получать еду из дому. Была и тюремная лавка, где можно было каждый день покупать молоко, чай, булки, масло, шоколад. Из дому разрешалось получить одеяло, простыни, подушку. Даже книги.

Все это я изучила на следующий день. Меня привезли к вечеру, когда все раздачи и передачи уже кончились. Надзирательница, очень вежливая, совсем не похожая на свирепых баб Литовского замка, спросила, не хочу ли я выпить чаю? Она может принести мне кипятку.

— Спасибо. Но у меня нет ни чаю, ни сахару. Вообще ничего нет.

Она внимательно осмотрела меня, мою бархатную ротонду, мой хороший чемоданчик, сочувственно вздохнула и сказала:

— Ничего. Я вам своего чаю заварю. Завтра отдадите. Запишите на записке, что вам надо, вам из нашей лавки доставят. К утренней раздаче кипятку все у вас будет.

Положительно она разговаривала со мной не как тюремщица, а как заведующая хозяйством в благоустроенном общежитии. Я была озадачена. Но еще больше я была ошеломлена странным гулом, раздававшимся кругом.

Надзирательница ушла. Дверь закрылась. Я осталась одна. А вокруг меня жужжали человеческие голоса. Я села на кровать. Прислушалась. Какие-то шепоты, шорохи, заглушенный смех, голоса. Мне стало неприятно. Тут что-то не так. В тюрьме должна быть давящая тишина. Это мое воображение. Всего только три дня скитаюсь я под присмотром жандармов и у меня уже чуть ни галлюцинации. Откуда это? Я хорошо ела. Спала крепко. Не слишком волнуюсь. Не могли же мои нервы так быстро сдать?

Я прислушалась внимательнее. Мне показалось, что голоса идут снизу. Я смутно помнила, что Аркадий перестукивался с соседями по трубе. Рядом с моим столиком проходила труба отопления. Я приложила к ней ухо и уже совершенно отчетливо услыхала обрывки разговоров. Они шли и снизу, и сверху. Я вздохнула с облегчением. Значит мне не чудится, а просто по трубам идет оживленная болтовня.

На следующий день, на прогулке, меня посвятили во все обычаи и порядки тюрьмы. По неписанной конституции женского отделения Предварилки, по вечерам, перед тем как тушился свет, между 8 и 9 часами, можно было разговаривать с верхней и с нижней соседкой, пользуясь акустикой не плотно проложен-

ных труб. В остальные часы такой способ разговоров не разрешался, зато бывали слышны легкие, ритмические постукивания. Это специалистки вели длинные беседы по особому тюремному телеграфу, которому я так и не научилась. Надеюсь, что теперь и случая научиться не будет. Хотя кто знает?

В тюрьме, как в больнице, быстро втягиваешься в общий склад жизни. В ее однообразии есть властность. Тело, мысли, чувства невольно приспособляются к чужому, неуклонному расписанию. Это необходимо для внутреннего равновесия, а инстинкт самосохранения, с первых же дней, в особенности с первых ночей, подсказывает, что надо держать себя в руках. Предварилка моего времени была гуманной тюрьмой. Оно и не могло быть иначе, т. к. министерство юстиции, в ведении которой она находилась, было учреждением просвещенным. В провинции, вдали от центральной власти, тюрьмы могли быть хуже. Но тюрьмы петербургские были куда человечнее европейских тюрем того времени, как английских так и французских. Это мне не раз подтверждал Вл. Бурцев. У него в этом отношении был интернациональный опыт.

Но тюрьма есть тюрьма. Ни один нормальный человек не может оставаться равнодушен, когда его сажают под замок. Запертая дверь, щелкание ключей, физическое ощущение сжимающих тебя стен, сознание своего бессилия, беспомощности—все это препротивно. Поддаваться этому настроению нельзя. Один из способов его преодолевать—это сразу составить себе строгое расписание занятий, так, чтобы не оставалось пустых мест. Русские интеллигенты, частенько попадавшие в тюрьму, это хорошо понимали. Сидя в тюрьме, они изучали математику, астрономию, историю, а в особенности налегали на языки. Часто в тюрьме писали статьи, книги. В шестидесятых годах Чернышевский в крепости написал «Что делать». В 90-х

Милюков часть своих «Очерков Русской Истории» написал в тюрьме. Книги и материалы разрешалось получать с воли. В Предварилке была своя недурная библиотека русских и иностранных книг. Она составилась из книг, которые приносили для заключенных их родные, или друзья. Приносить их разрешалось, но уносить, брать обратно, было запрещено, т. к. заключенные могли делать в книгах пометки, нарушавшие интересы следствия.

Я в библиотеке нашла книгу Карлейля о героях и по ней начала учиться английскому, хотя стиль у него трудный, заковыристый. В английском мне помогала моя школьная подруга Вера Гернгросс, рожденная Черткова. Ее муж командовал Конногвардейским полком. Это не мешало его жене приезжать ко мне в тюрьму на свидание каждую неделю. Она привозила английский учебник и давала мне урок, что занимало не только нас обеих, но и присутствующего при свидании жандармского ротмистра. Он с особым почтением встречал и провожал жену важного гвардейского генерала.

Главной моей посетительницей была мама. Как только она узнала о моем аресте, она приехала из Вергежи и поселилась у меня, чтобы дети не были одни, чтобы не прерывалась их школьная жизнь. Опять ей, бедной, пришлось ездить на Шпалерную, возить мне передачи, заботиться о дочке—арестантке, как за 20 лет перед тем заботилась она о сыне-арестанте. Но теперь не было основания так горько волноваться, как волновалась она за Аркадия. Мне ничего страшного не грозило. Все-таки материнское сердце болело за меня, за внуков. Чуяло, что надвинулся на мою жизнь перелом. Какой? Угадать было трудно.

Внутри тюрьмы у меня складывались свои отношения. Мое появление вызвало среди заключенных некоторую сенсацию. Виновата была все та же бар-

хатная ротонда с чужого плеча. На жандармов она ожидаемого впечатления не произвела, а в тюрьме произвела. Когда меня вели через тюремный двор, в верхних этажах нашлись гибкие арестантки, которые, от нечего делать, висели на решётках, наблюдали, что на свете происходит. Они увидали, что привезли новенькую, нарядную-пренарядную, в знатной шубке, в огромной шляпе. Вечером известие полетело из камеры в камеру. Стали соображать, что это за птица? Особенно заинтересовалась мною Е. И. Репьева, близкий друг Кусковой и член Союза Освобождения. Не могу вспомнить, за что ее арестовали, но она уже сидела в Предварилке, когда меня туда привезли, и почти одновременно со мной вышла. Мы не были раньше знакомы. Организация ее предупредила, что Тыркова арестована с транспортом «Освобождения». Она ждала меня и тревожилась, что барыня в большой шляпе растеряется в тюрьме, начнет, пожалуй, закатывать истерики, или болтать, что не следует. Наш разговор на прогулке ее, видимо, успокоил.

Разговаривать на прогулке было очень удобно. Считалось, что мы, одиночные заключенные, строго друг от друга отделены. Каждую из нас для прогулки вводили в отдельную загородку, по которой нам ежедневно полагалось разгуливать, насколько помню, четверть часа. Эти загородки сходились радиусами к центру, где была вышка. На вышке сидела надзирательница. Чтобы уследить за расширяющимися стойлами, по которым гуляли ее пансионерки, ей надо было вертеться во все стороны. Пока она смотрит направо, слева между соседками происходит быстрый обмен тюремными новостями. Перегородки были деревянные, плохо сколоченные. Сквозь них можно было и поговорить, и переглянуться. Так познакомилась я с Репьевой и с другой, несравненно более примечательной арестанткой, с Зинаидой Коноплянниковой.

Мне понравилось ее молодое, круглое, чисто русское лицо, ее серые, большие глаза, решительный, пристальный взгляд. Она мне сказала, что она сельская учительница, арестована за пропаганду среди крестьян. Но у жандармов нет улик. Они даже не добрались до того, что она эсерка. Эта арестантка, как и все мы, чувствовала себя военнопленной, но не побежденной. От отрывистых бесед с ней на меня веяло конспирацией, подпольщиной. Коноплянникова была полна бунта, напора, но была в ней и большая мягкость. Она нежно любила свою мать. У нее голос менялся, когда она о ней говорила. Мать была простая, малограмотная крестьянка. На свидания с Зинаидой приходила сестра, служившая в библиотеке. Сестры скрывали от матери, что Зинаида арестована, посылали ей хитрые письма, чтобы она не догадалась, что дочь в тюрьме.

Любуясь сквозь щели перегородки красивыми глазами Коноплянниковой, я, как при встречах с Каляевым, не думала, что на меня смотрят глаза убийцы. Два года спустя Зинаида Коноплянникова, по поручению того же боевого комитета с.-р партии, где верховодил провокатор Азеф, застрелила генерала Мина, командира Семеновского полка. Он подавил в декабре 1905 г. московское вооруженное восстание. За это социалисты-революционеры решили его убить. Убийство было поручено Зинаиде Коноплянниковой. Ее арестовали на месте преступления, судили военным судом и повесили. Так узнала мать о революционной деятельности своей дочери.

Познакомилась я еще с другой арестанткой, с семнадцатилетней Розочкой. Ее камера была над моей головой, в следующем этаже. Я становилась на стол, она ложилась на пол и так мы по трубе разговаривали. Знакомство наше было не совсем заглазное. Раз я увидала ее в коридоре, когда нас обеих вели на сви-

дание. Я успела полюбоваться ее прехорошенькой еврейской головкой. Вечером, в часы полуразрешенных разговоров, она рассказывала мне об их жизни в черте оседлости, в маленьком городке. Она тоже любила говорить о своей матери, но иначе чем Коноплянникова, с печальной, еврейской страстностью. Она была совсем отрезана от своих, даже писать домой не могла, потому что мать по-русски не понимала, а писать на жаргоне, да и вообще на каком бы то ни было языке, кроме русского, не разрешалось. Это очень тяготило бедную девочку, но она утешалась мыслью, что скоро придет на свидание какая-то родственница и привезет вести из дому.

Родственница действительно пришла, но свидание кончилось скандалом, на который отозвалось все женское отделение.

Розочка была членом Бунда, еврейской социал-демократической партии. Она была девушка очень неразвитая, боязливая и вряд ли представляла опасного врага для русского государства. Но жандармы откровенно не любили евреев и к моей хорошенькой бундистке относились, как к серьезной преступнице. А тут еще она, ради любви к матери, преодолевая робость, на свидании сунула родственнице записку к матери, писанную на жаргоне. Жандарм бумажку перехватил. Свидание было прервано. Посетительнице он задал жестокий нагоняй, но ее не арестовал, а отпустил домой. На Розочку он накричал и заявил, что впредь лишает ее свиданий.

Она вернулась в камеру, обливаясь слезами и напуганная до полусмерти.

К вечеру все женское отделение знало, что Розочку жестоко обидел жандарм. По трубам побежали взволнованные голоса. Настроение было единодушное — протестовать. Решили на следующий день под-

нять шум и шуметь, пока не вернут Розочке право свиданий.

— Если они этого не сделают, объявим голодовку.

На следующий день, в назначенный час, поднялся шум. Стучали в двери, громыхали чайниками, кричали, подвизгивали, вообще устроили кавардак. Надзирательницы бегали, уговаривали, ходили по камерам. Ничего не помогало. Шум усиливался. Высокие коридоры, проходившие через все этажи, давали такую акустику, что малейший звук разносился по всему зданию. А тут десятки женщин вопят, стучат, визжат. Голоса звучали истерически, напоминая мне ночь в Литовском Замке.

Я позвонила. Через несколько минут в квадратном окошке показалось лицо надзирательницы.

— Вы-то зачем звоните? Разве не понимаете, что мы сбились с ног? Они просто с ума сошли.

— Да ведь не все же шумят?

— Почти все. Только вы, да еще две, три заключенные не безобразничают.

Я вызвала ее не для того, чтобы обсуждать поведение протестанток. Я еще накануне, на прогулке, сказала, что шуметь не буду, что это глупо, бесцельно, а неприятности могут быть большие. Тюрьма есть тюрьма и никакое правителство не позволит тайком, на свидании, передавать записки. Мне резко ответили, что во мне нет духа солидарности. Я, конечно, осталась при своем и шуметь не стала. Это облегчало мне разговор с надзирательницей.

— Послушайте, это надо прекратить и как можно скорее. Иначе они объявят голодовку и вам будет еще больше возни.

— А что же делать? Мы с ними не можем справиться. Они ничего слышать не хотят.

— Скажите начальнику тюрьмы, что я прошу его прийти ко мне.

Начальник тюрьмы в своих владениях птица важна. Надзирательница ближе придвинулась к железному окошку, внимательно взглянула на меня, взвешивая, стоит ли беспокоить его для разговора со мной? У меня с надзирательницами установились хорошие отношения. По вечерам они любили через это самое окошечко болтать со мной. Им нравилось, что я писательница, нравилось рассказывать мне свою жизнь. Одна из них сентиментально поясняла:

— Как вы книжки пишете, уж опишите и меня. Чего я только не пережила.

На самом деле она решительно ничего не пережила и описывать было нечего, но ей так хотелось попасть в книжку, что мне приходилось терпеливо выслушивать длинные истории про ее отца, почтмейстера, про их тягучую жизнь в маленьком уездном городке, где раз, в почтовой конторе ей пришлось десять минут разговаривать с молодым, черноусым предводителем дворянства. Вот и весь роман. Но она мне его несколько раз рассказала, все стараясь выскрести из своего прошлого хоть что-нибудь яркое, красочное, не будничное. И за то, что я ее терпеливо слушала, она считала меня своим другом. Я ее искренне жалела, как часто жалею тех, чья жизнь затянута серой рутиной скуки и ничтожных переживаний.

Но при всей моей дружбе с надзирательницей, не знаю посмела ли бы она побеспокоить начальника, если бы по коридорам не прокатилась усиленная волна визга и воя. Она зажала уши руками и быстро сказала:

— Хорошо. Я ему доложу.

Окошечко захлопнулось. Я опять осталась одна. Если в тюрьме тишина порой томит, как бремя, то резкий шум уже не томит, а палкой бьет по нервам. Особенно, когда не уверен, чем же это все кончится? Я

была рада, когда загремел замок и на пороге показался человек в форме.

— Вы меня звали?

Вопрос звучал официально, но в глазах было любопытство, скорее приветливое. Меня это подбодрило. Я не очень твердо знала, что ему сказать, что предложить?

— Да. Я просила вас прийти, чтобы как-нибудь прекратить это...

Он еще внимательнее взглянул на меня.

— Мне доложили, что вы их отговаривали?

Откуда они это узнали? Верно надзирательница на прогулке подслушала. Я ответила уклончиво:

— Во всяком случае я не кричу и не стучу и этот шум мне надоел. Тем более, что они грозят от шума перейти к голодовке.

Он покачал головой:

— Знаю, знаю... Пренеприятная история... — и вдруг спросил: — Скажите пожалуйста, вы родственница тому Тыркову, который лет 20 тому назад здесь сидел?

— Это мой брат.

Лицо начальника тюрьмы расплылось в улыбку, уже явно приветливую.

— Ну, вот, я так и думал. Сразу видно даму из хорошего семейства. Очень братец ваш был приятный молодой человек. Мы его все уважали. Если бы все такие благовоспитанные были, не трудно было бы тюрьмами управлять. А теперь что за публика пошла? Слышите? Разве можно себя так вести? Ведь меры не знают. Ваш братец никогда бы себя до этого не довел. Очень рад с его сестрицей познакомиться. Где же он теперь?

— Вернулся из Сибири. Живет у отца в имении.

— Ну, и слава Богу. Рад за него, да и за все се-

мейство. Вашу мамашу тоже хорошо помню. Авантажная дама, обходительная.

Я уже начинала чувствовать себя не арестанткой, а наследственной пансионеркой почетного отеля. Но все-таки надо же распутать положение.

— Вот видите, какие у вас хорошие воспоминания о всей моей семье. Быть может, и мне окажете доверие?

Начальник галантно поклонился:

— Что могу, сделаю.

— Разрешите мне и еще двум-трем не шумящим заключенным пройти по камерам. Мы попробуем их уговорить.

Он развел руками:

— Госпожа Тыркова, это совершенно против правил. Но, конечно, если их не удастся уговорить, придется прибегнуть к суровым мерам, посадить несколько человек в карцер. Я предпочел бы этого не делать. Признаюсь, терпеть не могу возиться с женским отделением, да еще и с политическими...

Он махнул рукой. Я с улыбкой ответила:

— Тем более позвольте мне с ними поговорить. Вспомните моего брата и поверьте в мой семейный такт.

Начальник ответил улыбкой на улыбку. Я поняла, что разрешение дано. И опять, как это было в Литовском Замке, мою просьбу поддержал вой, несшийся по коридору. Начальник отдал распоряжение надзирательнице, стоявшей за его спиной, еще раз поклонился и ушел. А я прежде всего прошла к моей хорошенькой бундистке, из-за которой встало на дыбы все женское отделение.

У Розочки лицо опухло от слез, голос охрип. Она была в истерике. Не сразу удалось мне ее убедить, что она первая обязана прекратить шум, так как, благодаря ее неосторожности, могут пострадать и другие,

ни в чем неповинные заключенные. Розочка была хорошая девочка. Когда она поняла, что за нее расплачиваются другие, она сразу затихла и поручила мне сообщить по камерам, что она просит прекратить манифестацию протеста. В некоторых камерах меня приняли очень недружелюбно, обвиняли в либеральном оппортунизме. Но большинству уже надоело вопить. Все облегченно вздохнули, когда опять наступила тишина, спасительная подробность тюремной жизни, монотонность которой многое затушевывает.

Для меня она нарушалась, кроме редких свиданий с мамой и с Верой Гернгросс, только допросами. Это маленькое развлечение приходило неожиданно. Дверь отворялась и раздавался приказ надзирательницы:

— Одевайтесь. На допрос.

Распоряжение звучало так весело, точно приглашение на бал.

Внизу меня ждали два жандармских солдата. Во дворе стояла извозчичья карета. Мы втроем в нее влезали. С железным гулом распахивались тюремные ворота и мы выкатывались на улицу. Приятно было смотреть на людей, дышать чистым, зимним воздухом, читать знакомые вывески. А вдруг и знакомое лицо увижу? Но так ни разу и не увидала, хотя карета катилась по улицам, где жили многие из тех, с кем я встречалась на литературных ужинах. Сначала ехали по Литейной, потом сворачивали к Таврическому саду. Жандармское управление помещалось за ним, на Тверской. Карета, лошади, кучер все точно от XVIII в. осталось. Двигались мы медленно. Раз на повороте распахнулись обе дверцы.

— Что же вы так плохо запираете. Не боитесь, что арестантка убежит? — сказала я.

— Помилуйте, какие же мы будем воины, если от нас барышня убежит...

Я прекратила разговор. Это был единственный

раз, когда я с ними заговорила. Жандармы держали себя очень корректно, но все-таки это были жандармы. С ними я была больше настороже, чем с волжскими грузчиками. Может быть, это было напрасно, но там, на ярославской пристани, я была свободным человеком, а теперь я пленница.

Когда меня в первый раз привезли на допрос и ввели в кабинет жандармского следователя, первое, что я увидала на его большом столе были злосчастные белые мешочки с длинными завязками, которые горничная в Белоостровской таможне вытащила из-под моих юбок. Меня рассмешили эти вещественные доказательства нашего преступления. В них было что-то ребяческое. Детская игра. Тут же лежала вытащенная из одного из мешков пачка «Освобождения», отпечатанного на щеголеватой, тонкой бумаге, чистенькие листки, еще не тронутые читательской рукой. Даже мы с Аничковым не заглянули в них, торопились на поезд, думали, что успеем прочесть в Петербурге. Вот и успели.

Офицера в кабинете еще не было. Жандармский унтер, стороживший меня, взял со стола один номер и начал его внимательно читать. Повидимому, ему что-то в журнале понравилось. Он усмехался, кивал головой, читал все внимательнее. Я тоже захотела взять номер. Тогда он сразу выпрямился и с неожиданной резкостью выхватил «Освобождение» из моих рук.

— Не полагается...

Так я и не узнала, что было в преступных листках, которые мы так неумело, так неудачно пытались провезти.

Жандармский офицер, после обычных вопросов о годе рождения, занятиях, происхождении, спросил:

— С каких пор вы принадлежите к тайному сообществу?

— Я ни к какому тайному сообществу не принадлежу.

— А это что? — Он с усмешкой показал на кипу «Освобождения». — Почему же вы взялись перевозить их газетку, если вы не принадлежите к их сообществу?

— Потому, что сочувствую их идеям.

По лицу, по усмешке следователя было ясно, что он мне не верит. Он порылся в папке, которая лежала перед ним на столе, достал из нее лист бумаги и через стол показал его мне:

— А это вы узнаете? Это ваш почерк?

На листе были наклеены тщательно подобранные обрывки решительной резолюции, которую мы с Аничковым сочиняли для литературного банкета. «В стране насилия, беззакония и произвола...» Еще бы не узнать... Мы целый вечер над ней провозились и все для того, чтобы клочки бумаги и клочки наших мыслей попали к жандармам. Сколько раз говорила я Иринье, чтобы она выбрасывала сор из моей корзинки. А теперь вот какая глупость вышла.

— Да. Это мой почерк.

— Не сообщите ли вы мне, к кому эти слова относятся? Тут дальше говорится — «довольно терпеть и молчать, пора действовать». Как действовать? Что весь этот документ означает?

— Не знаю, почему вы называете документом клочки бумаги, подобранные в сорной корзинке. Это просто набросок недописанной статьи.

— Которая предназначалась для этого журнальчика?

Жандарм показал на «Освобождение».

— Нет. Ни для какого журнала не предназначалось, вообще для печати не предназначалось.

— Значит так, проба пера, — с иронией сказал

жандармский следователь. — Или вы просто не успели послать ее в Штутгарт?

— Я в Штутгарт никогда ничего не посылала.

— Никогда?

— Никогда.

Я могла спокойно выдержать его пытливый взгляд. Я говорила правду. Не знаю, поверил ли он мне, но он перешел на другую тему:

— Если вы не принадлежите ни к какой организации, то зачем же вы очутились в Гельснигфорсе? Кто снабдил вас там преступной литературой? Кто вам это поручил?

Я пожала плечами. Он ждал ответа. Я молчала.

— Не с неба же на вас упали эти мешочки?

Мы оба посмотрели на мешки, скрученные длинными завязками, и оба усмехнулись. Я поскорее согнала улыбку. Хорошо иногда посмеяться над собой среди друзей, но быть смешной в глазах жандарма менее забавно. А ему хотелось продлить это удовольствие и в тоже время остаться вежливым, корректным.

— Раз вы так старательно прятали эту газетку, даже для этого обзавелись особыми приспособлениями, значит вам было известно, что вы везете преступную литературу, которую надо прятать. И все-таки согласились везти, рискуя арестом. Кто вас уговорил? Ваш спутник?

— Конечно, нет. Меня нечего было уговаривать.

— Послушайте, надо ли вам брать на себя ответственность? Ведь у вас двое детей.

Я опять замолчала. Опять мы обменялись взглядами. На этот раз в моих глазах он мог прочесть только сердитый отпор. Он сразу понял, что таких подходов лучше не пробовать. Допрос скоро кончился.

Их было не много. Что было особенно допрашивать, когда мы были взяты с поличным. До консци-

ративного Союза Освобождения добраться через нас не было надежды. Я просидела в Предварилке около трех месяцев. Перед Рождеством следствие было закончено. Вера Гернгросс внесла за меня 1000 руб. залога и меня в ожидании суда выпустили.

В темный декабрьский вечер, с маленьким чемоданчиком в руках, вышла я из тюрьмы на Шпалерную. Тяжелые железные ворота с грохотом открылись и опять захлопнулись. Но теперь я была с другой стороны, с вольной. Детей мама уже увезла на Рождественские каникулы на Вергежу. Мы сговорились с Верой Гернгросс, что прямо из тюрьмы я приеду к ним обедать. Весело было на извозчичьих санках скользить через весь город на Конногвардейский бульвар. Такое радостное детское ощущение простора, свободы, чего-то светлого, необычного. Его нарушало тягостное сознание, что мой товарищ по контрабанде остался в тюрьме. Несмотря на все старание его матери, от нее залога не приняли. Может быть, считали приват-доцента более крупной рыбой и зачинщиком нашей поездки. А может быть, видное положение генерала Гернгросса помогло его жене выхлопотать для меня временное, до суда, освобождение. Е. А. Гернгросс был командир Конного полка и считался одним из самых талантливых и образованных офицеров русской армии. Позже он дослужился до высокой, ответственной должности начальника Генерального Штаба. Но вне военных кругов его имя было мало кому известно, так как он умер до войны, а в мирное время мало интересовались военными. Это был человек выдающийся, разносторонне образованный и очень умный. Я никогда не встречала такого цельного, вдумчивого, искреннего монархиста, как он. Преданность царю и отечеству была содержанием, смыслом, красотой его жизни. Военным он стал по призванию. Его отец, богатый горный инженер, был против этой карьеры и

по его настоянию сын, после гимназии, поступил в университет, но ненадолго. Университет сменился Пажеским корпусом.

Очень характерна для тогдашнего времени та терпимость, с которой Гернгросс относился к дружбе своей жены со мной. Прямо из тюрьмы пришла я в их великолепную казенную квартиру на Конногвардейском бульваре. Хозяин принял меня со своей обычной изысканной приветливостью, смешанной с легкой иронией, которой светские люди умеют оградить себя от многого. Он слушал с любопытством мои рассказы о тюрьме, был доволен, что я похвалила порядок и благоустройство Предварилки, не притворялась гонимой жертвой. Правда, героического притворства он от меня и не ждал. Слишком хорошо меня знал.

Он подвел меня к оконной нише, выступающей на бульвар и, поддразнивая, сказал:

— У нас, в Конном полку, есть свои революционные воспоминания. Очень давние, от 14-го декабря 1825 г. Командир полка все утро тогда простоял у этого окна, ждал знака от Императора Николая I. Было приказано, если мятеж будет разгораться, вывести конную гвардию против бунтовщиков. Этого делать не пришлось. Государь сам справился. Но если понадобится, наш полк и сегодня сумеет усмирить бунтовщиков.

Вера сквозь лорнет рассматривала своими близорукими глазами нас обоих, взвешивала, на что это было бы похоже, если б ее муж и ее близкая школьная подруга очутятся на улице как противники в двух противоположных лагерях. Я поняла ее мысли и сказала Евгению Александровичу:

— Ну что вы меня пугаете? Надеюсь до уличных боев не дойдет. Ведь XX-й век.

Он пристально посмотрел на меня. На этот раз в его светлых серых глазах светилось что-то гораздо

более острое, чем светская ирония. Он переменил разговор.

Вспоминая почти полвека спустя этот разговор, я с удивлением думаю, что, несмотря на резкую противоположность наших взглядов и настроений, у этого монархиста не было ни малейшей личной враждебности к подруге жены, которая совершила преступление против существующего строя, сидела в тюрьме, должна была судиться за связь с газетой, неустанно штурмовавшей самодержавие. У него были свои убеждения, твердые, отчетливые, обдуманные, совершенно противоположные моим, но я никакого холодка не почувствовала. В нем была терпимость, которая помогла ему оставаться безукоризненно внимательным хозяином.

После тюрьмы я откровенно наслаждалась нарядностью, чистотой, красотой, их квартиры. Даже едой, вкусной и горячей.

— Вы не можете себе представить, какое это удовольствие сидеть за столом, накрытым белой скатертью, есть чистой вилкой с чистой тарелки. И тарелка с знакомым золотым вензелем. И мне не надо будет ее мыть. Просто рай земной.

Они смеялись, но им обоим, как хозяевам, это было приятно. Мы перешли в гостиную. Лакеи внесли серебряный поднос, с хорошенькими прозрачными чашечками, старинный серебряный кофейник, ликеры и исчезли. Можно было свободно разговаривать. Вера сразу сказала мне:

— Теперь я скажу тебе очень печальную новость. Но ты обещай никому не говорить.

Я, конечно, обещала и с тревогой ждала, что она скажет.

— В январе будет война.

Я посмотрела на нее с удивлением. Не то что не поверила, а не могла взять в толк, о чем она говорит?

— Как война? С кем? Зачем?

— Война с Японией.

Я слышала не мало разговоров о политике, нашей и иностранной. Вокруг меня уже закипали волны политических страстей. Меня даже могли считать пострадавшей за мои политические взгляды. Сама я себя такой мученицей не считала. Просто втяпались по неосторожности. Это случайность. Но все, что происходило за последние годы вокруг меня, что я слушала, отчасти и сама говорила, создавало иллюзию причастности, если не к политике, то к общественной жизни, к чему-то подвижному, живому. Но я, как и большинство кругом меня, так плохо разбиралась в государственной жизни России, во всем ее сложном бытии, что эти слова — война с Японией, — меня не взволновали. Мы забыли, что такое война. Я была ребенком, когда русская армия сражалась на Балканах за освобождение славян. С тех пор прошло четверть века. Россия, как и вся Европа, мирно развивалась и богатела. Самая возможность войны казалась призрачной. Слова Веры скользнули и ничего во мне не задели. Несколько недель спустя японцы, без объявления войны, напали на Порт-Артур. Этого события оппозиция не сумела осмыслить и с прежней недоброжелательностью следила за действиями правительства.

Я уехала на Вергежу, провела там Рождество, потом вернулась в Петербург и попала в очень трудную полосу. Всякие беды обрушились на меня: безработица, безденежье, болезнь. У меня сделалось тяжелое воспаление сустава, к счастью, на левой, а не на правой руке. Боли были нестерпимые. Пришлось лечь в больницу, почти на месяц. Я на себе испытала, как отлично поставлены наши больницы, какой в них внимательный уход, как врачи следят за каждым больным, какие высокие профессиональные требования ставят себе русские доктора. Правда, я лежала в

образцовой Еленинской клинике. Но это не было исключение. В отсталой России, с ее неграмотным населением, полным предвзятого недоверия к ученым лекарям, наши врачи сумели поставить народную медицину на очень высокую ступень, во многом опережая Европу.

Но и при хорошем уходе болеть было не сладко. Болезнь была и мучительная и затяжная. Она усилила сумятицу в моей жизни. Опять маме пришлось приехать из Вергежи, заботиться о детях и обо мне. А надо мной висел суд. Судебная Палата, по просьбе моего адвоката, согласилась его отсрочить по болезни. Это было необходимо, но для меня крайне неприятно, так как Аничкову, который продолжал сидеть в Предварилке, было бы выгоднее, чтобы нас скорее судили. Какой будет приговор, было трудно угадать, но почему-то все ждали, что мы отделаемся пустяками, может быть, просто зачтут предварительное заключение. Тем более хотелось, чтобы суд поскорее состоялся. Я поспешила выйти из клиники, хотя рука еще была в лубке и очень болела.

Пришлось моей верной Иринье со мной повозиться. Во время моего ареста она проявила не только верность, но и сообразительность. Когда моему адвокату дали возможность познакомиться с ходом следствия, он увидал, что эта неграмотная женщина не только воздержалась от всегда опасной болтовни, но сумела с лукавым простодушием изобразить свою барыню, как великую скромницу, полную всех домашних добродетелей. Она так была ко мне привязана, что когда я неожиданно для нее вернулась из тюрьмы, она от радости грохнулась в обморок, что при ее росте произвело на присутствующих не малое впечатление.

Выйдя из больницы, я заявила судебным властям, которым жандармы передали наше дело, что я на-

столько поправилась, что могу явиться в суд. На самом деле я еще была беспомощным, одноруким инвалидом. Боли были такие, что когда портниха, примеряя платье, в котором я должна была явиться в суд, дотронулась до больной руки, я закричала, как подстреленная, и нам обеим чуть не сделалось дурно, мне от боли, портнихе от перепуга. Платье пришлось сшить, потому что на перебинтованную руку я ничего не могла надеть. Кроме того, Е. Д. Кускова опять внушала мне, что надо произвести впечатление на судей. Все еще продолжалась игра в даму. Кускова глядела на меня в упор своими красивыми, властными глазами и убеждала, что хорошее платье хорошо подействует на сословных представителей, которые будут нас судить. Я не спорила. Мне вообще было не до споров. Благодаря болезни голова у меня была еще смутная. Все же я не понимала, каким образом мое новое платье может повлиять на решение судей? Оно и не повлияло, но некоторое впечатление произвело. Расчет Кусковой отчасти оправдался, хотя она и ее товарищи так же смутно понимали противника, как он не понимал их. И в оппозиции, и в правительстве были хорошие люди, желавшие служить России и русскому народу. Но друг друга они не понимали и не хотели понимать.

Я в первый раз это почувствовала, когда нас судили. Обстановка была внушительная. Большая палата, высокий потолок, высокие окна, через которые светило уже обещающее весну солнце. За длинным, покрытым зеленым сукном столом сидели люди в мундирах. У некоторых была на шее длинная цепь, судейская или сословная. Меня и Аничкова посадили слева от председателя на деревянную скамью, огороженную деревянной же решёткой. Сторожили нас уже не жандармы, а солдаты с винтовками. Наша скамья была выше мест для публики, почти пустых.

Нас судили при закрытых дверях, но родственникам было разрешено присутствовать. Из моей семьи присутствовал только Аркадий. Мой политический процесс обострил его воспоминания о собственных мытарствах. И за меня он волновался.

А я не волновалась. Моя обычная впечатлительность еще ко мне не вернулась. Во мне оставалась пассивность больного человека. Я с ней не боролась, да и не было в этом нужды. Союз Освобождения нашел для меня защитника, бойкого, живого московского присяжного поверенного М. О. Мандельштама. Он и его помощник Барт, совсем еще молодой человек, сын известного революционера Германа Лопатина, предупредили меня, что они построят защиту на том, что мы преступления не успели совершить, не успели распространить транспорт .«Освобождения». Нельзя карать за подготовку, за намерение. Мне казалось, что так будет очень убедительно, очень хорошо. Во всяком случае это дело защитников. Они все за меня обдумали, я так, только вроде зрительницы.

Никакого чувства виноватости у меня, конечно, не было. Если бы мне снова предложили перевозить запретную либеральную литературу, я снова поехала бы за ней. Во второй раз, вероятно, с большим успехом. Что России необходима политическая свобода, в этом я была тогда так же твердо уверена, как и сейчас. Никакого смущения перед судьями я не испытывала. Напротив, они должны быть смущены, им должно быть неловко судить приват доцента и писательницу, за то, что они добиваются свободы мысли и слова. Мы были не террористы. Журнал, который мы перевозили, добивался конституционной реформы, он не призывал к разрушительному перевороту, не проповедывал насилия. У нас, подсудимых, было больше уверенности в нашей правоте, чем у судей.

Следствие производили жандармы. Они же могли

вынести нам приговор, если бы власти решили нас покарать в административном порядке. Но нашему делу придали больше значения, чем оно, казалось, заслуживало. Хотели в нашем лице припугнуть либералов, а на самом деле устроили освобожденцам политическую рекламу. В первый раз в руки Охранки попали сообщники Союза Освобождения. Его еженедельник читался по всей России, и это все больше и больше беспокоило правительство.

Процедура суда шла с обычной торжественностью. Ни я, ни Аничков виновными себя не признали, хотя мы не отрицали, что везли запрещенное издание. Прокурор требовал сурового наказания. Это был Камышанский, обычный обвинитель на политических процессах. Говорить он умел. Я не без любопытства слушала, как он изображал нас, как опасных потрясателей государственных основ. После него Мандельштам сказал хорошую речь. Вслед за ним заговорил Карабчевский, считавшийся выдающимся оратором. Он и Мандельштам не сговорились между собой как поставить защиту, хотя их клиенты преступление совершили сообща. Карабчевский, ловкий, но легкомысленный говорун заговорил с сословными представителями, как привык говорить с присяжными, начал взывать к их состраданию. Он точно забыл, что перед ним Судебная Палата, где председатель и прокурор были опытными чиновниками министерства юстиции, что сословные представители, за исключением, может быть, мещанского старосты, были люди с высшим образованием. Им надо было приводить юридические доводы, а не взывать к их чувствам. Но Карабчевский, с дрожью в голосе, просил у них для нас милости.

Я сразу встрепенулась. Я совсем не хотела, чтобы эти люди в мундирах меня жалели. Я сама готова их пожалеть. Карабчевский, заканчивая речь с выразительными актерскими интонациями, уговаривал судей

видеть в нас просто контрабандистов, которые переносят через границу тюки с товаром, не зная, что они тащут.

Это уже было слишком. На это надо ответить. Вероятно, мое возмущение отразилось на моем лице. Аничков, который сидел рядом со мной, но разговаривать со мной не имел права, с любопытством на меня покосился.

Карабчевский кончил. Председатель обратился ко мне с обычным вопросом:

— Подсудимая, желаете вы воспользоваться последним словом?

Я вскочила:

— Желаю.

Мандельштам резко повернул ко мне свою крупную, кудластую голову и с удивлением, с опасением смотрел на меня. Накануне я сказала ему, что никогда публично не говорила и целиком предоставляю ему защиту. Он знал, что речи я не готовила. В его быстрых, умных глазах забегали огоньки. Ему стало любопытно, что же из этого выйдет?

Речь я сказала короткую, немудренную. Я сказала, что очень прошу не считать меня контрабандисткой, которая не знает, что переносит. Я отлично знала, что мне поручено перевезти запрещенный либеральный журнал. Я на это совершенно сознательно согласилась. Как писательница, я остро чувствую, как нам нужна свобода и прежде всего свобода слова. Мы стеснены в выражении наших мыслей, цензура зажимает нам рот. России нужна свобода, нужна к о н с т и т у ц и я...

Председатель встал и поспешно меня остановил:

— Это дела не касается. Лишаю вас слова.

Он меня выручил. Мое красноречие уже было исчерпано. Я договорилась до заветного слова, но дальше не знала, что сказать. Мандельштам вполголоса

насмешливо поздравил меня с первой политической речью. Карабчевский поздравлять не стал, только тоже насмешливо пожал плечами. Дескать, чего эта барыня путает мою игру? Вряд ли ему было приятно и то, что его клиент, Аничков, меня поддержал, подтвердил, что мы перевозили конституционный журнал, которому сочувствуем, а не тюки с неведомым товаром. Настал-таки час, когда мы с ним вслух произнесли магическое слово — конституция. Но перед какой неблагодарной, неотзывчивой, малочисленной аудиторией.

После очень недолгого совещания судьи вынесли суровый приговор — два с половиной года тюремного заключения с лишением некоторых прав состояния и работами. По правде сказать, мы этого не ожидали. Мандельштам сейчас же подал прошение, чтобы мне, в виду моей болезни, позволили еще на некоторое время вернуться домой. Судьи опять ушли на совещание. На этот раз я ждала их решения с беспокойством. Я была еще настолько больна, что мне трудно было бы выдержать длительное тюремное заключение. Но моя подвязанная рука, мое исхудалое, усталое лицо, казавшееся еще бледнее от черного платья, стоили всякого медицинского свидетельства. Судьи вернулись. Председатель объявил, что меня пока оставляют на свободе, под залог. Я могу итти домой. Соучастника моего преступления сразу увели обратно в Предварилку, чтобы оттуда переправить его в Кресты, где сидели уже не подследственные, а отбывающие наказание. Я попрощалась с ним с чувством виноватости. Но я была уверена, что скоро и я опять буду под замком.

Вышло иначе. Союз Освобождения предложил переправить меня заграницу. Не легко мне было на это решиться. Тяжело было оставлять детей. Тяжело было отрываться от России, становиться эмигранткой.

Но кругом меня росла уверенность, что близится час великих освободительных перемен. Даже на литературном банкете, где я успела побывать, речи звучали смелее, свободнее. Как будто приоткрывались какие-то двери. Но в себе я сил для деятельности не чувствовала. Я инвалид. Тюрьмы мне не выдержать. Приходится бежать. Выбора нет.

Все устроила та же неутомимая Е. Д. Кускова. Она пришла ко мне сказать, что через неделю все будет готово. Я не знала, на сколько дней меня оставили на свободе. Надо было обеспечить себе хоть дней десять. Я пошла к Максимовичу, председателю суда. То, как он меня принял, напомнило мне мой разговор с вице-губернатором в Ярославле. Только председатель суда был со мной любезнее, хотя к нему пришла осужденная преступница. Болтливый Мандельштам рассказал мне, что Максимович был удивлен моим дамским видом и сказал, что первый раз видит элегантную революционерку, что это знамение времени, что крамолой занялись не только стриженые нигилистки, но и барыни. Не пропали даром наши туалетные хлопоты. Как только я опустилась в кресло в его кабинете, я это почувствовала. Я спросила, сколько времени они мне дадут на лечение? Максимович ответил мягко, почти ласково:

— Послушайте, г-жа Тыркова, у вас дети, вы больны. Все это для ваших родителей очень тяжело. Почему бы вам не подать прошение на Высочайшее имя? Я убежден, что оно будет принято милостиво и наказание будет сильно смягчено. Может быть, вам просто зачтут сидение в Доме Предварительного Заключения. И вы будете свободны.

Он испытующе смотрел на меня. Он видел, что я действительно больна, и думал, что я сдамся. А может быть, он действительно пожалел меня, хотел найти для меня легчайший выход? Но тоже, приду-

мал! Как могу я просить милости у царя, когда мы только и мечтаем, чтобы ограничить его права, превратить его из самодержавного властителя в конституционного монарха? Ни за что. Но надо выиграть время. Я помолчала, точно взвешивая его слова. Молчал и он, все также не сводя с меня глаз.

— На Высочайшее имя... Вы ведь знаете, господин председатель, что это для нас значит? Мы это неохотно делаем.

Он мог бы спросить меня, кто это мы? Ведь я заявила, что ни к какой партии не принадлежу. Но в эту минуту председатель Судебной Палаты не притворялся, как притворялась я. Он не стал оспаривать этого подразделения на мы и вы, но продолжал настаивать, что я, ради семьи, должна подать прошение о смягчении приговора.

— Но ведь от меня потребуют какого-нибудь отречения? Я заявила в суде, и вам повторяю, что от своего поступка я не отрекаюсь. Я хочу конституции.

— Никакого отречения от вас не потребуют. Просто напишите, что у вас дети и что вы больны. Этого достаточно. Никто не будет вас спрашивать про конституцию, хотите вы ее, или нет.

Я твердо знала, что никакого прошения не подам. Но я также твердо решила перехитрить моего судью. На войне допускаются военные хитрости. А мы находимся в состоянии войны с самодержавием.

— Право не знаю... Это очень трудно... Сложно...

— Ну хорошо, подумайте. Я вас не тороплю.

— Можно дать ответ на будущей неделе?

— Пожалуйста.

Я встала. Он тоже встал, проводил меня до дверей, прощаясь подал руку:

— Значит до будущей недели.

— Да.

Я редко кого-нибудь умышленно обманывала.

Когда это случалось, мне это бывало очень неприятно. А вот из кабинета председателя я ушла без всякого угрызения совести. Я была довольна своей военной хитростью. Была ли я права, кто знает, но благодаря эмиграции, я познакомилась со своим вторым мужем. Это было важнейшее событие в моей долгой жизни. Я и сейчас не раскаиваюсь, что обманула Максимовича.

Перед отъездом заграницу я простилась только с мамой и с сестрами. Мама тоже считала, что я слишком слаба, тюрьму не выдержу. Она очень одобрила мой план бежать заграницу. Подходила Пасха. Детей она вскоре должна была увезти на Вергежу.

— Ты там заграницей хорошенько полечись, устраивайся, потом мы и детей к тебе переправим. Главное не тревожься и поправляйся. Кто знает, может быть, скоро все переменится.

Она улыбалась своей твердой, светлой улыбкой, но я знала, что ей так же тяжело отправлять меня, как мне тяжело уезжать.

Кускова привезла мне деньги и сказала, что через день надо отправляться. Наш общий знакомый В. В. Хижняков встретил меня на Сестрорецком вокзале. Что дальше делать, он знал. У меня был еще такой хворый вид, что Кускова озабоченно спросила:

— Вам придется пройти пешком около трех верст. Хватит у вас сил?

Я и сама не знала, хватит ли. Знала только, что сил у меня очень мало и что иногда я с трудом держусь на ногах. Но я решила бежать. Значит надо взять себя в руки.

— Хватит.

— Ну, поцелуемтесь на прощанье.

Мы обнялись. Между нами особой дружбы не было. Помню, промелькнула насмешливая мысль — партийный поцелуй. И тут же я себя поправила. Нет, я

ни в какое содружество, ни в какую партию не записана. Так, сама по себе.

Вдруг Кускова вспомнила:

— Да, чуть не забыла. Дмитрий Иванович прислал вам поклон. Он все знает и очень одобряет ваш отъезд. Просил вам передать, что это ненадолго.

Как я обрадовалась его привету. Теплом пахнуло из милого Ярославля. Пусть я никуда не вписана, но я не одна. По чувству братья мы с тобой... Кускова ушла. А мне вспомнилось, как в этом же маленьком моем кабинете я в последний раз разговаривала с Шаховским. Это было сразу после того, как меня выпустили из тюрьмы. На следующее утро я должна была уехать к детям на Вергежу. И вдруг утром неожиданно влетел Шаховской с маленьким чемоданчиком в руках. Я страшно ему обрадовалась. Да и он, хотя прикрывался обычными своими шуточками, был счастлив, что я на свободе.

— Ну, что — Nous serons pendus? Как это вы всё умно устроили, точно нарочно, чтобы попасть в руки жандармов. Им, небось, за вас к Рождеству награду дадут...

Потом, меняя тон, он прибавил:

— Можно у вас чемоданчик оставить? Я сегодня вечером еду обратно в Москву.

— Конечно, можно. Но что же это вы на один день прикатили? Зачем?

— По приказу начальства.

— С каких пор над вами завелось начальство?

— Над нами всеми есть начальство. Разве вы этого в Предварилке не поняли? Меня вызвал ни больше, ни меньше как министр внутренних дел, Плеве. Да еще телеграммой. Я в одиннадцать часов должен к нему явиться.

Он ушел и вернулся к завтраку. Опять не вошел, а влетел в мой кабинет, но на этот раз в нем не было

и тени радостной шутливости. Он был в бешенстве. Я никогда не видала Шаховского, охваченного таким негодованием. Он запер за собой дверь, точно за ним кто-то гнался, и в упор, глядя на меня ясными сияющими глазами, отрывисто сказал:

— Плеве надо убить.

Мне стало жутко. Слово убить совсем не вязалось с обликом этого подлинного человеколюбца, этого бывшего толстовца. Что произошло между ним и министром, чтобы довести мягкого, тонкого, благовоспитанного Дмитрия Ивановича до такого исступленного выкрика? Что его так глубоко задело, так сильно оскорбило?

Плеве вызвал Шаховского, чтобы сказать ему, что власти внимательно следят за его деятельностью, находят ее злонамеренной, преступной. Если Шаховской не угомонится, с ним будет крутая расправа и никакие связи его не защитят. Все это было высказано грубо, резко, угрожающе, голосом, переходящим в крик.

— Я ни на кого и ни на что не посмотрю, — кричал министр, — я вас туда загоню, куда Макар телят гоняет... Я вас в бараний рог согну...

Он не дал возможности Шаховскому ответить. Перекричать его было трудно. Шаховского особенно возмутило, что Плеве хотел угрозами его запугать.

— Этакие дураки, воображают, что нас можно запугать. Они должны нас бояться, а не мы их. И такие люди смеют править Россией. Я вам говорю: Плеве пора убить.

Тяжко было его слушать. Мы провели с ним весь день вдвоем. Он несколько раз возвращался к Плеве, к его выкрикам и угрозам и опять повторял те же страшные слова:

— Плеве надо убить...

Ни он, ни я не подозревали, что в его негодую-

щем восклицании заключается — страшное пророчество, хотя лично Шаховской никакого отношения к терроризму не имел. Не прошло и года после безумного, бессмысленного разговора властного министра с выдающимся русским либералом, как Плеве был убит социалистами-революционерами. Когда мне пришлось бежать из Петербурга, волна революционного террора только вздымалась и мы еще легкомысленно надеялись, что свобода придет сама собой, почти без насилия и крови.

В день бегства я вышла утром из дому, как на прогулку, в костюме, без вещей. В руках у меня была только небольшая ручная сумочка. Паспорт и деньги были зашиты в юбку. На путешественницу я совсем не была похожа. Просто дама гуляет. На вокзале меня, как было условлено, встретил В. В. Хижняков. В Сестрорецке мы с ним вышли из поезда. Надо было пройти пешком до Финляндской границы, которая проходила по реке Сестре. Проще было бы сесть опять в поезд в Белоострове и катиться себе в Выборг. Но в Белоострове нас арестовали. Жандарм мог меня узнать. Мы прошли пешком мимо пограничной стражи. Солдаты гуляли взад и вперед с винтовками, но нами совсем не интересовались. День был мягкий, солнечный и нас не трудно было принять за гуляющих дачников. Мой спутник знал все тропинки. Он сделал большой крюк, чтобы обойти Белоостров. На следующей станции, в Куоккала, мы спокойно сели в поезд. За мной не было никакой слежки. Я чувствовала себя не беглянкой, а туристкой.

В Выборге все было приготовлено к моему приезду. Финны помогали Союзу Освобождения, как они помогали всем подпольным политическим организациям. На русских конспираторов они смотрели, как на соратников в борьбе с русским правительст-

вом. С тех пор как русская власть нарушила прежнюю либеральную политику по отношению к Финляндии, она создала себе под боком, около самой столицы, настоящее осиное гнездо. Из лояльных подданных Великого Князя Финляндского финны превратились в заядлых врагов русского Императора, да и Русской Империи. Маленькое княжество стало плацдармом для революционеров и заговорщиков всех толков. В Финляндии прятались, там готовили бомбы, запасались фальшивыми документами, устраивали совещания и съезды, не допускавшиеся в самой России. На финляндской границе не спрашивали заграничных паспортов, а переехав ее, мы уже уходили из ведения русской полиции. У полиции финской были свои инструкции, исходившие от финских властей. Благодаря всему этому Финляндия сыграла не малую роль в русской революции.

Меня финны и дальше в Европу переправили. У меня среди них не было знакомых, но у Хижнякова были. Он привел меня к одному из маленьких деревянных домиков, каких много было в Выборге. Нас встретила уже не очень молодая женщина полумужского вида, который тогда еще был в моде среди передовых женщин. Это была финка-революционерка, активистка, Фру Океccон. Она встретила меня очень приветливо. У нее уже были приготовлены все нужные бумаги. Мы с ней должны были в тот же вечер выехать в Стокгольм. Мой провожатый распрощался со мной. Я мало его знала, но мне было грустно, точно я снова прощалась с Петербургом. Выборг уже был чужбиной.

Вечером мы с Фру Океccон сели в поезд и отправились в Або. Никто нами не интересовался, не было никаких тревожных признаков. Среди ночи поезд подъехал к Або. Моя спутница начала волноваться. Это было самое опасное место. Перед нами темнели

слабо освещенные очертания парохода. У сходень стояли не только финские, но и русские жандармы, проверяющие заграничные паспорта. Я ехала с паспортом какой-то мужественной финки, которая не побоялась одолжить его незнакомой русской. Для нее это был большой риск. Стоило жандарму задать мне вопрос по-фински или по-шведски — и мы все трое, я, Фру Окессон и неизвестная финка, попали бы в скверную историю. Но разговор с жандармом вела не я, а моя спутница. Это казалось вполне естественным, т. к. она осторожно вела меня под руку, да и левая рука у меня была на перевязи. Везет больную и чтобы ее не тревожить, все за нее устраивает. Эта же подвязанная рука могла бы меня и подвести, если бы из Петербурга дали знать на пограничные станции, что я скрылась и что меня надо задержать. Но никто не обращал на нас внимания. Было темно. Жандарм около сходни взял из рук Фру Окессон наши паспорта, осветил их фонарем, мельком взглянул в документ — и все было кончено. Мы взошли на пароход. Кругом раздавалась непонятная шведская речь.

Я отчетливо, не весело подумала, точно черту какую-то провела:

— Ну вот, я и эмигрантка. Когда-то вернусь?

Глава шестая

ЭМИГРАЦИЯ

Из Стокгольма я обменялась телеграммами со Струве. К кому же мне было обратиться, как не к редактору журнала «Освобождение», из-за которого я стала эмигранткой. Струве звали меня к себе. Я совершенно не знала, что с собой делать, куда ткнуться и тем охотнее отозвалась на их приглашение. Отдохнув три дня в Стокгольме, я распрощалась с Фру

Океcсон и с ее финскими друзьями и уехала в Германию. Накануне моя спутница заставила меня купить самые необходимые вещи. У меня было только то, что было на мне надето и моя ручная сумочка. Моя внимательная спутница купила мне небольшой чемоданчик, белья, блузку, еще какие-то мелочи. Я, наполовину шутя, наполовину серьезно, корила ее:

— Эти несколько дней я была свободным человеком. Вы меня делаете собственницей и слугой моего чемодана.

Фру Океcсон была крайняя социалистка, по финской терминологии, активистка. Не мне первой оказывала она, с большим для себя риском, такую услугу. Она очень боялась Сибири, куда русская полиция наверное сослала бы ее за такие дела. Но, убежденная революционерка, она считала себя обязанной помогать русским заговорщикам, а к чудачествам своих товарищей по оружию относилась снисходительно. Она добросовестно и простодушно убеждала меня, что не подобает путешествовать без вещей, что в гостиницах на меня будут смотреть подозрительно и неохотно меня принимать. Я и сама понимала, что без белья и носовых платков не проживешь. А все-таки мне нравилось, что у меня ничего нет. Когда поезд покатился на юг, по красивой, благоустроенной Швеции, я мысленно повторяла стихи Брюсова:

Быть вольным, одиноким,
Идти своим путем, просторным и широким,
Без будущих и бывших дней...

Мне было грустно, что я оставила Россию и в то же время радость свободы кружила голову, которая и без того кружилась от слабости. Мысли плыли, как туман. Мое лицо, моя подвязанная рука выдавали мою болезнь. В поезде пассажиры оказывали мне всякие мелкие услуги, заботились обо мне. Не знаю, как

одолела бы я длинный путь через Европу без помощи этих чужих людей.

Струве жили не в самом Штутгарте, а в рабочем предместье, в Гайсбурге. Они нанимали незамысловатый, но уютный, просторный фермерский дом, где места хватало и для редакции «Освобождения», и для посетителей, и для четырех Струвенят, мал мала меньше. Старшему, Глебу (теперь профессор русской литературы в Калифорнии) было лет пять. При них была русская няня, Анна Николаевна. Она умела мягко, но твердо ставить границы детским фантазиям, да и родителям повадки не давала. Анна Николаевна была отличная женщина, еще молодая, но уже мудрая. В интеллигентский обиход семьи Струве она вносила крепкий русский быт. Она повесила в детской свои образа, перед которыми теплилась лампадка. Этот огонек в детские души запал. Одного из мальчиков, Котю, он привел в Карпаторусский монастырь, где он монашествует под именем архимандрита Саввы*).

На руках у Анны Николаевны было четверо неугомонных мальчишек, но ее на всех хватало, всюду успевала она наводить порядок. Она варила превкусное варенье, поедавшееся в невероятном количестве, она учила немецкую кухарку стряпать русские кушания. По сравнению с жизнью теперешней эмиграции, Струве в Гайсбурге жили по-барски. По тогдашним нашим меркам это была скромная, непритязательная жизнь. Но и у Петра Бернгардовича и у его жены, Нины Александровны, дочери моего любимого директора гимназии Оболенской А. Я. Герда, потребности были очень несложные. Гайсбург был заселен

---

*) Архимандрит Савва, пройдя через многие испытания, скончался в 1948 г., в Чехии. Это была чистая, прозрачная, благочестивая душа.

рабочими. Большинство из них было членами германской социал-демократической партии. Когда я искала себе комнату, я почти у всех них видела на стене два портрета — Бебеля, вождя социалистов, а рядом с ним Императора Вильгельма. Они висели бок-о-бок и мирно уживались друг с другом. Немецкие социал-демократы считались авангардом передового пролетариата, но у них было несравненно больше, чем у Струве, мелких буржуазных привычек и очень крепкое чувство собственности. Струве и в голову не пришло бы откладывать деньги, чтобы обеспечить будущность своих детей. Только бы свергнуть самодержавие, добиться для России свободы. Все остальное несущественно.

Это не значит, что Струве героически принесли себя в жертву делу свободы. Их тогдашняя деятельность от них жертвы и не требовала. Ни себе, ни близким они ни в чем не отказывали. Им ничего не грозило. Денег на жизнь и на работу им не надо было искать. Их доставляли единомышленники, жившие в России, связь с которыми поддерживалась легко и безопасно. Такие были простодушные времена, что из царской России эмиграция свободно получала письма, статьи, газеты, средства. Все это просто посылалось по почте, переводилось через банки. Из России постоянно приезжали и члены Союза Освобождения и просто сочувствующие, знакомые и незнакомые.

Посетителям из России приезды к Струве сходили безнаказанно. Раз в Волочиске, в таможне, задержали Д. Е. Жуковского, который возвращался из Штутгарта в Россию. Нина поручила ему отвезти альбом, в переплет которого были вклеены номера «Освобождения». Довольно шаблонный способ перевозки нелегальной литературы. На этот раз запретные газеты были так плохо вклеены, что пограничные жан-

дармы сразу нащупали контрабанду. Жуковского задержали. Он попался на том же, на чем мы с Аничковым, но, может быть, потому, что это было уже после убийства Плеве, его только продержали три дня в местной жандармерии и отпустили на свободу. Он вернулся в Петербург и беспрепятственно продолжал свою издательскую деятельность.

Д. Е. Жуковский был писатель, философ и помещик. Свои, довольно значительные средства он тратил на издание двух журналов. В Петербурге он давал деньги на «Вопросы Жизни», в Штутгарте оплачивал большую часть расходов по «Освобождению». Жуковскому было лет тридцать. Милый, привлекательный, тонкий, образованный, он был до смешного скромен. Он добродушно признавал превосходство, часто мнимое, своих более шумных, более честолюбивых и напористых приятелей, а себе, раз навсегда, отвел место во втором ряду. Только изредка, да и то робко, позволял он себе помещать в собственном журнале свои статьи, хотя его философские этюды были написаны ясно, понятно, даже изящно, что не обо всех его сотрудниках можно сказать.

В Петербурге я Д. Е. Жуковского не знала. В Штутгарте его от меня сначала прятали. Оба Струве, и муж и жена, окружали приезжих строгой конспирацией. Но Жуковский знал меня по моему процессу. Он сам разыскал меня в саду, сам мне представился. Мы с ним быстро подружились. Эта дружба продолжалась до нашей последней встречи в Новороссийске среди разгрома гражданской войны. Семья его в это время была в Крыму. Без них он не захотел уезжать, остался в России и скончался не то в советской тюрьме, не то в лагере. Мне говорили, что последние годы его жизни были скрашены глубоким религиозным просветлением.

Я поселилась недалеко от Струве. Нина гостепри-

имно предложила мне приходить к ним завтракать и обедать. Я заметила, что если Петр Бернгардович и Нина едят наспех, торопятся из столовой перейти в его кабинет, тщательно запирают за собой двери, значит кто-то приехал из России. Из кабинета доносились голоса, иногда очень громкие и знакомые. Я делала вид, что ничего не замечаю, не слышу, не вижу. Потом случайно, на улице, на лестнице, в саду я натыкалась на таинственных гостей, которые меня весело приветствовали, к большой потехе Ю. Г. Топорковой. Она была секретарем редакции. Как и няня Анна Николаевна, она вносила своеобразную устойчивость, умеряла вихри, нередко крутившиеся вокруг обоих Струве. У Юлии Григорьевны было большое чувство юмора, которого у Струве нехватало. Ее смех без слов вскрывал мелкие нелепости их жизни.

Этот смех зазвенел, как серебряный колокольчик, когда раз из-за притворенной двери в кабинет показалась рыжая, не слишком гладко расчесанная голова Петра Бернгардовича. Его глаза через пенснэ испытующе обежали столовую. Увидав меня, он уже хотел отступить в тайники своего кабинета, но его отстранил возвышавшийся за ним князь Петр Дмитриевич Долгоруков. Улыбаясь широкой, приветливой улыбкой, он сказал барским, внушительным голосом:

— Вы здесь, Ариадна Владимировна? Как я рад! Я только что собирался спросить Петра Бернгардовича, как мне вас найти? Я вам привез привет от Дмитрия Ивановича. Да и сам хочу вас поздравить. Мы очень за вас волновались. Как теперь ваше здоровье? Хорошо, что вы здесь.

Как рада я была ему. В мою новую жизнь изгнанницы ворвался запах Волги, пронеслась легкая, птичья тень Шаховского.

Другой раз сходная сцена повторилась с Милюковым. Струве не знали, что я его уже встречала и

добросовестно старались его от меня утаить. А тот совсем не любил таиться, любил быть на виду, всегда и всюду, особенно там, где были молодые женщины.

Первое время я просто была ослеплена разнообразием знаний, кипеньем мыслей, которыми Струве был окружен, как алхимик волшебными излучениями. У него была отличная память, в особенности книжная. Он запоминал факты, аргументы, цифры, подробности полемики, мысли, мог цитировать целые страницы. Все это не лежало сырым грузом, а непрерывно переваривалось в его емкой мозговой лаборатории. Напряженная энергия его мысли рассыпала искры, будила, заставляла мозги шевелиться. История, политика, экономика, философия, до известной степени литература — всем этим Струве был пропитан, всем делился с теми, кто готов был его слушать, кто способен был поспевать за быстрым бегом его мыслей. Их нельзя было ни остановить, ни перебить. Можно было иногда, в ответ на вопрос о чем-нибудь, что интересовало не его, а его собеседника, получить отрывистую, но всегда точную справку. Но отвести его собственные мысли на то, о чем думал собеседник, было очень трудно. Струве, как хорошая охотничья собака, сразу возвращался на свой след, бежал за своей дичью.

Марксизм, от которого тогда и он и Бердяев теоретически уже отказались, наложил свой след на его умственные привычки, на подход к проблемам, на построение фраз, в особенности в разговоре, но отчасти и в писаниях. Струве со своим секретарем с. д. Зак мог длинно пересуживать все, что делалось и говорилось в немецкой социал-демократической партии. Русские интеллигенты, даже не социалисты, склонны были видеть в ней все надежды человечества. Для Зака это была своя партия, он был ее членом. Но и редактор либерального «Освобождения», который лично знал Бебеля, с неостывшим интересом следил за каждым его

жестом. На меня от этих мелких подробностей чужой жизни наползала скука. Но вдруг Струве выбрасывал фейерверк неожиданных мыслей, которые шли вразрез с тем, что Маркс или Энгельс в такой-то статье, в таком-то письме установили и что для Зака было незыблемой, раз навсегда установленной истиной.

А для Струве не было ничего раз навсегда, никаких незыблемых политических или экономических выводов. Его сила, его редкое интеллектуальное обаяние состояло в том, что в его неугомонном мозгу вдруг разверзались шлюзы, прежние наслоения смывались, на их место из глубины всплывали новые обобщения, если не озарения. Но еще долгий путь предстояло ему пройти, прежде чем он стал либеральным консерватором, как он сам себя под старость называл.



15 июля 1904 г. кто-то по телефону из Берлина сообщил Струве, что министр внутренних дел Плеве убит. Это вызвало в доме редактора «Освобождения» такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом. Освобожденцы террором не занимались, но и морального осуждения этому способу политической борьбы не выносили. Возбужденные, отрывистые восклицания Струве, когда он узнал о смерти Плеве, напомнили мне негодующее появление Шаховского. В ушах снова прозвучало его пророческое восклицание:

— Плеве надо убить.

Трудно было разграничить, где кончалось конституционное движение, где начиналась революция. Если верить в круговую поруку, то, быть может, за это духовное ослепление расплачиваемся мы и сейчас.

***

Раз вечером вошла я в столовую Струве и увида-

ла высокого стройного молодого человека с полуседыми волосами и небольшими черными усами. Меня поразило выражение красивого, открытого лица. Под черными бровями сияли детские, ясные, голубые глаза. Увидав меня, он весь просветлел, улыбнулся застенчиво и ласково, и бросился мне навстречу, как старый знакомый:

— Как я рад, что вы от них ушли. Как мы волновались за вас...

Неожиданный привет незнакомого человека обдал меня теплом. Я сразу догадалась, что это и есть англичанин Вильямс, о котором мне много говорили Струве. Старшие уже окрестили его по-русски Гарольд Васильевич. Струвенята, которые его обожали и возились около него, как котята, звали его дядя Вилли. Он был уже своим человеком у Струве, хотя им еще трудно было догадаться, что в лице этого тихого, немногоречивого, мягкого англичанина Россия приобретет исследователя, знатока, друга, рыцаря.

К «Освобождению» тянулись не только русские, но и иностранцы. Европейское общественное мнение, наконец, заинтересовалось Россией и русским Освободительным Движением. Настолько, что осторожная, влиятельная английская газета «Таймс» послала в Штутгарт специального корреспондента Гарольда Вильямса. Из этого немецкого города он должен был осведомлять Лондон о том, что происходит в России. Случилось так потому, что в апреле 1903 г. в Кишиневе произошел еврейский погром.

Долго европейские правительства узнавали о России только по донесениям своих дипломатов. С середины XVIII века эти донесения с тревогой отмечали быстрый могучий рост новой великой державы. Изредка какой-нибудь иностранец выпускал о диковинной Московии книгу, чаще всего полную ошибок, вздорную и недоброжелательную. Только со второй поло-

вины XIX в. начали появляться более серьезные работы, да и то редко.

Мировое общественное мнение оставалось к России равнодушно. Печать молчала. В прошлом столетии иностранные корреспонденты еще не носились по всему миру. В европейских столицах некоторые богатые газеты держали представителей, но до России не сразу дошла очередь. Одним из первых появился в Петербурге ирландец д-р Диллон. Он учился в Харькове, в университете, и его статьи в «Дэйли Телеграф» были одними из первых, добросовестно освещавших русскую жизнь.

Зимой 1902-3 г.г. и лондонский «Таймс» отправил в Петербург корреспондента м-р. Брээма. Он выехал ребенком из России в Англию и немного говорил по-русски. «Таймс» охотно печатал то, что Брээм писал о недостатках правительства, о росте оппозиции. А тут еще кишиневский погром сразу привлек внимание к положению евреев в России.

Погром произошел весной 1903 г. и вызвал справедливое возмущение как в России, так и заграницей. XIX в. был веком гуманности. Европа отвыкла от самосуда, не подозревая, какие ужасы ждут ее в XX в. Узнав о погроме, иностранные евреи поднялись на защиту своих единоверцев. Полные законного негодования, они зашумели на весь мир. Брээм в своих телеграммах о Кишиневском погроме передавал мнение оппозиции, что моральная ответственность за погром падает на правительство. За это он был выслан из России. «Таймс», в виде протеста, решил не посылать никого в Россию, а получать русскую информацию из Штутгарта, который, благодаря «Освобождению», стал центром русского Освободительного Движения. Брээм предложил своей газете поручить это Гарольду Вильямсу. Он знал его по Берлину, когда Вильямс был там студентом, перед тем как перейти в Мюнхенский уни-

верситет, где он писал свою докторскую диссертацию, грамматику иллоканского языка. Так называется один из народов на Филиппинских островах. Не успел Вильямс сдать докторский экзамен, как «Таймс» предложил ему работу. Вильямс предложение принял. С этого началась его блестящая карьера журналиста.

Вильямс попал в русский водоворот с другого полушария. Он родился в Новой Зеландии, в приморском городке Окланде. Его отец, методистский пастор, оставил родной, уютный Корнвалис, чтобы на далеких, малонаселенных островах Тихого Океана насаждать христианство среди темнокожих маори. Отец, как позже и сын, за материальными благами не гнался. Оба они были идеалисты, искатели высших ценностей. Семья была большая. Гарольд был старший из семи братьев. Пасторское жалование было скудное. Жизнь была проста до суровости. Не было даже постоянного гнезда. Каждые три года пастора переводили в новый приход, чтобы он не поддавался земной привязанности к вещам. Эта далекость от материальных интересов перешла и к сыновьям. Гарольд до конца жизни считал себя только странником.

От отца унаследовал он умственные, книжные интересы и писательские способности. Вильямс-отец в течение многих лет был редактором методистского журнала в Новой Зеландии. Писал он живо. Сыну передал чуткость к английскому языку. Но Гарольд пошел гораздо дальше отца. Рано проявился в нем редкий дар к языкам. Сначала в школе языки не давались ему. Потом, когда ему было лет восемь, «что-то лопнуло в моем мозгу», как он сам определял этот странный перелом, после которого языки стали вливаться в него, как ручьи в озеро. Под конец жизни он знал около 50 языков. А умер он 52 лет. В гимназии он быстро перегнал учителей в латыни и греческом, без всякой посторонней помощи изучил европейские языки.

На свои скудные карманные деньги покупал он словари, грамматики, Святое Писание, на всяких языках, включая древне-еврейский. Его любимым местом прогулок были морские гавани, куда с Тихоокеанских островов приплывали разноязычные туземцы на своих живописных лодках. Он быстро осваивался с их мало кому понятными речами, ловил отдельные слова. Преодолевая прирожденную застенчивость, он заводил в этой пестрой, полуголой толпе знакомства, учился их языкам. Ему было 14 лет, когда он составил грамматику и первый словарь языка добуанцев, жителей Новой Гвинеи. Единственным источником было Евангелие от Матвея, изданное на добуанском языке. Труд был настолько замечательный, что его напечатали в специальном филологическом новозеландском журнале. Редактор не хотел верить, что грамматика и словарь составлены школьником.

Казалось, перед молодым Гарольдом Вильямсом открывается дорога ученого филолога. В те далекие времена — он родился в 1876 г. — эта наука в Новой Зеландии не процветала. Вильямс все-таки поступил в университет стипендиатом. Но профессора были плохие и от них умственного руководства он получить не мог. Да он в нем и не нуждался. Он самостоятельно изучал один язык за другим, говорил на семи или восьми полинезийских языках, включая маори, и на стольких же европейских. Россией он заинтересовался еще в Н. Зеландии, увлекся Толстым, старался жить по его указаниям, стал вегетарьянцем, и надолго. В конце концов влюбился в Анну Каренину. Прочел роман по-английски, в ее честь принялся изучать русский язык, и был очень удивлен, почти обижен, когда оказалось, что на свете существует язык, который и ему не сразу дается. Обычно он в несколько месяцев одолевал новый язык. Для русского этого оказалось мало. Он принимался за него несколько раз, боролся

с ним несколько лет, но победителем из этой лингвистической схватки вышел только тогда, когда попал в русскую среду. Это случилось позже. В Новой Зеландии в те времена русские не водились и там учиться ему было не у кого.

Но до встречи с русскими было еще далеко. Сначала надо было пройти еще два этапа, пастырский и студенческий. В Новой Зеландии методистская община не дала ему кончить университета. Они решили, что ученый сын ученого пастора и сам уже годится в пасторы и отправили 22-х летнего юношу в глухой, далекий, деревенский приход. В нем давно бродили смутные миссионерские настроения. И как отказаться, когда это избавит родителей от всяких на него расходов. Он счел своим долгом согласиться.

Слово долг, которое он вслух почти никогда не произносил, имело над ним самодержавную власть. Мать, отец, большинство методистов кругом были проникнуты незыблемым сознанием моральных обязанностей, которое они и детям передали. Относительно Гарольда это не требовало усилий. Он родился христианином. И мистиком. Но в своем малолюдном деревенском приходе, проповедуя перед фермерами, молодой пастор вынужден был говорить не о сокровенной мистической сущности христианства, а об его нравственных заповедях. Иначе простодушные прихожане заподозрили бы своего юного, голубоглазого пастора в суеверии, может быть, даже в папизме. Для англичан это все еще страшное слово.

Два года прослужил Гарольд Вильямс пастором, оторванный от всего, что принято считать культурой. Но он сам нес ее в себе. Его нельзя было от нее оторвать. Рано проснувшиеся умственные потребности уже были крепкой привычкой. Он продолжал заниматься языками, но, когда на следующее двухлетие методистский конклав его не переизбрал, он облегченно вздох-

нул. Теперь можно уехать в Европу учиться. Только денег на поездку не было. Не было и той щедрой системы стипендий, которая теперь поддерживает не только даровитых, но даже просто усердных учеников. Гарольд Вильямс и его брат Обри решили наняться матросами. На помощь предприимчивым братьям пришел состоятельный приятель отца.

Он подарил им билеты до Англии. В цену билетов была включена и еда, к сожалению, довольно скудная, особенно для молодых аппетитов. Братья только вздыхали, глядя как их спутники, итальянские рабочие, объедались своими запасами сыра и колбасы. Для Гарольда Вильямса это было преддверие недоедания, которое ждало его в Германии. Но даже пустой желудок не помешал братьям наслаждаться морем, природой, красотой, свободой и простором.

Несколько золотых, которые мать дала сыновьям на дорогу, дали Вильямсу возможность добраться до Берлина, где он два года учился в университете. Третий год он слушал лекции в Мюнхене. Он перебивался, зарабатывал жизнь уроками английского, мелкой журналистикой, часто бедствовал и недоедал. Случалось, что день, два совсем не ел. Из дому поддержки он не ждал. Знакомых в Европе не было. Еще меньше было умения и желания находить покровителей. Но, несмотря ни на что, свое житье в Германии он всегда вспоминал с удовольствием. Все, чего в Новой Зеландии он почти не знал: лекции, профессора, богатые библиотеки, музеи, концерты, — все придавало жизни полноту. Он был счастлив, что, наконец, может по-настоящему учиться. Работа мысли была для него насущной потребностью. Память у него была изумительная. Он никогда не забывал прочитанного и мог в любую минуту, в любой обстановке, из своего мозгового архива достать то, что было нужно ему или другим.

Его умственные интересы были очень разнообразны. Только естественные науки и математика прошли мимо него. За это он, никогда, никого не упрекавший, корил своих новозеландских учителей:

— Кажется, я был не глупее других? Неужели нельзя было заставить меня понять, как устроено человеческое тело и что такое интеграл?

Зато сколько он других вещей знал и с какой точностью! Он знал наизусть многие страницы Святого Писания. Знал богословие, философию, историю, географию, знал подробно, точно. Одновременно с языками и грамматикой он изучал литературу, этнографию, фольклор, поэзию, проникал в душу народа. Как пригодилась ему эта всеобщность, когда он стал директором иностранного отдела «Таймса», и в его кабинет доносился многоязычный говор народов всего мира.

Но когда он сидел над книгами в Германии, все сулило ему не газетную, а научную деятельность. Он был еще студентом, когда немецкий профессор предложил ему ехать в Америку на хорошо оплаченную и интересную службу в Нью-Йоркском этнографическом музее. Это было бы логическим продолжением его занятий. В 27 лет он уже был сложившимся ученым, знал больше языков, чем его профессора, запас общих знаний был у него не по годам обширный. Он любил ход научной стройной мысли, систематическую работу. Ум у него был ясный, точный. И при этом странное для такого пытливого, даровитого ума отталкивание от профессуры, к которой он был так хорошо подготовлен.

Академическая деятельность казалась ему оторванной от жизни, холодной. А у него было горячее сердце. С юности было в нем стремление целиком отдаться какой-нибудь большой героической задаче. Это был крестоносец. По дороге в Европу он с па-

рохода писал своей приятельнице Miss Lucia Lowell Smith в Новую Зеландию: «Только бы найти дело, которому можно служить беззаветно».

Сблизившись в Штутгарте с русскими, боровшимися за политическую свободу, он ей же написал: «Я был бы счастлив отдаться какому-нибудь великому делу. Сейчас освобождение России является таким большим делом. Мой долг ему служить» (6. IX. 1903).

Такие мысли нередко проносятся через светлые молодые души. Такие пожелания нередко высказываются смолоду. Но Гарольд Вильямс скрепил их всей своей богатой, разнообразной, слишком рано оборвавшейся жизнью.

В решении служить делу освобождения России сказался и его личный идеализм и заразительный пафос русской интеллигенции. Еще не побывав в России, Гарольд Вильямс стал посредником между Англией и русской оппозицией. В своих новых русских друзьях встретил он те же прекраснодушные мечты, те же идеалы свободы, правды, социальной справедливости, которыми он сам был полон. Он верил, что свободная Россия найдет путь к их осуществлению. Но обычаи и нравы русских, их манеры были так непохожи на то, к чему он привык в родной среде замкнутых, сдержанных, чинных методистов, что многое было ему непонятно, подчас смешно. Бесконечные книжные разговоры, наскакивание на противника, крикливые споры с утра до поздней ночи удивляли его своей страстной отвлеченностью, своей нетерпимостью. Не все их волнения, увлечения, отталкивания были ему понятны.

Да и книжные их вкусы он далеко не всегда разделял. В недоумении остановился он перед Н. К. Михайловским, который и мертвый продолжал возбуждать страстную полемику. Струве с жестокой настойчивостью подсовывал Вильямсу «Что такое про-

гресс?», приставал, допрашивал, нравится ли ему Михайловский, согласен ли он с ним?

Вильямс добросовестно пробовал пробираться через пространные рассуждения публициста-народника, потом, также добросовестно, признавался, что не может его одолеть. Скучно. Боже, как бурно обрушивался Струве на своего английского приятеля, как необузданно доказывал, что для познания России необходимо познать писателя, полемикой с которым, тоже необузданной, Струве начал свою общественную жизнь.

Когда мы познакомились, Вильямс нерешительно спросил меня:

— Скажите, вы очень любите Михайловского?

Ответ получился для него неожиданный:

— Я? Да я его никогда не читаю!

Вильямс разразился смехом, громким, радостным. Точно груз сбросил. Смеялся он шумно, заразительно, по-детски. Он еще не разобрался в сложном переплете русских похвал и порицаний и боялся неуважительным отзывом о Михайловском обидеть русскую собеседницу.

Его сотрудничество с освобожденцами быстро переходило в дружбу. Русских тешило, что около них завелся собственный корреспондент, аккредитованный при эмигрантской республике. Это щекотало их политическое самолюбие. Кроме того, они просто полюбили Вильямса. Его трудно было не любить. Трудно было устоять перед его спокойной привлекательностью. Он быстро стал своим человеком в этом деревенском доме в Гайсбурге, где все и вся было направлено к одной цели — к борьбе за политическую свободу в России. Он так увлекся этой задачей, что отошел от своей любимой науки и стал специальным корреспондентом Освободительного Движения.

Начал он очень скромно. Посылал в «Таймс» осто-

рожные сводки, которые составлял по материалам, поступавшим в «Освобождение». По иронии судьбы русское правительство выслало из России одного корреспондента за предвзятое изображение русской действительности, а взамен его появился, уже за пределами достигаемости самодержавной власти, другой журналист, который стал оповещать о России читателей «Таймса» не по непосредственным впечатлениям наблюдателя, живущего в самой стране, а издали, из Германии, по партийным, не свободным от предвзятости источникам.

В Штутгарте Вильямс прошел первую школу русоведения, вслушался в русскую речь, почувствовал буйное веяние русского духа. Мятежная русская интеллигенция, проносившаяся через дом Струве, при всем своем преклонении перед Европой, сохранила чисто русский размах, удаль, готовность ринуться в бой навстречу неприятелю. Любимый враг был налицо. Имя ему было самодержавие.

Молодой англичанин встретил в Штутгарте не мало хороших и даровитых русских людей. Их беззаботное отношение к внешней обстановке, к условности, ко всему формальному отвечало его собственному отрицанию застывшей чинности викторианской Англии. Методист, прошедший через властное влияние Толстого, он был доволен, что встретил культурных людей, совмещавших книжность с простотой и внутренней свободой. Разнообразие знаний и умственных интересов, которыми кипели его новые знакомые, отвечало его энциклопедичности. Вихрь идей, кружившихся около «Освобождения», его увлек, тем более, что все кругом были уверены, что скоро им удастся претворить идеи в жизнь.

Позже, изучив Россию глубже, пережив вместе с русскими трагический опыт трех революций и двух войн — германской и гражданской, белой войны,

Вильямс яснее увидал достоинства и недостатки как самодержавия, так и Освободительного Движения. Но знание не остудило его любви к России, к русским.



Я была все еще больна и решила ехать полечиться в Швейцарию. В Женеве я разыскала свою старую школьную подругу Надю Крупскую, теперь Ульянову. Я ее после их ссылки в Минусинск не видала, вообще несколько лет не видала, но была совершенно уверена, что она будет так же рада видеть меня, как я ее. И не ошиблась. Жили они в Каружке, как называли русские это предместье Женевы, жили несравненно теснее, суровее, чем Струве. В небольшой квартирке не было мягкой мебели, только деревянные стулья и некрашенные столы. Хозяйство вела Надина мать. Теперь у нее уже не было прислуги, как всегда бывало в Петербурге. Она и Надя встретили меня так же ласково, как встречали на Знаменской или на даче в Окуловке. Мне было очень приятно опять побыть около них. Партийная рознь еще не провела между мной и Надей неприступной черты, хотя я, благодаря моему судебному процессу и бегству, была уже публично зачислена в лагерь либералов, да и внутренне была либералкой. А Надя целиком отдавалась работе в партии с.-д., где Ленин осторожно, упорно отвоевывал себе место вождя. Он был редактором «Искры», он отколол фракцию большевиков, за что подвергался жестокому обстрелу своих вчерашних товарищей, меньшевиков. Они надрывались, доказывая, что Ленин на съезде сплутовал, что на самом деле не он, а они были в большинстве. Эта семейная полемика волновала социалистов, забавляла либералов, вызывала длинные рассуждения за чайным столом Струве. Как один из основателей русской с.-д. партии, он знал лично всех ее более видных членов. Для него их

талмудические споры, их разногласия на съездах были понятны, были все еще близки. Они его, по старой памяти, продолжали волновать.

Я раньше Ленина не встречала и не читала. Меня он интересовал прежде всего как Надин муж. Невысокий, кажется ниже ее, приземистый, широкое скуластое лицо, глубоко запрятанные, небольшие глаза. Невзрачный человек. Только лоб сократовский, выпуклый. Не наружностью он ее пленил. А пленил крепко. Я сразу почувствовала, что там , за дверью, из-за которой изредка доносился бумажный шорох, сидит хозяин, что вокруг него вращается жизнь и дочери, и матери. Когда он вышел к обеду, некрасивое лицо Нади просияло, похорошело. Девической, застенчивой влюбленностью засветились ее небольшие, голубые глаза. Она была им поглощена, утопала, растворялась в нем, хотя у нее самой был свой очень определенный характер, своя личность, несходная с ним. Ленин не подавил ее, он вобрал ее в себя. Надя, с ее мягким любящим сердцем, оставалась сама собой. Но в муже она нашла воплощение своей мечты. Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор стала его неутомимой, преданной сотрудницей. Помогала ему собирать ядро единомышленников, из которых он, в 1917 г., сковал коммунистическую партию, фундамент беспощадной советской власти.

В 1904 г., когда я встретила Ленина в Женеве, кто мог предугадать в нем будущего железного диктатора? Это был просто один из эмигрантских журналистов, которому удалось, вопреки центральному комитету своей партии, захватить партийный журнал «Искра». Уже тогда в революционных кругах знали, что Ленин властолюбив, в средствах не разборчив. Но особенного интереса ни он, ни его партия не возбуждали. С.-р., особенно после убийства Плеве, заставляли гораздо больше о себе говорить, чем с.-д.

Заговорщики окружены таинственным ореолом, они волнуют воображение. С.-д. были скучными начетчиками. Пока они не пришли к власти, они отрицали террор. Их тактика воздействия на массы казалась утопичной. Их диалектика мертвой.

После ужина Надя попросила мужа проводить меня до трамвая, так как я не знала Женевы. Он снял с вешалки потрепанную каскетку, какие носили только рабочие, и пошел со мной. Дорогой он стал дразнить меня моим либерализмом, моей буржуазностью. Я в долгу не осталась, напала на марксистов за их непонимание человеческой природы, за их аракчеевское желание загнать всех в казарму. Ленин был зубастый спорщик и не давал мне спуску, тем более, что мои слова его задевали, злили. Его улыбка — он улыбался, не разжимая губ, только монгольские глаза слегка щурились, — становилась все язвительнее. В глазах замелькало острое, недоброе выражение.

Я вспомнила как мой брат, вернувшись из Сибири, рассказывал, что в Минусинске ссыльный Ленин держал себя совсем не по-товарищески. Он грубо подчеркивал, что прежние ссыльные, народовольцы, это никому ненужное старье, что будущее принадлежит им, с.-д. Его пренебрежение к старым ссыльным, к их традициям особенно сказалось, когда пришлось отвечать перед местной полицией за бегство одного из ссыльных. Обычно вся колония помогала беглецу, но делалось это так, чтобы полиция не могла наказать тех, кто давал ему деньги или сапоги. Ленин с этим не считался и из-за пары ботинок подвел ссыльного, которого, за содействие к побегу, да еще и неудачному, посадили в тюрьму на два месяца. Ссыльные потребовали Ленина на товарищеский суд. Он пришел, но только для того, чтобы сказать, что их суда он не признает и на их мнение плюет.

Мой брат с обычным своим юмором описывал

эту бурю в ссыльном муравейнике, но в конце, уже серьезно прибавил:

— Злой человек, этот Ленин. И глаза у него волчьи, злые.

Воспоминание о рассказе брата подстрекнуло меня и я еще задорнее стала дразнить Надиного мужа, не подозревая в нем будущего самодержца всея России. А он, когда трамвай уже показался, неожиданно дернул головой и, глядя мне прямо в глаза, с кривой усмешкой сказал:

— Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать.

Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка.

— Нет. Я вам в руки не дамся.

— Это мы посмотрим.

На этом мы расстались. Могло ли мне прийти в голову, что этот доктринер, последователь не им выдуманной, безобразной теории, одержимый бесом властолюбия, а, может быть, и многими другими бесами, уже носил в своей холодной душе страшные замыслы повального истребления инакомыслящих. Он многое планировал заранее. Возможно, что свою главную опору, Чека, он уже тогда вынашивал.

В сентябре 1904 года Струве перевез в Париж свою редакцию и свою семью. Вслед за ним потащилась и я, хотя мне больше хотелось ехать не на запад, а на восток, в Россию. Но там мне пришлось бы сесть в тюрьму. По Высочайшему повелению срок был сокращен с двух лет на год. Но здоровье мое плохо поправлялось. Я томилась на чужбине без детей, без дела и жила только мыслью о возвращении. К счастью, мама меня и тут выручила.

В темный, осенний вечер в окне вагона Норд Экспресса, на Северном вокзале, я увидела серьезные, взволнованные лица моих детей. Опять я смогла их

обнять, обхватить, почувствовать их тепло, увидать радость, сиявшую в их глазах. Счастливая это была минута!

Жизнь сразу наполнилась, осмыслилась, осветилась. Надо было устраивать их в школы, помогать им одолеть французский, который они почти не знали, заботиться о них. Я наняла небольшую квартирку недалеко от Струве, тоже в Пасси, купила за гроши, на деньги, присланные мне из России, подержанные столы и стулья, разнокалиберную посуду, печку Шуберского, которая согревала все наши три комнаты, и мы зажили жизнью интеллигентных кочевников. Русские деньги хорошо ценились, жизнь была дешевая, все, что нужно, у нас было. А главное, после разлуки мы еще крепче ухватились друг за друга.

Я заново переживала свое материнство. Снова, как тогда, когда я их, маленьких, держала на коленях и кормила грудью, следила я за всеми мелочами их повседневной жизни, вместе с ними переживала их детские радости и волнения. Мы жили втроем в особом, замкнутом, нашем мире, который соприкасался с внешним миром, но не включал его в себя.

Быть может, в этой счастливой поглощенности материнством было смутное предчувствие, что не всегда так будет, что требования и зовы жизни скоро отвлекут меня от нашей уютной жизни втроем. Когда мы, наконец, вернулись в Россию и я окунулась в писательскую и общественную работу, мне уже никогда больше не пришлось отдаваться детям так цельно, как в Париже. Это неизбежная судьба женщин, так или иначе поднявшихся на эстраду.

Тем с большей благодарностью вспоминаю я обо всем, чем подарили меня в Париже дети, как расцветили они своей любовью тусклость эмигрантской жизни. Не только сама радость, но даже воспоминание о ней, если мы умеем его хранить — окрыляет. Жизнь

на рю Сэнже была крылатая. Шелест этих крыльев я чувствую и сейчас, сорок лет спустя.

Вокруг нас шумела русская эмиграция и тогда многолюдная. Большинство, как и я, жили получками из Рессии. Получали из России письма, деньги, газеты. За перепиской русская полиция, конечно, следила, но за сношение с эмиграцией полиция не преследовала. Вообще у царского правительства не в обычае было преследовать родных и друзей революционеров или людей неблагонадежных. Эмиграция духовно и физически питалась русскими соками. Не было беспощадной оторванности от родины, которая, 15 лет спустя, легла таким гнетом на белую эмиграцию. Революционные издания, печатавшиеся заграницей, сравнительно легко проникали в Россию. С ростом оппозиции спрос на эмигрантскую литературу был большой. Ею зачитывались в России, безбоязненно передавали ее друг другу даже мало знакомые люди. Успех запретной печати усиливал уверенность эмиграции, что скоро мы все вернемся домой. А пока разговаривали, шумели, волновались, негодовали и спорили, спорили, спорили без конца, так как у каждого был свой, самый верный рецепт, как сокрушить ненавистный старый мир.

К нам все время приходили сведения о том, как быстро вздымается Освободительное Движение. Общественное мнение было против японской войны. Не видело в ней смысла. Войну приписывали корыстным махинациям маленькой шайки придворных, заинтересованных лесными концессиями на Ялу. Далеко не все, кто это повторяли, знали, что такое эта самая Яла, где она находится? Но уже в самом слове им чудилось что-то одиозное. Непопулярность власти усиливалась. Главными виновниками всей авантюры считали близкого Николаю II адмирала Абазу и еще

нескольких придворных. Находились и такие всезнайки, которые утверждали, что царь сам заинтересован в лесных концессиях. Царя считали недалеким, бесхарактерным, игрушкой в руках жадных слуг, которым дела нет до России. На самом деле никто хорошенько не знал, что делается при дворе. Меньше всего знали того, кто стоял во главе огромной империи — самого Николая II. Цари жили замкнутой, недоступной, непонятной для подданных жизнью. Эта далекость открывала простор легендам и недоброжелательным выдумкам. О государыне Александре Федоровне тогда еще мало говорили, ею мало интересовались.

Трудности и лишения, которые испытывала русская армия, проигранные битвы, Лаоян, Мукден, — все это разжигало обличительную ревность эмиграции.

Чем хуже, тем лучше, было одним из нелепых изречений левой интеллигенции. Порт-Артур сдался. Французы выражали нам соболезнование, а некоторые русские эмигранты поздравляли друг друга с победой японского оружия. Война с правительством заслоняла войну с Японией.

Мне навсегда запомнился темный, зимний день, когда я узнала о падении русской крепости с не русским названием на берегах далекого чужого моря. Я, как и большинство русских, не знала историю русского проникновения в Азию, не понимала наших государственных задач на Дальнем Востоке, не слышала имен тех землепроходцев, которые донесли влияние русского народа до Тихого Океана. Но Порт-Артур защищался так долго, так мужественно, что его падение обожгло меня тяжкой обидой. Это чувство обострилось от случайного разговора на улице с кем-то из эмигрантов. Его бессмысленное ликование возмутило меня до слез. Я очень редко плачу. А тогда, на улицах Парижа, затемненных холодным дождем, я возвраща-

лась одна домой и слезы текли по моему лицу. Я их не могла удержать и не удерживала.

Само собой разумеется, что не одна я с такой болью переживала русские поражения. Хотя и в освобожденских кругах можно было услыхать эту безответственную фразу — чем хуже, тем лучше, — но около Струве на войну все-таки смотрели серьезнее. Струве провел резкую грань между собой и пораженцами и я ему за это до сих пор благодарна. Повод ему для этого дали японцы.

Это случилось в Пасси, у него в доме. Мы с Юлией Григорьевной сидели наверху, в библиотеке, и вдруг услыхали вопль. Петр Бернгардович на лестнице на кого-то кричал диким голосом. Потом раздался громкий топот по ступенькам. Он кого-то провожал, вернее выпроваживал. С шумом захлопнулась входная дверь. Опять топот по ступенькам. Красный, растрепанный влетел Струве к нам:

— Нина! Где Нина?...

— Петр Бернгардович, что случилось?

Не глядя на нас, не отвечая, что с ним нередко бывало, он выбежал из библиотеки, разыскивая жену. Она была ему неизменно нужна, при всех происшествиях, больших и малых. Ее не было дома. Ему было необходимо перед кем-нибудь излить свои волнения. Опять влетел он в библиотеку и, кружась по тесной комнате, рассказал нам, что к нему явился знакомый социалист-революционер. Насколько помню, фамилия его была Максимов. Он пришел, чтобы от имени японцев предложить Струве денег на расширение революционной работы.

Струве наскакивал на нас с Юлией Григорьевной и, потрясая кулаками, вопил:

— Мне, вы понимаете, мне, предлагать японские деньги?! Как он смел? Мерзавец!

Интонации были для меня знакомые. Так вопил

Струве на Казанской площади, стоя в рядах арестованных.

Поражениям Струве не радовался, хотя разделял всеобщую уверенность, что война вынудит правительство на реформы; но то, что ему осмелились предложить сговор с неприятелем, что его хотят подкупить японскими деньгами, привело его в праведное бешенство. Долго не мог он успокоиться.

А с.-р. в это время пользовались помощью и деньгами японцев, чтобы через Финляндию переправлять в Россию бомбы и оружие для террористических актов. Брали ли с.-д. деньги от японцев, не знаю. Даже не знаю, предлагали ли им деньги японцы. В 1904 году с.-д. были так слабы, что их вряд ли стоило финансировать.

Не успела я пережить Порт Артур, как обрушилось другое событие — 9-е января 1905 г. Событие более страшное по своим последствиям, породившее чувства другого порядка.

О священнике Гапоне раньше никто не слышал, а тут его пламенные колдовские речи внезапно выбросили на поверхность русской политической жизни тысячи, десятки тысяч рабочих, еще вчера косных и неподвижных, и сразу дали им вождя. Что дало Гапону власть над ними?

В рабочих не было ни задора, ни вызова. До Парижа доносились с Путиловского завода голоса не мятежников, а верноподданных, ищущих защиты у своего государя. Какое же это революционное движение, если челобитчиками руководит поп, который ведет их не против царя, а к царю? Для интеллигенции, тем более революционной, человек в рясе был человек чужой, враждебный. Ну как тут разобраться?

Гапоновское движение росло бурно, не по дням, а по часам. С трепетом, со страхом, со смутной надеждой ждали мы выступления рабочих. А вдруг про-

изойдет чудо? Чудо мирного разрешения давно назревших противоречий между властью и подданными. Вдруг рабочие по своему проложат путь к новой жизни? Сердце замирало от ожидания.

Чуда не произошло. Не суждено было Николаю II соприкоснуться с еще нетронутыми революционной яростью, еще мирными народными массами.

Что-то страшное, дьявольское есть в этом священнике, у которого, как потом выяснилось, был билет охранника в кармане. Кому он служил? Чего добивалась полиция, когда допустила такую чудовищную провокацию, позволила ему поднять рабочих и повести их под расстрел?

С этого дня к широкому лозунгу — Долой самодержавие — прибавился более узкий, более личный клич — долой Николая II.

Русские социалисты, в особенности с.-р., спешили использовать возбуждение эмигрантской толпы и усилить ее боевое настроение, ее сочувствие к террору.

Для либерального крыла русской оппозиции 9-е января тоже явилось днем, если не перелома, то резкого сдвига налево. Даже Струве нарушил свою обособленность и выступил на двух или трех больших собраниях. В «Освобождении» он напечатал несколько очень резких статей о Николае II, о чем позже горько сожалел.

После 9-го января Освободительное Движение разлилось по всей стране. Такие дни, такие события не забываются. Пробужденные ими чувства взаимной злобы проводят глубокие трещины между властью и народом. После 9-го января раздражение против правительства стало еще более острым, натиск на правительство еще более смелым.

Струве жадно хватался за приезжих из России, ловил от них отголоски нараставших .там событий Хотя он всегда больше жил книгами, людей замечал

не сразу и на них смотрел через подзорную трубу, как на далекие явления природы. Диалектические тонкости были ему ближе, понятнее, чем человеческие чувства и волнения. Рассеянный, погруженный в свои мысли, в себя, он нередко проходил мимо людей, как мимо травы. Не раз Нина ловила его за рукав и настойчиво заставляла поговорить с кем-нибудь из гостей. Тогда он просыпался и по мере своих сил старался проявить внимание. Разговаривая, он развивал отвлеченные теории, следил вслух за развитием своих мыслей, изредка прислушиваясь и к собеседнику. У Струве была плохая дикция, неприятная манера то выкрикивать, то повторять отдельные слова, подчеркивая их взмахами то одной, то обеих рук. Одних это смешило, других раздражало. Но если, не обращая внимания на внешнюю неприбранность его речи, прислушаться к тому, что он говорил, сквозь беспорядочную дикцию доносился своеобразный ритм его своеобразных мыслей.

Полтора года пришлось мне прожить эмигранткой бок о бок со Струве и за эти месяцы, полные политических волнений, я от него многому научилась. Это был мой первый курс политических наук. Второй я прослушала в центральном комитете кадетской партии, когда стала его членом. По строптивости характера, я ни тут ни там не стала покорной студенткой, осталась вольнослушательницей. Я далеко не всегда соглашалась со взглядами Струве. Часто я слушала его с той же бабьей неподатливостью, которую вызывали во мне разговоры за чайным столом у другого марксиста, который остался правоверным, у Туган-Барановского. Говорю бабьей, потому что меня вело мое деревенское чутье к жизни, как она есть, а не к той, которую выдумали городские интеллигенты. Но даже не соглашаясь, или полусоглашаясь со Струве, я около него проделывала стремительную умствен-

ную гимнастику. Она меня занимала, увлекала и позже оказалась для меня очень полезной.

Струве многих подкупал неугомонностью мысли. Для него не было окончательных, застывших форм. Он все проверял, переворачивал, перекапывал. Начав с марксизма и материализма, он через радикализм и идеализм, дошел до православия и монархизма. Не мало образованных людей нашего с ним поколения прошли через этот путь. Но Струве шел впереди. Он первый находил оправдание, объяснение, выражение для еще не оформленных изменений в общественных настроениях. Он облекал их в слова, часто очень убедительные, острые как лозунг. Это привлекало к нему как к мыслителю, как к публицисту, но мешало ему стать влиятельным политиком. В политике выгоднее иметь несложную, твердо установленную программу и проводить ее без колебаний и раздумья.

Настоящих политиков в оппозиции, до открытия русского парламента, и быть не могло, хотя все, от мала до велика, только и делали, что исступленно толковали о политике. Не был политиком и Милюков. Будущий лидер русских либералов тоже промелькнул через Париж. Ему трудно было спеться со Струве. Глубже всяких идейных разногласий разъединяло их глубокое личное отталкивание. У Милюкова это сказывалось особенно сильно. Струве готов был подойти ближе к влиятельному члену Союза Освобождения, который, хотя и печатал постоянно статьи в запретном эмигрантском издании, но жил и действовал в России. Струве, эмигрант, вынужден был с ним считаться, иногда даже руководиться его оценками.

Милюкова от Струве отделяли и своеобразные местнические счеты. В Союзе Освобождения Милюков имел влияние, но Струве был на более видном месте. Его имя, как редактора, печаталось на обложке «Освобождения». Он многие свои статьи подписывал. Это

давало ему широкую известность, делало его самым заметным, самым ответственным выразителем идеологии Освободительного Движения.

Его газета проникала в глухие углы России, всюду всеми читалась. Струве сравнивали с Герценом, говорили, что, как «Колокол» подготовлял реформы 60-х годов, так «Освобождение» расчищает путь для реформ конституционных. Все это придавало Струве большой авторитет, создавало ему популярность. Да и как публицист он был несравненно талантливее Милюкова. У Струве бывали проблески подлинного государственного чутья.

Непосвященному человеку трудно было выделить статьи Милюкова из статей других авторов. Он много писал для «Освобождения», но, живя в России, мог сотрудничать только анонимно, подписывался С.-С. Только немногие посвященные знали, что это Милюков. Его известность еще не выходила за пределы тесных профессорских и редакционных кружков, где его уже начинали признавать экспертом по политике, особенно иностранной. Понемногу он отвоевывал себе место и в тесной земской среде, раньше ему чуждой. Это сближение помогало Милюкову прокладывать себе путь к партийному лидерству. А Струве мог его перегнать, заслонить. Милюков это чувствовал. Он старался умалить авторитет Струве, которого считал «невозможным и нестерпимым», что я, да и другие, не раз от него слышали. В Париже Милюков, насколько помню, был только раз, да и то ненадолго.

Проездом на Ривьеру промчался через Париж и В. А. Маклаков. По живости, яркости, остроумию он далеко оставлял за собой и Милюкова и Струве. От этого московского адвоката так и брызгало даровитостью и неукротимой жаждой жизни.

Он только промелькнул, но успел рассказать, что Россия кипит освободительным энтузиазмом. Он вы-

сыпал у меня за чайным столом целый короб увлекательных историй про глупость правительства, про растущую дерзость оппозиции, про фрондерство придворного дворянства. Рассказал, как, после некоторых колебаний, московский губернский предводитель дворянства, кн. П. Н. Трубецкой, примкнул к земской оппозиции. Мы чувствовали, что там, на родине, без которой мы все томились, происходит, наконец, желанный сдвиг, что близится час свободы для России и для нас.

Маклаков в первый раз меня видел, да и моих гостей мало знал. Но это не помешало ему как-то мимоходом, среди шумного разговора, сделать масонский знак. В Париже я смутно слышала, что, как только началось Освободительное Движение, профессор М. М. Ковалевский открыл в Париже русскую ложу. В нее вошли многие мои знакомые, включая моего товарища по судебному процессу Е. В. Аничкова. Кто еще был масоном, я не знала и не стремилась узнать, не придавала масонству серьезного значения, хотя их романтическая таинственность и дразнила мое любопытство. На масонство было принято смотреть, как на детскую забаву, и я, без дальних размышлений, принимала этот взгляд.

Глава седьмая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Связь «Освобождения» с Россией так крепко была налажена, что к Струве в Пасси непрерывно текли и посетители, и сведения. Приезжие быстро проносились через Париж и исчезали, спешили домой, боялись, что события разыграются без них. 1905 г., начавшийся безумным расстрелом рабочих под окнами Зимнего Дворца, оказался годом бурным и решающим.

Напор на правительство все увеличивался. Напирали общими усилиями и социалисты и либералы. И даже беспартийные. Все сходились на том, что необходимо добиться народного представительства, свободы личности, совести, слова. Вообще свободы. Но были и очень резкие расхождения. Либералы хотели ограничения монархии и социальных реформ. Социалисты хотели произвести социальную революцию и провозгласить республику. В самой России еще держался общий фронт, состоявший из всех недовольных. А в эмиграции, в прессе и на митингах, обострялись сердитые программные споры, сводились партийные счеты.

Январские события и неудачи на Дальнем Востоке очень ослабляли положение правительства. Магическое слово конституция уже дерзко произносилось вслух. Ради достижения общих политических задач, интеллигенция сплачивалась в союзы по профессиям. Адвокаты, инженеры, врачи, агрономы, акушерки, ветеринары, учителя, даже гимназисты, все объединялись в союзы, которые были тесно связаны с Союзом Освобождения. К весне образовался Союз Союзов, сыгравший кратковременную, но решающую роль в Освободительном Движении. Недовольство высказывалось почти открыто, но и подпольная революционная работа не останавливалась.

Террор увеличивался. 4-го февраля 1905 г. с.-р., в отместку за 9-ое января, убили в Москве дядю царя вел. кн. Сергея Александровича, хотя никто не знал, имел ли он отношение к стрельбе. План убийства был выработан в боевой организации с.-р. партии при участии Азефа, видного революционера и не менее видного служащего Охранки, опытного агента-провокатора. Разыгрывалась дьявольская двойная игра. Не посвященные в тайны Охранки люди не могли даже подозревать, какой у нее размах.

Какое нужно было иметь воображение, чтобы догадаться, что охранник Азеф помог революционерам убить дядю царя В. К. Сергея Александровича, в отместку за то, что 9-го января были расстреляны рабочие, которыми руководил священник, тоже агент Охранки. Замысел боевого комитета с.-р., где Азеф был одним из главных руководителей, исполнил и бомбу в великого князя бросил мечтатель и поэт Иван Каляев, мой старый знакомый, который в Ярославле приходил ко мне по вечерам поговорить о божественной сущности искусства.

Террористические акты, убийства и крупных и незаметных агентов власти учащались. На фабриках вспыхивали забастовки. Местами происходили крестьянские беспорядки. Правительство, забыв мудрые слова Александра II, что лучше проводить реформы сверху, чем дожидаться, когда их насильно вырвут у власти низы, было в нерешительности, колебалось, не имело ни программы разумных реформ, которых требовали все, даже «Новое Время», ни силы остановить движение. Вскоре после 9-го января был издан рескрипт «о привлечении достойнейших людей к разработке законодательных предположений.» Несколько лет раньше это было бы большое событие. Теперь рескрипт никого не удовлетворил, ничего не остановил, был встречен радостными насмешками, как доказательство растерянности и глупости правительства.

Правым, либеральным крылом Освободительного Движения еще продолжали руководить земцы. Правительство, по мере сил, противилось их объединению, но земцы в конце 1904 г. все-таки собрали свой первый съезд· На нем еще раздавались осторожные советы не торопиться с выборным народным представительством, сначала ограничиться введением в Государственный Совет выборных от земств и предоставлением Совету права прямого доклада государю. Эти

умеренные голоса быстро умолкли. Их заглушили поднявшиеся над Россией вихри. На земском съезде, собравшемся после 9-го января, уже была принята резолюция о законодательном народном представительстве, избранном на основе всеобщего, равного и тайного голосования. Большинство земцев принадлежало к старому, дворянскому, служилому, господствующему сословию. Теперь они требовали немедленного и коренного изменения той государственной власти, которую их предки поддерживали, создавали, в которой участвовали. Небывалое, недоброе, грозное для самодержавия единодушие охватывало Россию.

15-го мая 1905 г. японцы под Цусимой потопили русский флот. Неслыханное для Императорской России поражение вызвало ропот по всей России. Союз Освобождения устроил демонстрацию протеста в Павловске, на просторном вокзале, где давался очередной вечерний, многолюдный концерт. Шумели, кричали, стучали железными скамейками, бросались стульями. А главное, во всеуслышание вопили — долой самодержавие! Полиция оттеснила демонстрантов из сада, очистила вокзал, но никого не арестовала.

Оппозиция была уже настолько хорошо организована, что 2-го мая, десять дней спустя после Цусимы, в Москве был созван многолюдный Земско-Городской съезд, для обсуждения этого всех волновавшего события. На съезде было принято обращение к царю. Его просили осуществить высказанное им намерение «предначертать ряд мер к изменению ненавистного и пагубного приказного строя». В обращении говорилось:

«Государь, пока не поздно для спасения России, для утверждения порядка и внутреннего мира, повелите без промедления созвать народных представителей, избранных для этого равно и без различия всеми подданными Вашими. Пусть решат они, в согласии с Вами,

жизненные вопросы государства, вопросы о войне и мире, пусть определят они условия мира, или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Государь, в Ваших руках честь и достоинство России, держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, Государь, в страшный час испытания народного; велика ответственность Ваша перед Богом и Россией.»

Так с Николаем II еще никто не говорил. Он как будто откликнулся на призыв земцев и в июне принял их депутацию. Среди пяти депутатов был и Д. И. Шаховской. Во главе депутации стоял другой представитель старинного рода кн. С Н Трубецкой — выдающийся философ, ректор московского университета

Передавая царю земский адрес, С. Н. Трубецкой сказал:

«Народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, страшное слово — измена произнесено»...

Царь ответил:

«Отбросьте ваши сомнения. Моя воля, воля царская, собрать выборных от народа непреклонна, неизменна. Я каждый день слежу за этим движением».

Хорошие слова, но их не скрепляло взаимное понимание. В лице кн. С. Н. Трубецкого к монарху обращался не только искренний патриот, но и убежденный монархист, который видел, что только конституционные ограничения могут спасти историческую власть. Его голос не дошел ни до сердца, ни до разума монарха. Ни царь, ни его советчики не понимали, что происходит в России. Это ясно показал рескрипт, опубликованный 6-го августа, несколько недель спустя после приема депутации. Это был так называемый Булыгинский рескрипт, по имени его автора, министра внутренних дел. Он прозвучал как насмешка. В нем объявлялись выборы, но не в законодательную пала-

ту, которой так страстно добивалось общественное мнение, а в орган совещательный. Разочарование разрасталось в негодование. Волнения обострялись. Мирный договор с японцами, который гр. Витте заключил в Портсмуте, в Америке, подлил масла в огонь, хотя условия после всех поражений, которые претерпели русские войска, были не так уж тяжелы. Но ни ведение войны, ни уступка половины Сахалина японцам не соответствовали историческому престижу России, который со времен московских царей так высоко стоял в Азии.

Шум, поднятый около Портсмутского договора, был вызван не только уязвленной и оскорбленной национальной гордостью. Оппозиция воспользовалась военными неудачами, как орудием борьбы с правительством. Усиление террора, погромы помещичьих усадеб указывали на растущее влияние революционных социалистических партий. Для них, как интернационалистов, слова: патриот, патриотизм, звучали как насмешка и поношение. Их успеху, конечно, помогало то, что военные неудачи обнажали слабости и недостатки правительства и колебали уверенность власти в себе. Из центра эта грозная неуверенность расползалась по всем разветвлениям русской государственной машины, нарушала ее ход, ослабляла энергию чиновников, силу их сопротивления.

Полтора года, которые я провела в эмиграции, я была, так или иначе, связана с «Освобождением», одним из главных центров, где, если не вырабатывались, то формулировались, высказывались мысли и чаяния оппозиции, сравнительно умеренной. Но я не могу вспомнить никого, кто бы крепко, трезво, до конца продумал, что надвигается на Россию. Я не слыхала ни одного предостерегающего голоса, не видала никого, охваченного тревогой за будущее родины.

Все в упоении, в опьянении борьбой и конституционными мечтами неслись вперед. Только поэт Волошин в своих стихах предсказывал то страшное время, когда

Из сердца женщины святую вынут жалость...

Но что такое Макс? Забавник, которому весело пугать буржуев, разве поэты что-нибудь понимают в государственных делах?

Мельком прослушав его вещие стихи, политики продолжали обсуждать, обличать, требовать, злорадствовать. Уступки правительства, его неуклюжие попытки ближе подойти к общественному мнению только подстрекали, принимались как доказательство слабости власти.

Рассказывая о том, что происходило сорок лет назад, я не могу и не хочу выносить обвинительный акт либерализму моего поколения. Я не отрекаюсь от него. Мы делали глупости, мы ошибались. Мы забывали об извечных недостатках всякого человеческого общества, мы все беды взваливали на самодержавие, а об его исторических заслугах совершенно забывали. Мы не в меру доверяли иностранным учебникам государственного права и теориям. Вместо того, чтобы изучать Россию и Русский народ, мы старались следовать немецким правоведам и экономистам, часто третьестепенным. Но цели, которые мы себе ставили, были правильно намечены. Если бы Россия во время получила народное представительство и социальные реформы, не только русский народ, но и вся Европа не переживали бы трагедии, свидетелями и жертвами которой мы все стали.

***

События снова перевернули всю мою жизнь. Летом 1905 г. я, вместе с семьей Струве, взяла дачу в Бретани, в рыбацкой деревушке St. Cast, которая с тех

пор разрослась в большой приморский курорт. Мы жили как беспечные дачники, наслаждаясь бодрящей свежестью морских купаний. Детям там было отлично. И я, наконец, поправилась, ко мне вернулась прежняя жизнеспособность. Настолько, что я про себя решила после Бретани вернуться в Россию. Лучше отсидеть свой срок в тюрьме, чем пропадать в изгнании. И детям надо было расти на родине, а не на чужбине. Как это часто бывает с нашими планами, все произошло совсем иначе, чем я себе намечала.

Дети умудрились на берегу моря схватить скарлатину. Струве, конечно, сразу свернулись и увезли своих четырех мальчиков домой, в Пасси. Я со своими двумя больными осталась одна. Даже доктора надежного не было. Но морской воздух исцелил. Дети поправились, только очень ослабели. Я повезла их в Швейцарию, на Лаго Маджиоре, в очаровательное местечко Бриссаго. Туристы уже разлетелись. Было начало октября. Шла уборка винограда. Кругом все было так мирно, так красиво. А из России доносился гул надвигающейся грозы. Росло забастовочное движение. Не только я, но и дети с волнением следили за газетами. Особенно поразила нас забастовка в булочных Филиппова. Эти булочные были частью нашего петербургского уюта, наших русских домашних привычек. А тут вдруг Москва и Петербург без Филипповских горячих бубликов, без пирожков с яблоками, без калачей и сушек. Что-то вроде землетрясения. Землетрясение действительно приближалось. Даже в тихой итальянской деревушке нельзя было не чувствовать подземных толчков, разбегавшихся по русской земле.

Мало кто угадывал, что это только начало, что пройдет несколько лет и несравненно более кровавые потрясения, военные и революционные, пройдут из страны в страну. Кто же думал, что Россия, которую

не только иностранцы, но и русские считали отсталой, косной, сонной, полуазиатской страной, разовьет в себе такую заразительную способность к разрушению?

В 1905 г. нам казалось, что вокруг нас воют вихри не разрушения, а созидания. Наконец, народ, слишком долго лишенный возможности свободно думать, проявляться, устраивать жизнь по-своему, найдет путь к новой жизни. Так страстно хотелось перенестись в Россию, участвовать в великом, всенародном, творческом усилии. Скорее бы сесть в поезд, ехать домой, домой. Но пришлось еще раз вернуться в Париж. Дети опять стали ходить в школу. В лицее Мольера девочки с ужасом, очевидно повторяя разговоры взрослых, говорили моей десятилетней дочери:

— Mais en Russie vous avez des bagarres sanglantes. C'est la guerre civile!

Соня бежала ко мне, взволнованная, требовала объяснений. Что это за кровавые стычки? Разве в России война? Позже, во время великой войны и великой русской смуты, она, бедняжка, поняла что значит la guerre civile. А в 1905 г. я и сама плохо понимала смысл этих страшных слов. В душе жила наивная мечта о переворотах великих и бескровных.

Если у меня горела земля под ногами, то под Струве она просто пылала. Он не находил себе места. События в России уже приняли такой размах, что «Освобождение» отставало от жизни, становилось ненужным. В самой России, в столицах и в провинции, стремительно, почти самовольно, нарождались газеты. Их голоса звучали громко, с невиданной смелостью и настойчивостью. Появлялись новые люди, новые публицисты. Струве боялся остаться за бортом, кипел потребностью броситься в гущу борьбы. Запрашивал друзей, не пора ли ему вернуться? Упрашивал их устроить ему въезд в Россию. Они были слишком захвачены остротой момента, слишком заняты, чтобы

возиться с его бумагами, и не отвечали или советовали сидеть смирно.

Когда разразилась всеобщая забастовка, неслыханная, небывалая, напряжение достигло своего предела. Какая волшебная сила остановила жизнь в стране, занимающей шестую часть земного шара? Стали заводы, мастерские, забастовали министерства, университеты, железные дороги, почта, телеграф. Но забастовочный комитет разрешил телеграфистам принимать депеши иностранных корреспондентов. Они сообщали, что всем руководит Союз Союзов. На самом деле никакие союзы, никакие тайные или явные сообщества, не были бы в состоянии так поднять целый народ, организовать такую повальную общность поведения, породить такой пассивный и могучий массовой экстаз, вылившийся в массовое Толстовское неделание.

Петр Бернгардович совсем потерял голову. По десять раз в день бегал он на станцию метро, к газетному киоску, хватал все выпуски, утренние, вечерние, ранние и поздние, полдневные и закатные, обычные и экстренные. Их все газеты выпускали. Целые страницы были полны Россией и на каждой можно было найти новые подробности, подтверждавшие силу движения. Струве ходил по улицам Пасси, раскрыв перед собой газету, как щит, рискуя попасть под извозчика, натыкаясь на прохожих, не обращая внимания на их поношения, довольно заслуженные. Дома он бессмысленно заглядывал во все комнаты, бормотал непонятные слова, смотрел на нас невидящими глазами.

Газетные известия становились все противоречивее, сбивчивее. Не легко было угадать, чем все это кончится, кто будет вынужден пойти на уступки — власть или народ? Одни газеты уверяли, что царь готов дать народное представительство, другие утвер-

ждали, что правительство решило принять крутые меры и при помощи войск прекратить забастовку. Это разноречие отражало борьбу мнений, которая действительно шла вокруг царя. Читатели всего мира были сбиты с толку. И вдруг вечером, 17-го октября, появились экстренные выпуски, где огромным шрифтом были напечатаны заветные слова:

ЦАРЬ УСТУПИЛ. КОНСТИТУЦИЯ ДАНА.

Как раз в этот день Нине Струве пришло время родить. Это был ее пятый ребенок. Нина не легла в больницу, а проделала привычную работу у себя дома. Как и подобало жене редактора конституционного журнала, она выбрала для родов знаменательный день 17-го октября, когда была дана конституция, которую сразу окрестили — куцая.

Взлохмаченный Струве, потрясая пачкой газет, расталкивая всех, ворвался в спальню, где его жена напрягалась в последних родовых муках:

— Нина! Конституция!

Акушерка взяла его за плечи и вытолкнула из спальни. Через полчаса родился пятый Струвененок. В честь моего сына его назвали Аркадием.

Едва успела Нина оправиться от родов, как Петр Бернгардович, не дожидаясь формального оповещения, что его эмигрантские грехи прощены, ринулся в Россию, предоставив Нине и Юлии Григорьевне ликвидировать все дела, домашние и редакционные. Кончилось «Освобождение».

Как ни хотелось мне тоже ринуться, но подвергать детей риску я не могла. Надо было ждать бумаг. Папа с обычной энергией брал приступом чиновников, преодолевая их медлительность. Наконец, я получила официальную бумагу. Я подошла под амнистию, сидеть в тюрьме не должна. Кончилась эмиграция, я могу ехать в Россию. А ехать было невозможно. Железные дороги то ходили, то опять останавли-

вались. Все еще пробегали забастовочные судороги. Опять стала Варшавская линия. Опять надо отложить отъезд, опять ждать. Ожидание становилось все томительнее и для меня и для детей. Они уже многое понимали, волновались событиями, нетерпеливо стремились домой. При первом, еще смутном известии, что движение возобновилось, мы сели в поезд и покатили на восток.

Как обрадовались мы все трое, когда вокруг нас зазвучала музыка русской речи. Просторный Вержболовский вокзал имел необычно пустынный вид. Пассажиров почти не было. Были только люди в форме: носильщики, жандармы, таможенные чиновники. Паспорта проверяли в таможне. Я подала старшему чиновнику в тужурке с зелеными отворотами бумагу из Судебной Палаты об амнистии. Он повертел ее в руках, вернул мне и с недоумением сказал:

— Мне не это надо, а ваш паспорт.

Я спокойно вынула из дорожной сумочки небольшую темно-зеленую книжку, мой русский паспорт, который я, полтора года перед тем, зашила в подол юбки и так вывезла из Финляндии. Заграницей он мне ни разу не понадобился. Тогда по всей Европе можно было ездить из страны в страну без паспорта. Их спрашивали только на русской и турецкой границе. Чиновник даже не раскрыл моего паспорта.

— Сударыня, ведь это же не то. Вы возвращаетесь из заграницы. Где же ваш заграничный паспорт?

— У меня его не было. Вы видите по этой бумаге, что я эмигрантка.

Дети с любопытством следили за нашим разговором. Мое спокойствие передавалось и им. А мне чего же было волноваться? Я была совершенно уверена в моем праве ехать домой. Я возвращалась на родину по воле народа.

Чиновник сделал еще одну попытку охранить привычный порядок:

— Да, но ведь каждому проезжему полагается иметь заграничный паспорт.

— Полагалось. Теперь все меняется.

Моя уверенная улыбка подействовала на него сильнее доводов. Он махнул рукой и отдал мне паспорт. Дверь в Россию открылась.

Поезд был почти пуст. В вагоне III класса мы сначала были единственными пассажирами. Через несколько станций от границы появился еще путешественник, маленький, нервный человечек, повидимому еврей. Именно появился, точно влез в окно или проскользнул в щель. И глаза у него скользили. Я догадалась, что у него, как и у меня, нет заграничного паспорта, но совсем нет моей уверенности в своем праве быть в России.

Позже к нам подсел кондуктор. Не знаю, какие сейчас в России кондуктора, в те времена это были славные ребята, вежливые, услужливые, приветливые. Еврей нас немного сторонился и кондуктор был первым русским, с которым мы могли поболтать. Мы ему обрадовались, да и он не прочь был поговорить. Дети наперерыв угощали его нашим обильным парижским запасом, слушали его, разинув рот, не спускали с него глаз. Он еще был полон забастовочными впечатлениями и волнениями и без устали описывал подробности этих исторических дней, прямым участником которых он был. Простодушная гордость мелькнула на его пригожем, веселом лице, когда я ему сказала:

— Ну, спасибо вам. Благодаря вам и таким как вы, Россия будет свободной страной. И за нас спасибо. Это вы вернули нас на родину.

Он радостно засмеялся. Почувствовал, что это сказано от всей души.

Еврей уже сидел около нас и принимал участие в разговоре. Из вопросов, которые он задавал кондуктору, было ясно, что он агитатор, вероятно митинговый оратор. Но кондуктор плохо его понимал. Агитатору почему-то не понравилось, что я сказала, что железнодорожники решили исход октябрьской забастовки и завоевали нам свободу. Поглядывая на нас через очки, он тем догматическим тоном, которым на митингах стараются сбить противника, спросил:

— Ну да, а скажите же, что это было такого, стихийного или самосознательного?

Кондуктор поймал несколько звуков, которые показались ему понятными, и сразу ожил:

— Ну как же, сами, все как есть сами сделали... Начисто сами... — и засмеялся, счастливый этими воспоминаниями.

Засмеялась и я, что они так по-разному толкуют слова и события, в которых повидимому и еврей принимал участие, с большим для себя риском. Но отношение к ним кондуктора и мое было для него не достаточно интеллигентным. Он презрительно повел плечами, отошел от нас и скоро исчез. Может быть, в другом вагоне нашел более созвучных собеседников. Не раз потом, слушая интеллигентские споры о сознательности масс, я вспоминала молодца-кондуктора и его недоумение перед маленьким пропагандистом. Кондуктор сделался участником могучего народного движения по чутью, без аналитических размышлений о стихии и сознательности. Но он отлично знал, что это они толкнули государственный корабль на новое русло. И гордился этим.

Пока мы выбирались из Парижа, папа несколько раз ездил на Варшавский вокзал нас встречать. Движение еще было расстроено. Никто не знал, когда придет поезд из Вержболова и придет ли. Мои телеграммы из Парижа только сбивали и я сама не знала, про-

скочу или не проскочу. Папа без устали, наугад ездил через весь Петербург на Варшавский вокзал, чтобы нас не прозевать. Побывал с ним на вокзале и Вильямс и потом со свойственным ему юмором рассказывал мне, как они вдвоем бродили вокруг запертого по случаю забастовки вокзала. Папа шумно, настойчиво громыхал палкой в запертые ворота. Появился сердитый сторож:

— Чего грохочете? Нешто не видите — народ бастует.

Папа его сразу оборвал и по-генеральски устроил ему разнос:

— Забастовка! Пора кончать бастовать. У меня дочь с внуками из Парижа едет. Понимаешь — из Парижа? А у вас тут толку не добиться, когда поезда приходят. Этакое безобразие!

Сторож подтянулся, посмотрел на грозного старого барина и виновато забормотал:

— Да мы что... Мы, барин, согласны... Это все комитетчики...

— То-то, согласны... Что же, будет завтра поезд из Парижа или нет? Ты понимаешь? Я дочь с внуками из Парижа жду.

Вильямс не выдержал и засмеялся. Смеялся он по-мальчишески, громко и заразительно. Папа посмотрел на него, потом тоже засмеялся. Ухмылялся и сторож, глядя на чудных господ.

На следующий день дочь с внуками приехала из Парижа. Мы увидали на пероне грузную, внушительную папину фигуру.

— Дедушка! Дедушка! — вопили дети, бросаясь ему на шею.

Он их обнимал, крестил, не замечая, что счастливые слезы катятся по его небольшой, седой бороде. Из-за него виднелась высокая, стройная фигура Вильямса, его сияющее радостью лицо.

— Наконец, — сказал он, крепко пожимая мою руку.

— Да, наконец, дома, наконец, в России...

С тех пор мы с ним уже почти не расставались.

Глава восьмая

ПОСЛЕ ЗАБАСТОВКИ

Забастовки и волнения не изменили Петербурга. Красавец-город жил попрежнему, просторно, разнообразно, обильно. Революция 1905 г. прокатилась по России, не разрушив ни ее быта, ни благосостояния, которое мы оценили только тогда, когда большевики превратили богатую страну в нищую. В 1905 г. население, и городское, а тем более сельское, осталось на своих насиженных местах. Всего было вдоволь. Цены — если и повысились, то очень мало. Масло попрежнему было 50 коп. фунт, хлеб полторы копейки, хорошая сдобная булка три копейки, мясо двадцать. Работы хватало на всех, на грамотных и неграмотных. Потрясения не остановили, а ускорили рост народного хозяйства. Подъем его начался еще в конце XIX в., но теперь он пошел быстрым ходом. Встали новые силы, влившие новую энергию в государство.

Старый строй не рухнул. Царь, двор, министерства, провинциальная администрация, армия — все осталось на своем месте. Но вихри смели насевшую пыль. Русские стали еще общительнее, все, как наш кондуктор, спешили рассказать свои переживания. Мое первое впечатление было светлое, приподымающее. Все кругом помолодело. Второе впечатление было всеобщего сумбура, так как забастовочное возбуждение еще не остыло. Подходил конец ноября. Забастовок не было, но не было и уверенности, что они не возобновятся. Пробегала дрожь, как после приступа

лихорадки. Вот, вот опять начнет трясти. Поезда катились, дымились фабричные трубы, служащие ходили в конторы, чиновники в канцелярии, рабочие на работу, но всколыхнувшаяся энергия все еще не вошла в русло.

Митинги продолжались. Первый, на который я попала, был женский митинг в Соляном Городке, устроенный Всероссийским Женским Союзом. Собрание поразило меня своей бестолковостью. С трибуны все повторяли и повторяли требования, поставленные Союзом перед забастовкой. Точно не было манифеста 17-го Октября и связанного с ним обещания созвать народных представителей. Ораторши были незнакомые. Они выдвинулись за то время, которое я провела заграницей. На меня набежала Волькенштейн, которую я встречала на литературных банкетах. Резко, точно отдавая приказ, она бросила мне:

— А, вернулись. В Союз записались?

— Нет. Никуда не записывалась. Надо оглядеться.

— Пойдемте. Я вас запишу...

И вдруг еще резче оборвала:

— Нет. Вас я не могу записать. Либералы вообще не признают женского равноправия.

Повернулась и исчезла.

Я смутно знала, вернее ничего не знала о том, что думают либералы вообще и русские в частности о женском равноправии. Я и сама над женским равноправием не задумывалась. В Париже в нашей среде этот вопрос никогда не подымался. Слишком все были поглощены большими политическими проблемами и задачами. Я не подозревала, что близок час, когда мне придется говорить немало речей, читать лекции, писать статьи, отстаивать женские права: политические, экономические, просто человеческие. Но в тот момент во мне была такая уверенность в моей равноценности с мужчинами, что мне и в голову не прихо-

дило, что надо ее доказывать. Позже, когда я по-настоящему соприкоснулась с политиками, я с удивлением и негодованием увидала, что еще многое придется доказывать.

Мой отрывистый разговор с Волькенштейн был первым проявлением сектантства, на которое я наткнулась. Я не знала, до чего резко уже выявились политические дробления и враждебные размежевания. Издали, из Парижа, все казалось более слитным. По одну сторону уходящее самодержавие, по другую мы все, его противники. На самом деле, на одной стороне с нами были одно время противники не только самодержавия, но и всякой монархии, собственности и капитализма. И, что было опаснее всего, противники мирных методов борьбы. С.-р. продолжали террор и жгли дворянские усадьбы, с.-д. старались поднять рабочих на революционные выступления. Обе партии сообща создали Совет Рабочих Депутатов, который открыто призывал к бунту. Их лозунгом было: революция продолжается.

Трудно передать словами, чем пахнуло на меня в потрясенной России, когда я вернулась в нее после восемнадцатимесячного отсутствия. Голова шла кругом. Куда приткнуться? С кем? За чем? За кем идти? Кадетская партия, с которой я позже связала свою судьбу, еще не действовала. В октябре в Москве собирался первый съезд либералов, чтобы учредить либеральную партию. Но забастовка помешала, все поспешили разъехаться по домам, пока поезда ходят. От социалистических партий я всегда была далека. Как тут разобраться? Помог мне Вильямс. Он всех и все знал и его все знали. Он стал моим неоцененным поводырем.

Еще осенью 1904 г. он из Парижа, куда поехал вслед за «Освобождением», отправился в Россию. Ему надоело рассказывать о русских делах из вторых рук,

описывать их издалека. Он предложил «Манчестер Гардиану» быть их корреспондентом в России. Без особого сожаления расстался он с «Таймсом». При его тогдашнем настроении ему больше подходило сотрудничать в либеральной газете. Вильямс еще не до конца освободился от утопического социализма Генри Джорджа. В ранней молодости он иногда называл себя анархистом, что не помешало ему два года быть пастором. Он зачитывался Толстым и Кропоткиным. На самом деле он прежде всего был христианин, крестоносец без страха и упрека, жаждавший служить правому делу. В русском Освободительном Движении нашел он то горение духа, к которому всегда стремился. Но не одна только политика интересовала его в России. Он неустанно изучал ее историю, обычаи, особенности. Чем больше ширилось его знание России, тем больше он к ней привязывался. Из всех населявших ее народов, русские были ему ближе всего по культуре, по творчеству, по духовным своим особенностям. Он наслаждался могучей прелестью русского языка. Что не мешало Вильямсу с благожелательным пониманием, книжным и жизненным, отводить в своих корреспонденциях место национальным чаяниям разноплеменного населения Российской Империи.

Редкая ясность мысли, способность быстро разбираться в обстоятельствах и в людях, дружеские связи с освобожденцами, которые открыли перед ним много дверей, умение общаться с людьми и вызывать к себе доверие, тонкий такт, знание русского языка, — все помогло ему близко подойти к кипучей, новой для него русской жизни. В Петербурге он мог наблюдать Освободительное Движение уже в русской стихии. Он окунулся в него. Он ездил в Москву, в Тверь, там побывал на земских съездах, услыхал голос передового дворянства. В Варшаве от самих поляков узнавал цели

и пути их национального движения. Вслед за Гапоном объезжал он заводы, всматривался в лица рабочих, изумлялся их детскому доверию к этому священнику, которого накануне они не знали даже по имени. День 9-го января Вильямс провел на улицах Петербурга, видел кровавые сцены и был так потрясен ими, так удручен, что поехал в Ясную Поляну. Он надеялся, что великий русский писатель, которого он с юности считал своим учителем, поможет ему разобраться в трагических противоречиях, раздиравших Россию.

Толстой очаровал его, как очаровал меня, как очаровывал всех, кто имел счастье с ним встретиться. Но уютная помещичья и писательская налаженность Ясной Поляны слишком резко расходилась с тем, что только что пережил Петербург. В ушах Вильямса еще звучали выстрелы, стоны. Он еще видел испуганную толпу, видел раненых и убитых, чувствовал, что эта кровь дымится, зовет к мщению. Даже в его кротком сердце проповедь непротивления злу уже не находила отклика. Толстой был с ним очень приветлив, но на русские события откликался глухо. Он попросил своего английского гостя перевести для него несколько писем, написанных на разных странных языках. Вильямс письма перевел. Толстой заинтересовался молодым лингвистом, убеждал его бросить журналистику и вернуться к языковедению, так как эта наука сближает людей, а журнализм их разъединяет. Вильямс был удивлен, как в такое время можно советовать оторваться от жизни, уйти в книги? Нет, не в Ясной Поляне искать разрешения катастрофических проблем. Надо самому как-то справиться с вихрем мыслой, не ожидая помощи от мудрецов, включая Толстого.

Вильямс по природе своей не поддавался унынию, верил, что добро должно победить. Такой явной победой добра был для него манифест 17-го октября. Когда я приехала, он уже оптимистически смотрел на

многое, хотя далеко не все ему нравилось. Хотелось бы видеть страну успокоенной, а возглас — революция продолжается, — показывал, что до мира еще далеко.

Когда Вильямс мне сказал, что вечером едет на заседание Совета Рабочих Депутатов, я сразу заявила:

— И я с вами.

— Хорошо. Но там могут быть всякие истории.

— Пустяки. Зайдите за мной.

Он засмеялся, но пришел. Заседания Совета Рабочих Депутатов считались закрытыми, но пресса допускалась. Уезжая из Парижа, я запаслась корреспондентской карточкой от L'Européen. Она меня в трудную минуту выручила. Я жила у старшего брата, нотариуса, на Невском, недалеко от Николаевского вокзала. Совет заседал на Забалканском, в доме Вольно-Экономического Общества. Ехать было далеко. Была зима. Извозчик, не спеша, повез нас по Владимирской, по длинному Загородному проспекту. Я наслаждалась снегом, его запахом, его детской белизной. Мы в Париже скучали без снега. Хорошо было сидеть на санках под теплой полостью, смотреть, как хлопья снега белыми бабочками вьются кругом высоких фонарей, чувствовать себя в родном городе, слышать кругом родную речь.

Я тогда совсем не говорила по-английски. Мы с Вильямсом всегда разговаривали по-русски. Я засыпала его вопросами, с жадностью ловила его точные, часто скрашенные мягким юмором ответы. Он никогда не был тем, что французы называют causeur. Он заикался. С людьми, которых он мало знал, это его стесняло. Он был очень застенчив и скорее молчалив. Но с близкими людьми говорил охотно, щедро делился своими, уже тогда богатыми знаниями, своими вдумчивыми суждениями.

До Технологического Института доехали мы спо-

койно. Дальше вид улиц начал меняться. Много городовых, местами спешенные казаки, с конями на поводу. Движение экипажей и трамваев было приостановлено, но, несмотря не вечер, тротуары были полны народом. Вильямс, еще сидя в санях, тихо сказал мне по-французски:

— Не лучше ли вам вернуться? Тут что-то затевается.

Вернуться, когда, в первый раз после эмиграции, я попадаю на события? Невозможно.

— Пустяки. Идемте.

Голубые глаза Вильямса улыбнулись мне из-под меховой шапки насмешливо, ласково. Он не возражал.

— Хорошо. Идемте. Но больше ни слова по-русски.

Мы сошли с извозчика, дошли пешком до 8-ой Роты, на углу которой стоял, надеюсь и сейчас стоит, окруженный железной решеткой небольшой домик, выстроенный еще при Екатерине II. Улица была полна полицейскими. Высокий пристав остановил нас:

— Вы куда?

— Мы иностранные корреспонденты, идем на заседание Совета.

— А эта дама?

Вильямс ответил за меня:

— Дама тоже корреспондентка французской газеты.

Нас пропустили. Большая передняя была занята полицией. Черные шинели городовых резко выделялись на белых с лепными украшениями стенах. У дверей в залу стоял караул. Решительные меры уже были приняты. Полицейский офицер отрывисто спросил нас:

— Как это вас пустили?

— Мы иностранные корреспонденты.

Офицер пожал плечами, дескать нашли кого пускать. Но дверь перед нами отворилась.

В длинной зале, где еще так недавно происходили бескровные бои между марксистами и народниками, царил беспорядок и испуг. Все выходы охранялись городовыми. Они наполняли хоры. А по зале растерянно метались члены Совета Рабочих Депутатов. Председательский стол был отодвинут к стене. Всюду валялись опрокинутые стулья. Члены Совета торопливо очищали свои карманы и бумажники, нервно просматривали, рвали в клочки письма, документы, печатные листки. Пол был усеян бумагой, как снегом. Тут же валялось несколько револьверов.

Меня поразило выражение лиц. Совет Рабочих Депутатов был одной из самочинных новорожденных организаций, которые издали представлялись стройной армией, сокрушительницей существующего строя. А тут вокруг меня бесцельно суетился не ожидавший нападения партизанский отряд. Руководителей не было. Никто не распоряжался, не давал указаний. Наше с Вильямсом появление вызвало какие-то надежды. К нам подбегали, задавали вопросы, хотели, чтобы мы объяснили, что случилось, в чем дело? Когда же их выпустят? Другие совали Вильямсу бумажки, торопливо шептали:

— Товарищ, возьмите, отдайте вот по этому адресу... Тут написано... Очень важно...

Лицо Вильямса приняло непроницаемое английское выражение. Он засунул руки в карманы:

— Нет. Я ничего не могу взять и ничего не берусь передавать.

— Ну так позвоните по этому номеру...

— И этого не могу сделать. Я иностранец.

Они поворачивались ко мне. Вильямс решительно становился между мною и членом совета.

— Эта дама тоже ничего не может сделать.

Он быстро отвел меня в другой конец залы. Дорогой нас остановил человек с резко еврейскими чертами. Я его не знала. У меня осталось смутное воспоминание, что Вильямс тогда сказал, что это Троцкий. Возможно, что в моем представлении лицо Троцкого, каким я его позже видела на плакатах, на каррикатурах, как-то связалось с воспоминаниями о первом Совете Рабочих Депутатов. Я отчетливо запомнила типичный голос митингового оратора. Он протянул Вильямсу уже не бумажки, а револьвер:

— Вы иностранец, вас обыскивать не будут. Возьмите, чтобы не досталось этим мерзавцам.

Вильямс выше закинул голову, как делал, когда его что-нибудь задевало:

— Нет.

— Да ведь пропадет. Чего вы-то боитесь? — язвительно спросил он.

Вильямс ничего не ответил, взял меня под руку и повел к дверям. Но уйти уже было нельзя. Мы были в мышеловке. Городовой загородил дверь.

— Не велено никого выпущать.

Мы вернулись в толпу. Ее забирали пачками и куда-то уводили. На наших глазах первый Совет Рабочих Депутатов кончал свои дни.

Нас, корреспондентов, оказалось пятеро. Пристав вежливо предложил нам перейти в канцелярию. Там же стоял телефон. Мы слушали его доклад градоначальнику:

— Так точно, Ваше Превосходительство. Приступлено к очистке помещения. Сопротивление? Нет, никакого сопротивления не оказано. У некоторых отобрано оружие... Слушаю-с, Ваше Превосходительство. Нет, штатских нет.

Очевидно он считал членов Совета воинской командой и хотел сказать, что, кроме них, никого не было в зале. Потом спохватился, вспомнил о нас:

— Ваше Превосходительство, тут еще пять иностранных корреспондентов. Как прикажете с ними поступить? Да, все иностранцы. Есть и дама. Француженка. По-русски не понимает.

Я не без волнения слушала этот разговор. На корреспондентской карточке я еще значилась под фамилией моего первого мужа. Только позже, явочным порядком, вернула я себе девичью фамилию. Борман, это звучало не очень по-русски. Я могла принадлежать к любой стране. По-русски я ни слова не произнесла. Но если пристав не удовлетворится беглым просмотром наших корреспондентских карточек и потребует паспорт, сразу станет ясно, что я русская и меня, вероятно, арестуют. Страшного в этом ничего не было. Никакого отношения к Совету я не имела, никого из его состава не знала. Но я опять оказалась бы отрезанной от этой удивительно русской жизни, к которой только что вернулась. Это было бы ужасно. Ведь я только что добралась до России, ведь каждый день неповторим.

Но даму, не говорящую по-русски, отпустили вместе с другими иностранцами.

— Вы свободны, — торжественно объявил нам пристав.

Мы опять прошли через залу. Она уже была пуста. Только солдаты тщательно собирали с полу рваную бумагу и наполняли этими клочками мешки. Вряд ли у охранников хватило терпения добраться до их смысла, найти преступные нити в этих ворохах рваной бумаги.

Хорошо было опять очутиться на воле, дохнуть свежим, морозным воздухом. Переулок опустел. Кое-где чернели фигуры городовых. Ночь надвинулась. Прохожих почти не было. Мы пошли пешком. Хотелось наговориться. На наших глазах перевернулась страница истории. Мы думали, что закрылась. А через две-

надцать лет советы воскресли, победоносные и страшные.

Петербургские рабочие ничем не выразили своего отношения к аресту их депутатов, которых они, хотя и беспорядочно, но все-таки выбирали. А в Москве революционная организация подняла вооруженное восстание. До Петербурга из Москвы доносились самые противоречивые слухи. Вильямс поехал туда, чтобы на месте понять, в чем дело. Оказалось, что из бунтующей Москвы не так легко посылать телеграммы. Московский революционный комитет пытался снова вызвать всеобщую забастовку, остановить движение железных дорог, расходящихся из Москвы. Ему это только отчасти удалось. Николаевская железная дорога не остановилась ни на один день, даже когда московская почта и телеграф остановились. Вильямс все-таки нашел способ отправлять свои корреспонденции. Весь день бродил он под выстрелами по Москве, натыкаясь то на баррикады, то на отряды партизан, то на казачьи разъезды. Его останавливали то те, то иные патрули. Казачий офицер остановил его, обыскал, вытащил из его кармана книгу, попробовал, при свете ручного фонаря, в нее заглянуть. Ничего не понял. Спросил:

— Это еще что за тарабарщина?

— Евангелие от Иоанна по-иллокански, — был спокойный ответ.

Казак посмотрел на сумасшедшего англичанина, который бродит между баррикадами с какими-то странными книжонками в кармане. Пожал плечами.

— Ступайте!

Вильямс сам относил телеграммы к ночному поезду. Не легко было пробираться через темный город, когда неизвестно, с какой стороны начнут стрелять. На вокзале он отыскивал проводника спального вагона,

давал ему конверт с телеграммой и пять рублей. Вторые пять кондуктор должен был получить от меня, когда доставит мне пакет. Моя обязанность была сдать статью на телеграф.

Я с утра с волнением ждала этого вестника. В Петербурге носились страшные рассказы, как всегда, преувеличенные. Говорили, что Москва горит. Полгорода в руках революционеров. Идут бои. Улицы завалены трупами. Наше воображение тогда еще содрогалось при слове — трупы. Мы еще не знали братоубийственной гражданской войны, кровопролитий, зверств. Позднейшие потрясения и преступления нас притупили. А тогда, даже читая донесения Вильямса, трезвые, но яркие, я твердила:

— Какой ужас. Это чудовищно. Надо это остановить.

Хотелось куда-то броситься, кого-то уговаривать, умолять, грозить. Найти исход, видимость действия, хотя бы в словах. Только бы не оставаться молчаливым, пассивным зрителем. Но куда пойти? С кем подумать вслух?

В переворошенной петербургской жизни я была новичок. Ни в одну газету я еще не вошла. Но Милюков был редактором «Биржевых Ведомостей». Это была бойкая газета, без определенного политического направления. Когда манифест 17-го октября изменил положение печати и еще больше изменил общественное мнение, хозяин Биржевки, Пропер, решился на поступок для него очень смелый. Он пригласил Милюкова в редакторы. Сотрудничество тяжеловесного кабинетного историка, который никогда не был журналистом, с шустрым, по-своему даровитым газетчиком, хорошо приноровившимся ко вкусам среднего читателя, не могло быть прочным. Насколько помню, эта комбинация продолжалась несколько недель. Но как раз во время московского восстания Милюков заседал

на редакторском кресле Биржевки. Я ворвалась в его кабинет.

— Павел Николаевич, это ужасно. Надо что-то сделать.

Он развел руками.

— Конечно, ужасно. Но что же мы можем сделать?

— Напишите передовую. У вас ни одной статьи о восстании не было.

Он расправил редкие, светлые усы, что у него было признаком раздумья, и медленно сказал:

— А что же писать? Я считаю, что восстание будет раздавлено, что это сплошное безумие. Но я не могу этого сказать повстанцам. Это смогут счесть за осуждение. Мы не можем играть в руку правительства.

— Но ведь и в стороне остаться не можем.

Я еще очень цельно, без критики относилась к тем, кто боролся за свободу. Для меня Милюков был свой. Но он меня смутил. Что он говорит? Неужели он может остаться безучастным к этой бойне? Если он считает, что повстанцы будут разбиты, то надо убеждать их скорее прекратить борьбу, не приносить бесполезных жертв. Я ему это сказала. Он внимательно посмотрел на мое возбужденное лицо.

— Хорошо. Берите стул. Садитесь рядом. Попробуем вместе сочинить передовую.

Очень хотелось бы мне теперь перечесть эту передовую, этот наш призыв к обеим сторонам прекратить то, что по нашим тогдашним масштабам казалось чудовищной бойней. Это был единственный случай моего литературного сотрудничества с Милюковым. Позже мне не раз приходилось вместе с ним думать вслух, но уже не вдвоем, а вместе с целой товарищеской коллегией.

Московское восстание было быстро подавлено.

Вильямс вскоре вернулся жив и невредим, но умудренный новыми, трагическими наблюдениями.

Сразу после восстания был издан, еще раньше составленный избирательный закон для Государственной Думы. Среди всеобщего опьянения и возбуждения его не оценили даже те, кто так страстно домогался народного представительства. Всего только Государственная Дума, избранная даже не на основании четыреххвостки, когда все кричали, что установить новый строй может только Учредительное Собрание. Социалисты объявили Думе бойкот, постановили в нее не идти. Либеральное крыло оппозиции, земцы и освобожденцы, тоже резко критиковали избирательный закон, но в Думу решили идти. Стали готовиться к выборам. Для этого необходимо было создать партию, объединить силы. В начале января 1906 г. назначили в Петербурге организационный съезд первой в России открытой партии. Бурный 1905 г. кончился для одних под лозунгом «революция продолжается», для других под знаком Государственной Думы.

Среди всех политических домогательств, волнений, буйств, уступок, мечтаний, разочарований повседневная, обыденная жизнь шла своим ходом, у одних более, у других менее складная и удачная. Россия оставалась землей обильной. Не было и в помине тех бедствий, которые должна была принести социалистическая революция 1917 г. В частности положение интеллигенции, которая громче всех, с пламенной настойчивостью кричала о нестерпимом гнете самодержавия, о том, что так дальше жить нельзя, было несравненно лучше положения безденежной интеллигенции на том западе, который нам всегда ставили в пример.

В России был большой спрос на образованных

людей. Русская молодежь, окончив высшую школу, сразу становилась на ноги, была обеспечена хорошим заработком. Горькой интеллигентской безработицы, через которую с трудом пробирались дипломированные французы, англичане, немцы, русские почти не знали. И положение писателей ко времени моего возвращения из эмиграции очень изменилось. Народились новые газеты, журналы, издательства. Появились тучи новых тем, полчища новых читателей. Взбудораженное событиями население впитывало в себя всякое печатное слово, как земля после засухи впитывает дождь. Спрос на журналистов, писателей, каррикатуристов был еще небывалый.

Эти перемены я и на себе ощутила. Перед эмиграцией я пропадала от безработицы. Из Парижа мне тоже некуда было писать. Если нехватало того, что присылал детям их отец, я вынуждена была просить помощи у «Освобождения». Вернувшись на родину, я не была уверена, смогу ли зарабатывать на троих. Но все и кругом меня и во мне самой изменилось. Вынужденное бездействие не заморило моих писательских способностей. Я многому научилась, точно побывала в университете. Европейская жизнь, новые люди, новый опыт, толчки, приходившие из России, постоянное общение с кругом людей думающих, фейерверк мыслей, вылетающих из взлохмаченной головы Струве, — все это раздвинуло мой кругозор.

Когда я снова начала писать, я это почувствовала. Двери в первую редакцию передо мной отворил Амфитеатров. Когда я жила в Ярославле, он был ссыльным в Вологде и оттуда с интересом и одобрением следил за моими статьями в «Северном Крае». Мне, конечно, благосклонность талантливого и опытного журналиста доставляла большое удовольствие. В Париже мы с ним встретились как старые знакомые, хотя раньше никогда не видались. Он был блестящий

собеседник и я любила позубоскалить с ним. В нем не было ни тени догматизма, чего нельзя сказать о многих, с кем мне приходилось в Париже встречаться. Амфитеатров при первой возможности стремительно выкатился из Парижа и стал влиятельным сотрудником газеты «Русь», которую издавал в Петербурге Алексей Суворин, сын хозяина «Нового Времени». Родство с этим «одиозным органом», как чаще всего величали эту газету, было невыгодно для новой газеты, хотя она велась в другом духе и всецело поддерживала конституционные идеи. Амфитеатров, правая рука Алексея Суворина, старался втянуть сотрудников слева, имена и писания которых заставят забыть, что Суворин сын своего отца.

Характер у сына был иной, чем у отца. У него не было ни отцовской решительности, ни его чутья и таланта. Трудно было понять, в чем он разделял, в чем не разделял взглядов своего отца. Мысли у него были сумбурные, в политике он был человек невежественный. Он все расспрашивал меня, есть ли разница между с.-д. и с.-р. и если есть, то в чем она состоит? Между тем обе партии уже занимали большое место в общественной жизни, открыто, и печатно, и устно, излагали свои программы, вели пропаганду, выступали на собраниях. А Суворин все еще не знал, кто они такие? Но это не мешало ему быть приятным, покладистым редактором. Это чего-нибудь да стоит.

Я в «Руси» могла писать, о чем мне вздумается. Раз в неделю я заполняла так называемый подвал, то-есть нижний этаж второй страницы. За это мне платили 300 рублей в месяц. Еще никогда не была я такой богатой. Этих денег нам с детьми вполне хватало. Я очень была благодарна Амфитеатрову, что он избавил меня от поисков работы, всегда томительных.

Сговорившись с Сувориным, я уже могла спокойно ехать на Вергежу, провести Рождество в старом до-

ме, среди обычных святочных забав. От семьи, от Вергежи на меня пахнуло теплом. Я озябла в Париже. Пора было согреться. Моя бродячая, неустоявшаяся жизнь не могла не тревожить моего отца, мою мать. Но она никогда во мне не сомневалась, считала, что я иду по правильной дороге, читала меня с неизменным вниманием. Все это она говорила не столько словами, сколько улыбкой, взглядом красивых, нестареющих глаз.

И папа уже примирился с моей свободной жизнью, следил за ней с благожелательным любопытством. Его занимало, что его дочь Дина принимает какое-то участие в событиях, от которых у всей России кружится голова. Он приветствовал учреждение Государственной Думы, как за полвека перед тем приветствовал реформы Александра II. Он был особенно доволен тем, что, наконец, будут публично рассматриваться государственные доходы и расходы, что бюджет будет утверждаться выборными людьми при полной гласности. Я значение и политическую значительность бюджетных прений поняла только два года спустя, когда мне пришлось, как журналистке, давать о них отчеты. До этого папу вряд ли удовлетворяло мое очень смутное отношение к бюджетным правам Государственной Думы. Ему было несравненно интереснее обсуждать их с Вильямсом, который приехал со мной. Это было его второе Рождество на Вергеже. В первый раз он навестил мою семью, когда я была еще эмигранткой, и сразу подружился со всеми тремя поколениями. Мои маленькие племянники также бесцеремонно вешались на него, как это делали в Штутгарте Струвенята, как это делали с ним дети повсюду.

Рождество — это детский праздник. Подарки, катанья, ряженые, елки, одна в господском доме, другая в школе. Я из года в год устраивала школьные елки для деревенских ребят. Это и для меня самой

было большое развлечение. Весело было выбирать в магазине Дойникова, в Апраксином ряду незатейливые украшения и бомбоньерки, полтора рубля за сотню. Наполненные шоколадными лепешками и леденцами, блестя серебряной и золотой бумагой, эти барабаны, коробочки, мешочки волновали сердца детей и матерей. К ним в придачу давался еще узелок с пряниками, яблоками, орехами. И все это на 60 школьников обходилось немногим больше 30 рублей.

Ярче елочных звезд и свечей горели глаза детей, весело вился их хоровод вокруг украшенной огнями елки, а вместе с деревенскими ребятами носились по просторной классной комнате и наши дети. Папа выстроил школу на нашей земле, около самого въезда в деревню. До этого на Вергеже не было школы и детям приходилось или кое-как учиться у бродячих, полуграмотных учителей или пробираться через Волхов в приходскую школу на Высоком. Многие так и оставались неграмотными. Ходить было далеко, обувь крепкая была не у всех. Когда папа подарил земству участок земли и построил на нем школьное здание, где была и квартира для учителя, и столярная мастерская, то в Вергежскую школу стали ходить дети из трех окрестных деревень. Благодаря этому кругом Вергежи не оставалось неграмотных детей.

Недолго пробыла я в деревне. Торопилась в город, писать для «Руси», устраивать квартиру. Торопилась, чтобы чего-нибудь не пропустить. Все кругом торопились, все ждали еще и еще событий, хотели за ними следить, в них участвовать, как-то проявиться, к чему-то примкнуть. Торопливость стала характерной чертой интеллигентской жизни. До 1905 г. мы брели. Потом сорвались и побежали. Только что начали приходить в себя, грянула война 1914 г. Вслед за ней разразились рожденные ею катастрофы. Опять пришлось бегать, но иначе.

В наступающем 1906 г. некогда было опомниться, надо было наверстывать потерянное время, одним махом проделать то, что было раньше недоступно в общественной и политической работе. Это одним махом ни делу, ни каждому из нас пользы не принесло. По крайней мере я по себе знаю, что моя жизнь прошла бы производительнее, если бы я временами останавливалась, оглядывалась, вдумывалась. Да и не только личные, но и общие усилия обесценивались тем, что все делалось с налета, впопыхах. Но где ж тут медлить? Россия не ждет. Мы воображали, что направляем корабль, а на самом деле нас несло весеннее половодье.

Глава девятая

ПРЕДДУМЬЕ

В январе 1906 г. в Петербурге состоялся первый съезд Кадетской Партии. Это было событие в политической жизни России. Либеральные идеи давно носились в воздухе. Первые семена либерализма были посеяны еще Екатериной II, внимательной почитательницей Монтескье. В ее по тогдашнему времени просвещенном, гуманном абсолютизме уже были зачатки позднейшего русского либерализма. Ее блестящий, до сих пор неразгаданный внук Александр I принялся было выращивать эти всходы, потом остыл. Не смог? Не захотел? Сбили вихри наполеоновских войн и не угасающие искры революций? Или просто история была против него? Не настало для России время? Кто знает? Во всяком случае после Александра I, в течение тридцатилетнего царствования его брата Николая I, либерализм был в опале, считался преступлением. Но это не остановило ни роста либеральных идей, ни, что особенно удивительно, воспитания людей, способных их осуществить. Эти идеи сразу вскрылись,

расцвели, когда на престол вступил Александр II. Царь Освободитель не только раскрепостил крестьян, но ввел судебную и земскую реформу, переменил весь административный уклад, и для этого дела нашел помощников даровитых и вдумчивых. Среди вынужденного затишья Николаевского царствования незаметно складывались характеры, выявлялись понятия о гражданских обязанностях, воспитывались кадры просвещенных деятелей и политически мыслящих людей. Они годами, в замкнутых дружеских кружках обдумывали необходимые реформы и когда явилась возможность действовать, помогли молодому царю провести в жизнь намеченные им коренные преобразования. Но часть общества нашла реформы недостаточными. Радикалы хотели добиться от правительства народного представительства. Судя по тем проектам, которые двадцать лет спустя Александр II поручил Лорис-Меликову разрабатывать, эти домогательства отчасти могли бы и осуществиться. Александр II не испытывал такого органического отталкивания от выборного начала, как его отец, как позже его сын, Александр III. 1-го марта 1881 г. Александр II подписал приготовленный Лорис-Меликовым проект учредить две комиссии для рассмотрения финансовых и административных преобразований. В них, кроме чиновников, должны были войти выборные от земств и городов. В тот же день царь был убит революционерами. Его преемник, Александр III, не хотел предоставлять выборным людям какое бы то ни было участие в государственных делах. На время ему удалось обессилить оппозицию, притушить конституционные надежды. Зато его сыну, Николаю II, пришлось царствовать среди непрерывных политических волнений. Он был вынужден пойти на уступки, но делал это медленно, с колебанием, с опозданием. Через одиннадцать лет после своего вступления на престол, 17-го октяб-

ря 1905 г., он издал манифест, который давал русскому народу политические права. Вслед за этим 12-го декабря того же года было опубликовано Учреждение о Государственной Думе. Это было исполнение обещаний, высказанных в октябрьском манифесте. Наконец, осуществлялось то, к чему стремилось несколько поколений русских образованных людей. Весной народное представительство должно было приступить к работе. Но парламент без партий мертворожденное дитя. А партий не было. До 17-го октября учреждать партии считалось государственным преступлением. В подполье действовали две конспиративные организации: с.-д. и с.-р. Они называли себя партиями, на самом деле это были тайные кружки революционных заговорщиков, которые не считали себя обязанными отчитываться перед общественным мнением, даже не видели в этом нужды.

Не было даже правых партий. Хотя, конечно, были сторонники неограниченного самодержавия. Они были недовольны последними манифестами Государя, были противниками Государственной Думы. Но правые не были сплочены в партию. После издания манифеста 17-го октября был наскоро сколочен Союз Русского Народа. Признаюсь, я за его рождением не следила, им не интересовалась, из кого он состоял не знаю. У Союза не было влияния, не было видных вождей и, что, может быть, удивительнее всего, не было средств. Не находили для себя почвы и умеренные конституционалисты. Слишком еще ярко пылали костры оппозиции. В них подбрасывали хворосту и революционеры и либералы. Связь между ними еще далеко не была порвана, но уже все резче сказывались расхождения. Умеренные социалисты, которые состояли в Союзе Освобождения, не видели больше нужды оставаться попутчиками либералов. Рьяная «освобожденка» Е. Д. Кускова, обдавая собеседника настойчи-

вым, властным взглядом красивых серых глаз, твердила, что с освобожденской программой нельзя «подойти к массам». Эту фразу я от нее слыхала часто и на разных перекрестках русской политики. Ей, бедной, так и не удалось стать водительницей масс, но на некоторых городских интеллигентов ее волевой напор производил впечатление. Около нее всегда было несколько человек, которых она держала под началом. От нарождающейся кадетской партии она оттянула некоторых возможных попутчиков слева. И прежде всего своего мужа, С. Н. Прокоповича, хотя по складу своего смирного ума он больше годился заседать с нашими кадетскими профессорами, с ними вместе производить свои невинные, а порой и наивные статистические выкладки.

Отход части освобожденцев произошел еще на съезде в Москве, когда благодаря забастовке образование либеральной партии было отсрочено. Приходилось выжидать, чем кончится всенародное движение, вернее всенародная остановка жизни. После манифеста 17-го октября положение стало ясным. Народное представительство будет созвано. Освободительное Движение победило. Самый термин этот сразу устарел, стал все реже и реже употребляться, заменился для одних словом оппозиция, для других более крепким выражением — революция. И либералы, и революционеры стали готовиться к выборам, но поразному. Либералы принялись создавать партию, которая должна была осуществить еще небывалое в России дело — провести выборы в первый русский парламент. Надо было утвердить программу, выработать платформу, наметить кандидатов, расширить круг единомышленников, снабдить партию финансами, узнать друг друга, сговориться, спеться. Сколько задач и все спешные. Конституционно-демократическая партия, которая в январе 1906 г. родилась на петер-

бургском съезде, сразу с большим подъемом за них взялась.

Вспоминая этот трехдневный съезд, я прежде всего вижу легконогого, летающего Д. И. Шаховского. Он всюду поспевал и многое подготовил. Он всех знал и его все знали. Он сближал людей, намечал их будущее место в партии. Он смеялся, сыпал шутками, быстрыми, неожиданными, меткими. Было в нем такое горение, такая подлинность гражданского пафоса, такая вера, что, даже вспоминая эти дни, моя душа светлеет.

Полукруглый амфитеатр Тенишевского училища, где происходили заседания, был переполнен. Люди съехались со всей России. Живописно выделялся крупный широкоплечий Караулов, бывший политический каторжник, замешанный, насколько помню, в террористических делах, превратившийся теперь в конституционалиста. Он предлагал назвать еще неокрещенную партию партией Народной Свободы. Его речь была одной из первых политических речей, на которую я отозвалась всем сердцем. К сожалению, его предложение не прошло. Его отвергли книжники. Они выдумали тяжеловесную, из двух иностраных слов сложенную этикетку — конституционно-демократическая партия. Это была выдумка горожан, потерявших чутье к русскому сло́ву, или никогда его не имевших. Во всяком случае с таким громоздким, не-русским названием «подойти к массам» было не легко. Магия слова много значит, не только в поэзии, но и в политике. Правда, название партия Народной Свободы все-таки как-то самочинно сохранялось, иногда употреблялось, а длинное нерусское название скоро было в упрощенном порядке сокращено. На избирательных собраниях мы превратились в кадэ, потом стали кадетами. Но то, что вместо понятного и привлекательного русского названия, главари предпочли окрестить

себя двумя иностранными прилагательными, было для партии характерно. В ней были люди от земли, привыкшие слышать вокруг себя неиспорченную, крестьянскую русскую речь, но было в ней не мало кабинетных начетчиков, правоведов, горожан. Из этих двух элементов партия должна была создать один политический сплав.

О программе на съезде спорили мало. Она была заранее обдумана, подробно обсуждена на местных совещаниях, на земских съездах, не раз была подробно изложена в «Освобождении». Об этой программе по всей России толковали за самоваром. Она обеспечивала гражданам все права и свободы, охватывала все отрасли русской жизни, отвечала самым последним изобретениям либерального государствоведения, книгам самых передовых профессоров. И вся эта премудрость скреплялась авторитетом лучших русских ученых юристов. Кому, как не им, знать, какая должна быть конституция самого последнего образца? А России именно такая и нужна, — самая ученая, самая свободная, самая модная.

Хотелось бы мне сейчас заглянуть в отчеты этого съезда, чтобы проверить, прозвучал ли среди нас хоть раз голос предостерегающего мыслителя, напомнил ли кто-нибудь в этом собрании людей горячо, искренне преданных общему благу, что население России еще не может осилить всей сложности государственных задач, не может понять их. По-моему такого трезвого смельчака не нашлось. Я не могла бы забыть его голоса. Если и были возражения против программы, то это была критика слева, требования все бо́льшего нажима на правительство, стремление увеличить права Государственной Думы, расширить избирательные права всех народов России. Их еще называли слитным именем инородцы. Они сразу потянулись к либералам, которые, задолго до Вильсона,

провозгласили право национальностей на самоопределение.

На съезде красочным пятном выделялась группа мусульман. Некоторые из них были в ярких халатах, в расшитых золотом тюбетейках. Это были волжские татары. Их разыскал и привел Шаховской. Не все члены татарской делегации хорошо понимали по-русски, вряд ли могли они следить за быстрым потоком слов, сыпавшихся с привычных уст наших юристов, тем более, что русские речи ораторов пестрели иностранными терминами. Лидером татар был молодой Юсуф Акчурин, сын богатого казанского купца. Он учился в русской гимназии, по-русски говорил не безошибочно, но бегло. Позже Акчурин перебрался в Стамбул и, благодаря гимназическому образованию и некоторым общественным навыкам, привезенным из России, занял видное положение среди младотурок и панисламистов.

Акчурин вместе с Милюковым подстрекнули меня на мою первую публичную речь, если не считать моего выступления в Судебной Палате, где я говорила при закрытых дверях, не при народе. Раздразнили они меня своим отношением к правам женщин. Священная, похожая на заговор, формула — всеобщее избирательное право прямое, равное, тайное, без различия национальностей, — была принята в Москве на незаконченном съезде. Там же была сделана попытка вставить — без различия пола. Поднялись споры. Далеко не все были согласны признать за женщинами политические права. Одним из самых упорных противников женского равноправия оказался Милюков. Одной из самых страстных защитниц, его жена — Анна Сергеевна Милюкова. Между ними в Москве произошел открытый бой, кончившийся вничью. Все-таки женское равноправие вскочило в либеральную программу одним боком, как примечание к па-

раграфу об избирательном праве, как дополнение допустимое, но не обязательное.

Я не берусь объяснить, почему Милюков упирался. В то время вопрос о женском равноправии, в прогрессивном общественном мнении, был уже как будто разрешен. А вот он, правоверный радикал, вопреки своему обыкновению, не пошел по равнодействующей, а занял очень резкую, антифеминистическую позицию. Может быть, отчасти потому, что, как большой любитель женского общества, он боялся, что политические будни помрачат их женское обаяние.

Возражая против введения женского равноправия в программу, Милюков указывал на отсталость русских крестьянок, на их малограмотность и неподготовленность к политической жизни. Женское избирательное право вызовет недовольство среди крестьян, не привыкших смотреть на женщину, как на равную. Для партии это будет невыгодно, уронит ее в глазах многих, оттолкнет от нее.

Я слушала его с недоумением, которое быстро перешло в негодование. Раньше я не задумывалась над женским вопросом, не читала ни Бебеля, ни его верной последовательницы Лили Браун, двух самых популярных тогда пропагандистов женских прав. Вообще ни одной книги о положении женщин не прочла. Все это я проделала позже, когда пришлось читать лекции и писать статьи о женском равноправии. Но мне и в голову не приходило, что образованный человек, видный либерал, может отрицать мою с ним равность. Я совершенно твердо, без всяких колебаний, чувствовала себя не лучше, но и не хуже мужчин. Они могли быть умнее, но могли быть и глупее меня, даровитее и менее даровиты, чем я, более или менее меня образованы. Но не в этом дело, а в том глубоком ощущении себя как человеческого существа, которое хочет участвовать в жизни, в ее строи-

тельстве, иметь право голоса, суждения и осуществления этого суждения. В России до манифеста 17-го октября мужчины и женщины равно не имели политических прав. Быть может, благодаря этому в русском образованном классе не было такой стены между мужским и женским миром, как в Европе. Мы вместе мечтали о свободе, о правах и обязанностях гражданина, вместе их добивались. Как же теперь, на полдороге, выбросить женщин из длинного списка прав для всех, всех?

Моя голова кипела. Еще горячее раскипалось мое сердце. Все во мне взрывалось. Но что делать? Милюкову возражали, но как-то слабо, неуверенно. Сумею ли я сказать крепче? Могу ли я публично излагать мысли, да еще не выношенные, заранее не обдуманные, внезапно хлынувшие в душу?

Рядом со мной сидел Вильямс. Его так привыкли видеть на всех собраниях и съездах оппозиции, что казалось вполне естественным, что англичанин, журналист сидит не на местах для прессы, а среди делегатов. Я шепнула ему:

— Я сейчас попрошу слова.

Он с опаской взглянул на меня, потом лукавое одобрение мелькнуло в его улыбке.

— Отчего же нет. А вы знаете, что будете говорить?

Я пожала плечами. По моему лицу он видел, что я набираюсь сил для прыжка. К счастью, раньше меня прыгнул казанский делегат Юсуф Акчурин. После Милюкова он неторопливо взобрался на кафедру и с восточной важностью заявил:

— Мы, мусульмане, против женского равноправия. Так не полагается ни по нашему закону, ни по нашему обычаю. Наши женщины не желают равноправия. Если вы вставите в вашу программу, что и

женщины должны голосовать, тридцать миллионов мусульман не дадут вам своих голосов. Я против.

Действительность не оправдала его мрачного прорицания насчет мусульманских голосов, но слова его звучали гордо. А Милюков, слушая такого опасного единомышленника, с досадою расправлял усы.

Стремительно взобралась я на кафедру, стараясь не замечать сотен глаз, с любопытством уставленных на меня. Некоторые делегаты, может быть, читали мои статьи в «Вопросах Жизни». Другие знали меня по отчету о моем судебном процессе, напечатанном в «Освобождении». Но для большинства я была новенькая. Последние, бурные полтора года, когда люди легко выдвигались, встречались, сближались, я провела в Париже. Я еще не заняла своего места в рядах. Я это сознавала, но что поделать? Промолчать я не могу. Не хочу. Я должна ответить и татарину и профессору.

И я ответила. Я сказала, что нельзя русских женщин равнять по мусульманкам. Надо сделать обратное, прояснить сознание мусульман, поднять их женщин до нашего уровня, а не нас тащить вниз. Как можно говорить о всеобщем голосовании, о демократических началах, отбросив половину населения?

— Вы говорите, бабы не подготовлены. А разве мужики подготовлены? Да и вообще, кто подготовлен? Всем придется учиться: и нам, и вам. Участвуя в Освободительном Движении, русская женщина доказала свою зрелость. Политические права пока даны только мужчинам, но ведь борьбу вели вместе, вместе шли в тюрьму, иногда и на эшафот.

Я говорила недолго, но мой жар пробежал по рядам. Впервые почувствовала я те токи, которые идут от слушателей к оратору, услыхала аплодисменты, увидала, как от моих слов меняется выражение лиц, вспыхивают в глазах искры. Это было хорошее чувство.

Я поняла, что говорить публично совсем не страшно, не может быть страшно, если есть мысли и потребность передать их другим.

Вслед за мной взошла на кафедру А. С. Милюкова. Она сияла от удовольствия, что нашла такую горячую единомышленницу, что съезд дружными рукоплесканьями выразил свою поддержку моим мыслям, которые были и ей близки, дороги. Ей оставалось только повторить то, что она говорила в Москве, и скрепить мои доводы. Она это сделала со своей обычной деловитостью, но с необычным для нее жаром. Павел Николаевич слушал, слегка улыбаясь. И члены съезда не могли удержать улыбок, наблюдая этот поединок между мужем и женой.

Нам на подмогу выступила и русская юридическая наука, в лице профессора Л. О. Петражицкого. С изысканной ясностью изложил он основные доводы за женское равноправие. Получив такого ученого единомышленника, мы были уверены в успехе. После него и менее заметные делегаты поддержали нас. Общими усилиями мы вытащили русскую, а вместе с ней и мусульманскую женщину из незаметного примечания мелким шрифтом, под строкой, внизу страницы, и торжественно водворили ее в кадетской программе на заслуженное место. Сколько потом эти неуклюжие слова «без различия пола» порождали более и менее остроумных выпадов и шуток на митингах и в Государственной Думе!

В новых условиях жизни мне пришлось потом крепче задуматься над женским вопросом. На съезде я только была удивлена, что он вызвал такое столкновение мнений, когда во всем остальном, не исключая несравненно более жгучего аграрного вопроса, голоса сливались в уже спевшийся хор.

Моя неожиданная стычка с сильным противником была только одним из эпизодов моего первого,

деятельного соприкосновения с политической дружиной, готовящейся в парламентский поход. Съезд быстро промелькнул, но мы успели построиться в ряды. Первый съезд был озарен верой в себя, в свои силы, в неограниченные возможности, которые народное представительство открывало перед Россией. Это было собрание победителей, пробивших брешь в самодержавной крепости. Это сознание победы придавало съезду праздничный характер, помогало организаторам провести намеченную программу. С первых же шагов сказалась товарищеская дисциплина, которой отличались кадеты. До съезда трудно было угадать, сумеют ли спеться эти люди, съехавшиеся со всех концов огромной страны для такого непривычного, ответственного дела, как создание политической партии. Шаховской, главный вербовщик, лично знал всех делегатов. Но и он не совсем был уверен, какую смесь даст это сборище. Толпа легко вырабатывает настроения, несходные с психологией каждого отдельного человека.

Все прошло отлично. В последний день съезда Шаховской, пролетая мимо меня, с торжествующей улыбкой объявил:

— Ну, слава Богу! Донесли драгоценный сосуд...

Такую же радость я видела на многих лицах. И от всей души ее разделяла. В этой праздничности мы прожили до созыва Думы, до Таврического Дворца. Партия была построена. Либеральная мысль могла не только высказываться, но и претворяться в действия, — законодательствовать. Либералы сомкнутым строем могли повести избирательную кампанию. В первый раз за тысячелетнюю жизнь России население получило возможность через своих избранников участвовать в выработке законов. Немудрено, что у новоиспеченных политиков кружилась голова.

На съезде, созванном среди не остывшей лихо-

радки забастовок и революционных волнений, нарушавших течение жизни, ясно определился состав и психология только что образовавшейся партии. Большинство членов, как тогда вошли в партию, так и оставались в ней до конца. За все существование партии в ней не было ни дробления на фракции, ни болезненных внутренних разногласий. Люди сошлись не случайно. У них были сходные политические взгляды и, что не менее важно, родственные политические темпераменты, которые не всегда совпадают с личным темпераментом. Была общность культурных привычек. В кадеты шли верхи русского образованного общества. Это не раз, во всеуслышание провозглашали наши противники слева и справа. Один из самых умных и страстных наших противников П. А. Столыпин в разговоре с Маклаковым назвал кадет «мозгом страны».

Состав партии был двоякий. Ее ядро, ее первую, основную ячейку составляли помещики: Шаховские, Долгорукие, Родичевы, Мухановы, Свечины, Петрункевичи. К ним примкнула разночинная городская интеллигенция. Среди профессоров, адвокатов, врачей были люди всех классов, но многие из них тоже были дворяне. Классовые определения не имели значения. Никому не могло прийти в голову выставлять свое дворянство на вид. Это просто было бы смешно. Кадеты были государственные идеалисты, верили, что Россию можно перестроить по безукоризненному образцу. Они не отстаивали интересов какого-нибудь класса, меньше всего дворянского. Их аграрная программа это достаточно ясно подтверждает. Стремясь демократизировать власть, они совершенно забывали, что они сами, как господствующий класс, составляют часть власти, которая издавна принадлежала их предкам. Власть — это самодержавие и только. Это жадный узурпатор, не желающий делиться с гражданами

правом участия в законодательстве и в управлении государством. В течение десятилетий в передовом дворянстве отмирало классовое сознание. Это вносило благородный, рыцарский оттенок бескорыстия в их жизнь и деятельность. Но для России, может быть, было бы выгоднее, безопаснее, если бы дворянство крепче держалось за свою руководящую роль, яснее сознавало свое значение для культуры. На тех дворян, у которых такое сознание было, смотрели, в лучших случаях, с усмешкой. Дворянская фуражка с красным околышем, которую еще иногда носили помещики в глухих местах, многим представлялась символом захолустной заносчивости, дикости, отсталости.

Но и среди просвещенных дворян были такие, которые гордились заслугами своего сословия. Они, так же, как Пушкин, помнили, какое место занимали их предки в развитии Российской Державы. Некоторые дворяне находили, что жизнь еще не приготовила для них смены, что им еще рано уходить со своего поста. Их отпугивала кадетская аграрная программа с принудительным отчуждением помещичьих земель в пользу крестьян. Они считали, что исчезновение старых дворянских гнезд обеднит Россию. В преддумьи эти редкие голоса были мало слышны. Позже они громче прозвучали и в Государственной Думе и в Государственном Совете. В 1906 г. их еще заглушало бушующее, наступательное общественное мнение, на которое кадеты имели немалое влияние.

Кадеты и после манифеста 17-го октября продолжали оставаться в оппозиции. Они не сделали ни одной попытки для совместной с правительством работы в Государственной Думе. Политическая логика на это указывала, но психологически это оказалось совершенно невозможно. Мешала не программа. Мы стояли не за республику, а за конституционную монархию. Мы признавали собственность, мы хотели со-

циальных реформ, а не социальной революции. К террору мы не призывали. Но за разумной схемой, которая даже сейчас могла бы дать России благоустройство, покой, благосостояние, свободу, бушевала эмоциональная стихия. В политике она имеет огромное значение. Не остывшие бунтарские эмоции помешали либералам исполнить задачу, на которую их явно готовила история — войти в сотрудничество с исторической властью и вместе с ней перестроить жизнь по-новому, но сохранить предание, преемственность, тот драгоценный государственный костяк, вокруг которого развиваются, разрастаются клетки народного тела. Кадеты должны были стать посредниками между старой и новой Россией, но сделать этого не сумели. И не хотели. Одним из главных препятствий было расхождение между их трезвой программой и бурностью их политических переживаний.

За долгие годы разобщения между властью и наиболее деятельной частью передового общественного мнения накопилось слишком много взаимного непонимания, недоверия, враждебности. Правительство и общество продолжали стоять друг против друга, как два вражеских лагеря.

Русская оппозиция всех оттенков боялась компромиссов, сговоров. Соглашатель, соглашательство были слова поносительные, почти равносильные предателю, предательству. Тактика наша была не очень гибкая. Мы просто перли напролом и гордились этим. В то же время программа кадет была несравненно умереннее социалистических, за что мы слева неизменно терпели поношение. Это нас нисколько не смущало. Свою программу мы от чистого сердца целиком отстаивали от правых и левых нападок.

Одной из главных государственных задач того момента было отделить назревшие государственные потребности от разбушевавшихся политических стра-

стей. Этого ни правительство с его давним государственным опытом, ни оппозиция сделать не сумели. Русская интеллигенция все еще упивалась негодованием и себя обуздывать не желала. В этом грехе повинны и социалисты, и либералы. Духом непримиримости были одержимы не только руководители, но и избиратели. Это взвинчивало ораторов на выборах. А позже, в Думе, обессилило кадет, толкало их на ложный путь. Но такая же непримиримость ослепляла и правящие круги. Они тоже не проявили никакой благожелательности, никакой потребности сговориться, вместе с общественностью подумать, чем должна быть Государственная Дума, как она должна работать.

В результате в Думу все шли как на бой. Вместо того, чтобы думать о предстоящей общей государственной службе, о государственном строительстве, думали о том, как больнее уязвить противника. А ведь вокруг выборов сосредоточилось все, что было в стране сколько-нибудь живого. Очень показательно для общего настроения, что во время выборов правых не было слышно. Они были отброшены, смыты наводнением. В провинции сторонники неограниченного самодержавия наскоро сплачивались, устраивали где манифестации, где погромы интеллигенции, печатали малограмотные листки, посылали верноподданнические телеграммы. Но все это было бездарно, слабо, худосочно, совершенно не соответствовало мощи той исторической власти, которую крайние правые мечтали сохранить во всей ее самодержавной цельности. Н. Н. Львов, бессменный депутат всех четырех Дум, от Саратова, очень забавно рассказывал, что только что созданный в Саратове отдел Союза Русского Народа был настолько беден людьми, что председатель прибежал к Львову и у этого заведомого либерала, представителя ненавистной им кадетской партии, попросил

в долг несколько рублей на отправку царю верноподданнейшей телеграммы.

— Я, конечно, дал! — с хохотом добавлял Николай Николаевич.

В Петербурге на избирательных собраниях правые не выступали. У них не было ораторов, почти не было образованных людей, им было не под силу спорить с кадетами и социалистами. Вокруг них не было той просвещенной питательной среды, которая окружала партию Народной Свободы с первых дней ее рождения. Избиратели и посетители митингов не отзывались не только на призывы защитников уже надломленного неограниченного самодержавия, но даже на доводы умеренных конституционалистов, сплотившихся в Союз 17-го октября.

На избирательную кампанию наложили особую печать социалисты. Они в ней участвовали не для того, чтобы проводить своих кандидатов, а для того, чтобы убеждать избирателей бойкотировать Государственную Думу, ни за чьих кандидатов не голосовать. Такую директиву дали партийным социалистам их комитеты. Но в России было много расплывчатых беспартийных социалистов. Они в Думу идти хотели и в избирательной кампании приняли живейшее участие. За этими индивидуальными кандидатами не было никакой организации. А все-таки при общем разброде и левизне они имели успех.

Но выборы в Первую Думу вели организованно, дисциплинированно, на европейский манер только кадеты.

Когда я пытаюсь подробнее восстановить эти головокружительные первые месяцы 1906 г., изменчивая память выбрасывает только отрывки. Разъезды по Петербургу с одного избирательного митинга на другой. Всюду битком набито. Всюду с напряженным вниманием ловят каждое слово. Социалисты, бойкотирую-

щие Думу, приходят на наши митинги, чтобы доказывать избирателям, что стыдно итти в Думу, созываемую по такому несовершенному избирательному закону. Позорно принимать от самодержавия такую жалкую политическую подачку, надо снова объявить забастовку, снова поднять массы и добиться созыва Учредительного Собрания. Оно определит будущий строй России, передаст всю власть народу. Участвовать в куцой Думе, значит изменять народу. Сколько раз эти слова «кадеты изменники народа» летели на нас слева. Позже их стали бросать в нас справа, только придавая им другое значение.

Городская интеллигенция валом валила на митинги, упивалась новым для нее искусством красноречия. Речи наших профессоров, адвокатов, земцев, привыкших излагать свои мысли публично, выслушивались внимательно, иногда вызывали шумные аплодисменты, несмотря на то, что они не разжигали, а сдерживали пробудившиеся политические аппетиты. С первых же собраний было ясно, что кампания бойкота не пройдет, что петербуржцы голосовать будут и проведут кадетских кандидатов.

Но и социалисты часто срывали аплодисменты. Они тоже умели заливаться соловьем. Знали как, чем всколыхнуть воображение. На наши собрания они приходили кучкой, усаживались вместе и восклицаниями, вопросами, замечаниями, то насмешливыми, то негодующими, перебивали ораторов. Их задачей было вызвать беспорядок и в зале и в умах, обострить противоречия, но сделать это так, чтобы у полицейского офицера не было повода сразу закрыть собрание. Не знаю, какие пределы свободы слова были указаны в полицейской инструкции, но в начале 1906 г. на собраниях говорили очень свободно, вплоть до прямых и безнаказанных призывов к вооруженному восстанию. Одной из причин, почему социалисты бойкотировали

Государственную Думу, был их страх, что самое существование народного представительства может внести успокоение, остановить революцию. Революция продолжается! Этот воинственный клич социалистов, то притихая, то усиливаясь, звучал вплоть до захвата власти большевиками.

Они прекратить революцию сумели.

Эволюция или революция? — вот где проходила грань между кадетами и социалистами. Мы шли конституционным путем. В нашей, и только в нашей среде, были люди, давно готовившиеся к парламентской деятельности, стремившиеся к ней. Если бы и кадеты бойкотировали Думу, она была бы сорвана, выборы приняли бы совершенно хаотический характер. Кадеты, группируя избирателей вокруг будущей Думы, образовали некоторый оплот против революционного хаоса. Они старались отвести всколыхнувшуюся народную энергию на сравнительно спокойное парламентское русло. Все же социалисты отчасти еще оставались нашими попутчиками. Мы продолжали вместе с ними добиваться от власти дальнейших уступок. Только социалисты призывали к борьбе на баррикадах, а кадеты обещали вести борьбу в Государственной Думе и в законных рамках. Большая разница.

В эти месяцы преддумья толпа сразу наметила своих любимцев. На первом месте был Родичев. Кандидатуру свою он поставил у себя в Тверской губернии, но выступал часто в Петербурге. Он подкупал слушателей не только ярким блеском словесного мастерства, но и своей необычайной, неподдельной искренностью. Это соединение не так часто встречается.

Другим популярным кандидатом от Петербурга был В. Д. Набоков. Хотя эпитет популярный плохо вяжется с его элегантным, изысканным обликом. Баловень судьбы, он был воспитан на тех светски-бюрократических верхах, где хорошие манеры были необ-

ходимой частью хорошего образования. Говорил он также свободно и уверенно, как и выглядел. Человек очень умный, он умел смягчать свое умственное превосходство улыбкой, то приветливой, а то и насмешливой. Глядя на этого полного жизни, красивого удачника, кто бы мог угадать, что впереди его ждет горькая эмигрантская бедность и ранняя смерть от руки убийцы.

В Петербурге же была поставлена кандидатура М. М. Винавера. Видный адвокат, образованный юрист, он славился уменьем ловко подбирать и строить свои доводы. Говорил он как опытный судебный оратор. Но чего-то в нем нехватало, чтобы стать трибуном, хотя его честолюбие этого настойчиво требовало.

П. Н. Милюков кандидатом в Государственную Думу не мог быть выставлен. Министерство внутренних дел вычеркнуло его из избирательных списков, придравшись к какому-то старому административному обвинению в неблагонадежности. Под этот термин можно было всякого подвести. Полицейские уловки не помешали Милюкову выступать на многих митингах и стать одним из главных руководителей избирательной кампании. В речах Милюкова, как и в его писаньях, не было блеска. Но он ясно, точно, умно ставил и развивал политические вопросы, делился с аудиторией своими обширными знаньями, развивал политическое пониманье избирателей, будил в них сознательное отношение к общественным делам. Это были речи опытного лектора, привыкшего обучать студентов.

С левыми Милюков на митингах не церемонился. Они платили ему тем же, налетали на него, как петухи. Такие стычки вносили большое оживление, были спортивным развлечением избирательной кампании. У Милюкова завелся свой специальный хулитель. Часто на митинге, после речи Милюкова, от группы социалистов стремительно отрывался плечистый, низкорослый

человек в блузе. На трибуну он никогда не подымался, останавливался около ее ступенек и с перекошенным от митинговой ярости лицом, стиснув как хороший бульдог зубы, бросал в толпу высоким тенором:

— Надо иметь государственное невежество какого-то Милюкова, чтобы воображать, что русский пролетариат ограничится кадетскими подачками...

В зале раздавался добродушный хохот. Каким нелепым казалось это слово невежество, примененное к Милюкову. Да еще кем. Мальчишкой, студентом! Будущий советский сановник скрывал тогда свое настоящее имя под партийной кличкой — товарищ Абрам. Этот товарищ Абрам преследовал Милюкова с митинга на митинг, как тень, иль верная жена. Он пользовался кадетскими собраньями, чтобы развивать большевистскую программу, которая мало кого тогда интересовала. Пролетариат, на требованья которого ссылался товарищ Абрам, на митингах не показывался. Что думает немногочисленная большевистская фракция, отколовшаяся от с.-д. партии, тоже немногочисленной, казалось, имеет мало значения.

Настоящая фамилия Абрама была Крыленко. Этот Крыленко, после большевистского переворота, поднялся до высокого звания красного генерал-прокурора. На нем лежит ответственность за многие смертные приговоры. Он стал одним из советских палачей. Это произошло 12 лет спустя. А в 1906 г. перед нами просто был мальчишка, дерзкий до смешного. Не знали мы тогда, кто в этой игре будет смеяться последним.

Митинговая игра всех увлекала новизной, кипеньем слов и мыслей, небывалой еще формой общенья со знакомыми, полузнакомыми, совсем не знакомыми людьми. Русские люди говорить любят и умеют. Но одно дело разговаривать в гостиной, в студенческом кружке, на палубе волжского парохода, другое дело

произносить речи с эстрады, где разговорщики, приподянтые даже физически над толпой, чувствуют, как она следит за их жестами, улыбками, за выраженьем их лиц, а не только за их словами и мыслями. Слово, произнесенное с эстрады, иначе раздается, отражается, толкуется. От ораторов, как от актеров, льются волны, исходит эмоциональная заразительность, между ними и слушателями устанавливается связь, создающая сходность мыслей и чувств, которая может дорасти до политического созвучия. Толпа следит за человеком на трибуне, но и он, с трибуны, следит за ней, ловит оттенки и переходы ее настроений. Его все видят, но ведь и он всех видит, читает в глазах одобрение или скуку, следит за тем, как до них доходят его доводы. Оттуда, из рядов, из глаз, обращенных на оратора, тоже исходят токи, порой не менее повелительные. Это один из соблазнов демагогии. Владеть толпой, держать в руках ее настроение, чувствовать, как ваше Я накладывает печать на этих людей—это тонкое наслаждение. Величавый Цицерон признавался, что в политике заключено глубокое сладострастие. Он не объясняет, дается ли оно сознанием своего таланта, или вот этой сладостью обладанья толпой душ, которой допьяна упиваются великие ораторы. Достается порой этот хмельной напиток и на долю ораторов меньшего калибра.

Для русских раньше такое пиршественное наслаждение ума было мало доступно. Только церковным проповедникам, отчасти профессорам, удавалось чувствовать вокруг себя отголоски массовых переживаний. Но и те и другие были стеснены условиями своего положения. После 17-го октября 1905 г. открылись шлюзы. Наконец, можно говорить о чем угодно и говорить свободно, без опаски, без оглядки. И у тех, кто говорил, и у тех, кто слушал, голова пошла кругом. Досыта и наговорились и наслушались. В этом

новом состоянии повального словесного упоения влетели народные представители в Государственную Думу.

А в стране, под шум выборного красноречия, брожение продолжалось. Бунтовали окраины. Польша была на военном положении. Да и не одна Польша. Все национальности волновались. Оппозиция им сочувствовала. Социалисты предлагали обратить империю в федеративную республику, с полным самоопределением народов. Коммунисты потом это и сделали, по-своему толкуя и федерацию, и республику, и самоопределение. Кадеты были против республики, против расчленения России, стояли за ее цельность, неделимость, но считали необходимым дать инородцам право учиться на родном языке, употреблять его наравне с русским в местных учреждениях, земских и судебных. В польском вопросе шли дальше. В кадетскую программу входила автономия Польши. В Государственной Думе скоро выяснилось, что это не удовлетворит поляков, живущих в Царстве Польском. Но некоторые поляки, особенно те, что родились и выросли в самой России, шли вместе с нами, были кадетами. Из них самыми выдающимися были профессор петербургского университета Л. О. Петражицкий и московский адвокат А. Р. Ледницкий.

Надо сознаться, что многие кадеты, а тем более подававшие за них голоса избиратели, не разбирались в малоисследованной, пестрой этнографии России, не знали, где все эти народы и племена живут? И чего собственно им нехватает? Путали латышей с литовцами, калмыков с киргизами, не говоря уже о сартах, туркменах, узбеках, о всех живописных, где-то кочующих народах. Это невежество не охлаждало благородного желания дать этим неизвестным все права, все свободы. Самодержавие им в чем-то отказывало, както их притесняло. Надо притеснения прекратить и дать как можно больше. Красноречивые кадетские орато-

ры, ссылаясь на высокий авторитет европейских ученых юристов, убедительно доказывали, что в правовом государстве все это полагается давать, что право самоопределенья народов есть право священное.

Я не хочу высмеивать или обвинять моих товарищей по партии. Мы все горели искренним, бескорыстным, неутолимым желаньем как можно скорее ввести в России самый усовершенствованный строй. Я это желанье от всего сердца разделяла. Если на меня иногда нападали сомненья, не в целях, а в методах, то на меня обрушивали такой груз книжного знания, что я с трудом из-под него выкарабкивалась. Особенно тяжелые аргументы сыпались на мою женскую голову, когда меня забрасывали цитатами из профессора Листа. Я о нем ничего не знала, но очень быстро поняла, что Листа не перешибешь. Я и теперь не знаю, что он писал и где печатался. Кажется, в Берлине. Но теперь я знаю, что мир был бы несравненно счастливее, если бы хорошие русские люди меньше поддавались заморским ученым и больше приглядывались бы к русской жизни, вдумывались бы в прошлое и настоящее своего народа. Самое имя — ЛИСТ, — вспоминается мне как что-то враждебное, как черный заговор.

Во время выборов такой гул шел по земле русской, что даже более грамотным людям было трудно разобраться в новых понятиях, пожеланиях и возможностях. Что же должно было твориться в неграмотных головах? А таких было подавляющее большинство. Они даже газет не читали. Да и газеты, случалось, не проясняли, а затемняли мозги. Правда, крестьянство проявило удивительную русскую способность схватывать, соображать. Но где же им было осилить, переварить политику, основанную на Листе, да еще иногда с примесью Карла Маркса. И как

устоять против сладких посулов, без которых никакие выборы не обходятся.

Вольные социалисты разных оттенков, не связанные партийными директивами, в выборах участие приняли. Они шли в Государственную Думу в партизанском порядке, россыпью. Только накануне открытия Думы была создана многолюдная, расплывчатая Трудовая Группа. Несмотря на этих соперников слева и на то, что левое кипение еще далеко не кончилось, кадеты все-таки собрали самую большую парламентскую фракцию. У них оказалось 287 мест. Какое это было торжество, когда в кадетский клуб на Потемкинской улице, с окнами на Таврический сад, зеленевший апрельской листвой, стали приходить со всех концов России телеграммы о наших победах. А со всех избирательных районов Петербурга возбужденные женские голоса сообщали по телефону победоносные цифры столичных выборов.

Голоса были женские, потому что всю черную работу по выборам взвалили на себя главным образом женщины. Они раздавали и разносили партийную литературу, собирали деньги, обходили квартиры, устроивали митинги. Они были полны энтузиазма, который придает политической работе красоту, политическим деятелям, в особенности начинающим, силу.

А начинающими были все. Все были новички. Все пьянели от безграничных возможностей, как будто открывавшихся перед избранниками Земли Русской. Так стали величать членов Государственной Думы.

С. М. Ростовцева, жена знаменитого историка, которая очень усердно вела в своем Адмиралтейском районе кадетскую предвыборную кампанию, с обычным своим юмором описывала, как светский, изящный В. Д. Набоков ворвался в ее гостиную с восклицаньем:

— Выбрали!

Он был в таком восторге, что не только не дож-

дался, чтобы горничная о нем доложила, но даже забыл снять грязные калоши и перепачкал дорогой, светлый ковер Ростовцевых.

Государственная Дума должна была открыться 27-го апреля. За несколько дней перед этим собрался второй кадетский съезд, все в том же Тенишевском училище, который стал привычным местом всяких политических собраний. На этот раз на полуциркульных скамьях сидели люди, уже хлебнувшие горькой сладости популярности. Все они принимали участие в выборах, многие были избраны в Государственную Думу. Они весело обменивались неостывшими избирательными впечатлениями. От них еще струилось напряжение борьбы, не до конца израсходованное, ищущее нового применения. Из глубины России принесли они с собой не тишину, а бурю. Непримиримостью дышали избранники. Еще непримиримее были избиратели. Они посылали своих представителей в Думу не для мирного законодательства, а для давления, для напора на власть, для новых требований. Они заражали, подстрекали, взвинчивали своих избранников. Они толпами собирались при их проезде на станциях, вручали им писанные наказы, кричали:

— Добудьте нам землю и волю!

Но железнодорожные линии, по которым катились поезда, везшие депутатов, это только тоненькие, далеко друг от друга отстоящие черточки. А в стране шла обычная жизнь. Мужики пахали, купцы торговали, обыватели покупали, Россия, еще не познавшая лишений, своего довольства не сознавала. Напротив, и справа, и слева кричали, что все пропало, что все разваливается. Винили в этом партии, винили правительство, слева за его нежелание идти на дальнейшие уступки, справа за излишнюю уступчивость. Террористы продолжали свою страшную работу. Они убивали и мелких, и крупных представителей власти,

и урядников, и губернаторов. И почему-то никто не спрашивал с них, кто дал право анонимным судьям подписывать смертные приговоры?

Тяжелый эпизод разыгрался на кадетском съезде. Во время заседания кто-то с кафедры сообщил, что в Киеве убит террористами генерал-губернатор, гр. А. П. Игнатьев. И вдруг сорвалось несколько аплодисментов. Это сейчас же вызвало резкий протест. Аплодисменты сразу оборвались. Председатель высказал строгое порицание тем, кто рукоплескал. Но факт остался фактом. В центре либеральной оппозиции, считавшей себя монархической, отрицавшей революционные методы, нашлись люди, нашлись члены Государственной Думы, публично выразившие одобрение убийцам.

Через день или два царь принимал народных избранников в Зимнем Дворце. С каким чувством он и его министры вглядывались в этих новых людей, с которыми они должны были вместе устраивать и перестраивать Русскую Державу? Могла ли власть рассчитывать на них, как на надежных сотрудников по водворению внутреннего мира, этой первой, самой насущной потребности всякого государства?

В Таврическом Дворце непримиримая противоположность двух миров и их взаимное непонимание выступили еще ярче.

Глава десятая

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Объявив созыв Государственной Думы, власть плохо отдавала себе отчет, какое детище она родила, какие у правительства обязанности по отношению к этому новому государственному учреждению, поднявшемуся из революционного хаоса, как его использо-

вать в интересах народа, империи, исторической власти. Ограничились тем, что для русского парламента приспособили великолепный Таврический Дворец. Это было отлично сделано. Но для тех, кто должен был заседать в этом дворце, правительство не позаботилось составить ни общий план предстоящей законодательной работы, ни хотя бы несколько законопроэктов. Пусть это странное сборище съехавшихся в столицу незнакомцев, претендующих на участие в государственной работе, сначала само себя покажет.

И депутаты не отдавали себе отчета в своем положении, в своих обязанностях по отношению к государственной власти, на которой столетиями стояла Россия. Они считали, что пришли не как помощники, а как смена. Они не понимали, какое драгоценное орудие для преустройства русской жизни вложила история в их неопытные руки. Оппозиция, как и правительство, не знала как обращаться с Государственной Думой, какую пользу можно и должно из нее извлечь. Народные представители, увлеченные борьбой, оглушенные забастовками, восстаньями, террористическими актами, казнями, опьяненные политическими возгласами, обличеньями, требованьями, не сумели сразу приняться за то, ради чего Дума была созвана, чего они сами добивались с такой бурной энергией — за законодательство. Слишком еще кипели в них страсти, слишком обуревала их неудержимая потребность на всю страну выкрикнуть то, о чем раньше говорилось только шопотом. Хотя с появлением народного представительства часть этих криков и лозунгов теряла свое значение.

Перед открытием Государственной Думы между правительством и народными представителями не произошло никакого общенья, никаких не только сговоров, но даже переговоров. Думцы и министры впервые встретились в Таврическом Дворце, куда обе сто-

роны притащили с собой тяжкий груз и путы враждебности, недоверия, нежеланья подойти друг к другу ближе, найти почву для сотрудничества.

И власть с неостывшей обидой побежденного, и народные представители с злорадным торжеством победителей помнили, что Дума пришла не сверху, а была навязана снизу. В этом резкое отличие манифеста 17-го октября 1905 г. от манифеста 19-го февраля 1861 г. Александр II, еще наследником, понял что реформы необходимы, неотвратимы. Он им сочувствовал. У его внука, Николая II, не было такого сочувствия к конституционной реформе, которую он был вынужден скрепить своей подписью. Государственная Дума явилась в результате широкого самочинного Освободительного Движения, которое многие просто называли революцией. До 1905 г. царь и его правительство не допускали даже мысли о народном представительстве. Самое слово конституция считалось преступным, как я на собственном опыте испытала.

Правда, в день открытия Государственной Думы Государь принял в Зимнем Дворце депутатов, признал в них своих сотрудников, приветствовал их, как «лучших людей земли русской», сказал им:

«Господь Бог да благословит труды, предстоящие мне в единении с Государственным Советом и Государственной Думой и да знаменуется день сей отныне днем обновления облика Земли Русской, днем возрождения ее лучших сил».

Для депутатов это было слишком туманно. Они предпочли бы определенную, законченную политическую формулировку. В их сердцах тронная речь никакого отклика не нашла. Призывать на их труды благословение Божие им, в лучшем случае, казалось излишним. Они больше верили в магическую силу юридических заклинаний, чем в молитвы. Короткий, лишенный всякого личного общения, царский прием

был для них живописной, но мертвой формальностью. Они были связаны не с самодержавием, а с народными силами, открывшими перед ними двери Зимнего Дворца, и, что было для них бесконечно важнее, двери их собственного, Таврического Дворца. Вступая в него, народные представители знали, что для власти они сотрудники непрошенные, царю навязанные. Это наложило печать на их настроение, на их речи, на их действия.

Депутатов вынесла на своем гребне бурная народная волна. Им казалось, что она все еще растет, подымается. На самом деле Государственная Дума была ее высшей точкой и скоро должен был начаться отлив. А им на пороге Думы казалось, что они обязаны продолжать наступление. Тогда термин — историческая власть — еще мало был в употреблении, просто говорили самодержавие. Или еще проще — ОНИ. Они — это правительство. Мы — это не только оппозиция, но вообще весь народ. Это были две воюющие армии.

Депутатов этот непроходимый водораздел не тревожил. Чего им бояться? Они уверены и в слабости правительства, и в его идейной неправоте, убеждены в силе народа, в правоте своих идей. Освободители, они входили в Таврический Дворец в приподнятом, торжественном настроении.

Рамка была для них приготовлена праздничная. Екатерина II была одарена воображением, но вряд ли ей могло сниться, что великолепный дворец, который она построила для своего ветреного любовника и верного помощника в делах державства и войны, станет для России в весенние годы ее парламентской жизни символом народоправства, что самое название — Таврический Дворец, — прозвучит как радостный клич, как обещанье обновленной, свободной жизни. И как

призыв к борьбе. До замиренья, даже до перемирия, было еще далеко.

В Петербурге 27 апреля, день открытия Первой Государственной Думы, был общенародным праздником. Школы и присутствия были закрыты. Магазины тоже. Большинство заводов не работало. Улицы были залиты народом. Всюду флаги, радостные лица. Утром вереницы экипажей и извозчиков направлялись в Зимний Дворец, оттуда, после короткого царского приема, они отправились в другой, свой дворец. Ясный весенний день, ясные надежды в сердцах. Твердое, искреннее желанье первых избранников не обмануть народных надежд. Общее чувство могучей волны, по которой легко, дерзко, скользит наш корабль. И эта детская, неповторимая вера в себя, в будущее, в Россию.

Красавец Таврический дворец, проснувшийся от векового сна, выглядел щеголем. Весь белый снаружи и внутри, он царственно раскинул гармонический простор своих зал, переходов, обширных покоев, всем своим приветливым великолепием напоминая о державной пышности века Екатерины. Казалось, сама Россия, гостеприимная хозяйка, ласково принимает гостей, собравшихся со всех концов русской земли. Сквозь высокие, от пола до потолка окна виднелся старый, еще при Потемкине насаженный сад. Точно Дума собралась не в столице, а в старинной усадьбе. Большинство депутатов выросло в таких дворянских гнездах. Первая Дума, если не количественно, то качественно была дворянской Думой и это подчеркивало ее нарядность.

На председательском месте сидел С. А. Муромцев. Не сидел, восседал, всем своим обликом, каждым движеньем, каждым словом воплощая величавую значительность высокого учреждения. Голос у него был ровный, глубокий, внушительный. Он не говорил, а

изрекал. Каждое его слово, простое его заявление — слово принадлежит члену Государственной Думы от Калужской губернии, — или, — заседание Государственной Думы возобновляется, — звучало, точно перед нами был шейх, читающий строфы из Корана.

Талантливые архитекторы, чьи имена никто не трудился узнать, устроили полуциркульный зал заседаний с необычайным вкусом, с любовью. Его парадность очень подходила к Муромцеву. В обыденной жизни это был приятный, обходительный собеседник. На председательском месте его окружала неприступность. Ни один из председателей последующих трех Дум, ни Ф. А. Головин, ни Н. А. Хомяков, ни М. В. Родзянко, не поднялись на его декоративную высоту. Муромцев давно готовил себя к этому служению. Он изучил порядки западных парламентов, наметил, как должен председатель относиться к различным положениям и случаям, которыми богата парламентская жизнь, как надо направлять и вести заседание. Все мелочи продумал. Русских прецедентов, если не считать обычаи земских собраний, в его распоряжении не было. Надо было все создать, проявить творческий почин. Деятельность Муромцева осложнялась тем, что не было и наказа. За него принялись во второй Думе, утвердили его в третьей. В первых двух Думах порядок, очень относительный, поддерживался только авторитетом председателя и доброй волей депутатов.

Муромцев авторитетом, и не малым, обладал. Красивый, с правильными чертами лица, с седой, острой бородкой и густыми бровями, из-под которых темнели выразительные глаза, Муромцев одним своим появлением на трибуне призывал к благообразию. Когда страсти разгорались, особенно в те дни, когда в министерской ложе появлялись министры, внушительный вид председателя, его такт, выдержка не да-

вали законодательному собранию превратиться в необузданный митинг. Впрочем, даже ему это не всегда удавалось.

Удивительно, что при таком чувстве меры, при таком уважении к форме Муромцев не сумел или не постарался повлиять на самую сущность кадетской политики в Государственной Думе. Правда, став председателем, он от партийной жизни отстранился, вышел из Центрального Комитета, никогда не бывал на собраниях парламентской фракции. По его мнению, идеальный председатель обязан быть выше партии. Но все-таки, какая это расточительность, что весь свой трезвый аналитический ум он направил на созиданье обличья Государственной Думы, ничего не вкладывая в ее подлинную, кипучую жизнь. Муромцев не пытался стать посредником между властью и Думой, найти пути к соглашению, хотя все это входит в обязанности председателя, особенно в такой переломный момент истории. Ему мешало общее настроение оппозиции, к которой он попрежнему принадлежал, хотя в партийных сборищах и не участвовал. Мешала также должностная самоуверенность и гордыня. Он говорил:

— Председатель Государственной Думы второе, после Государя, лицо в империи.

Ревниво и замкнуто стоял он на созданной им высоте.

Свою очень искусственную обособленность он не мог оправдывать организационной работой. Находил же Шаховской, который был выбран секретарем Думы и был главным помощником председателя, возможным продолжать общение с людьми и принимать участие в деятельности кадетской думской фракции.

Кн. Д. И. Шаховского многие считали чудесным, даже замечательным человеком. Иные видели в нем фантазера, мечтателя. Были и такие, что считали его безумцем, одержимым демоном демократии. Меньше

всего думали о нем, как о практическом работнике. Между тем, за 70 дней своего секретарства в первом русском парламенте он доказал свой талант организатора, наладил большое, ответственное дело. Он поставил Думскую канцелярию, определил сложные подробности спешного печатанья стенограмм, сношения с печатью, раздачу билетов для прессы и для публики. Насколько помню, в веденьи секретаря были и думские пристава. Всю эту сложную, новую машину пустил в ход Шаховской. Он создал для следующих Дум деловую рамку. Очень хорошо работал крайне важный в парламентской жизни стенографический отдел. Состав стенографисток и, что не менее важно, корректоров тоже был отлично подобран. Депутатам и журналистам стенографические отчеты раздавались иногда в тот же день, под конец заседанья. Это спасало нас от грубых ошибок и промахов, неизбежных в такой спешной работе. Постановка секретариата была в Первой Думе единственным делом, которое было доведено до конца и по наследству перешло к Думам следующих созывов.

Шаховской подобрал хороших сотрудников. Из Москвы в помощники ему приехал Н. И. Астров. В его распоряжении было несколько чиновников государственной канцелярии, славившейся своим образцовым порядком. Они принесли с собой в думскую канцелярию отчетливость, систему, давние навыки первоклассно поставленного государственного учреждения. И они и стенографистки, иногда даже пристава, заражались энтузиазмом, заливавшим Таврический Дворец. Я говорю даже пристава, потому что, эти великолепные молодые люди с серебряной цепью на шее меньше сливались с Думой, чем канцелярия. Они были блюстителями порядка и так же, как председатель, чувствовали себя выше толпы. Размеренные движения Муромцева передавались им, особенно в дни острых сты-

чек между Думой и министрами. При этом пристава оглядывались не только на свое новое начальство, на Муромцева, но и на министерскую ложу, где сидело более привычное начальство вчерашнего, да вероятно и завтрашнего дня.

Муромцев и Шаховской придавали Государственной Думе достойный парламентский облик, напоминали, что Думская ладья должна плыть по определенному руслу. Наверху, на председательском высоком кресле, Муромцев, невозмутимый, торжественный, внизу, ниже трибуны ораторов, Шаховской, привычным движением руки поглаживающий длинную, острую, золотистую бороду. Два утонченных образца старой русской культуры. Глядя на них как-то верилось, что еще немного и в русском парламенте водворится деловитое благоустройство. На самом деле до этого было еще далеко.

В Первой Думе у правительства сторонников не оказалось, кроме маленькой, в несколько человек, группы умеренных конституционалистов. Все остальное составляла оппозиция. Она делилась на две большие фракции: на кадет и трудовиков.

Крайних революционеров в ней не было, если не считать горсти грузинских социал-демократов. У кадет было 287 мест. Налево от них почти такая же многочисленная Трудовая Группа бурлила, шумела, требовала, протестовала еще громче, чем это делали кадеты.

Кадетская партия органически выросла, еще до Думы, из земского движения. Многие депутаты знали друг друга задолго до того, как организовалась партия. Они успели многое сообща обдумать, обо многом сговориться. Сплоченными рядами шли они на выборы. А Трудовая Группа сколачивалась наспех из новых, незнакомых между собой людей. Это было пестрое сборище. Большинство считало себя умерен-

ными социалистами. Председатель группы, саратовский депутат И. В. Жилкин, рассказывал мне, что группу они сорганизовали уже после выборов, в поезде, когда ехали в Петербург законодательствовать. Случайно Жилкин очутился в одном поезде с двумя другими депутатами, насколько помню, тоже саратовскими — с Аникиным и Аладьиным. Тут же, на ходу, под стук колес, набросали они программу и план организации. Их торопили, подстегивали возгласы и наказы, устные и письменные, которые им бросала толпа, встречавшая их почти на всех станциях. Вряд ли эти трое знали друг друга до выборов. Аладьин до манифеста 17-го октября был эмигрантом и вернулся из заграницы по той же амнистии, которая и меня впустила в Россию. Аникин был сельский учитель. Жилкин — мелкий земский служащий в Вольске, где он и родился. Все трое брели по теневой стороне жизни, пока их не подбросила вверх революция. Насколько я могу судить по моим беглым встречам с Аникиным, он из них троих был самый продуманный социалист. Был он сумрачен, не словоохотлив. В его словах проскальзывала горечь способного разночинца, которому жизнь не давала возможности развернуться, приложить и показать свои способности. Неглупый, искренний, хороший организатор, Аникин умел в своей группе наводить дисциплину, что было не легко в такой случайной толпе, на которую выпала ответственная роль влиятельной парламентской группы, многочисленной и левой. Но оратор Аникин был средний.

У Аладьина был дар слова. Выразительный, настойчивый голос, быстрая смекалка, звонкие фразы, уменье схватывать настроение слушателей, — все это делало из него успешного митингового оратора. Он мог посылать в толпу эмоциональные токи, важный дар для оратора. С первых же выступлений Аладьин поднялся над рядовыми членами Думы, прослыл трибу-

ном. Но в серьезность его гражданского пафоса как-то не верилось. В нем было много актерского. Он охорашивался, любовался собой, старался перещеголять кадетских ораторов. Ему не давала покоя не только умелая элегантность их речей, но и внешняя элегантность некоторых кадет. Особенно беспокоила его жизнерадостная самоуверенность Набокова.

Аладьин с большим трудом пробился в первые ряды и еще не твердо знал, пробился или нет? Внешняя, вызывающая самоуверенность в нем была. Но он оглядывался, так ли все у него выходит, как надо? У Набокова никаких сомнений не было. Раз он так делает, так одевается, так думает, значит именно так и надо поступать, одеваться, думать.

Набоков был сын министра юстиции любимца Александра II. Он вырос в придворной среде, по вкусам и привычкам был светский человек. По Таврическому Дворцу он скользил танцующей походкой, как прежде по бальным залам, где не раз искусно дирижировал котильоном. Но все эти мелькающие подробности своей блестящей жизни он рано перерос. У него был слишком деятельный ум, чтобы долго удовлетворяться бальными успехами. В нем, как и во многих тогдашних просвещенных русских людях, загорелась политическая совесть. Он стал выдающимся правоведом, профессором, одним из виднейших деятелей Освободительного Движения. Набоков читал лекции в Училище Правоведения, писал юридические статьи, был одним из редакторов петербургского еженедельника «Право», где группа таких же, как он, освобожденцев, ловко обходя цензуру, проводила те же вольнолюбивые идеи, как Струве в эмигрантском «Освобождении». После 9-го января Набоков произнес в петербургской городской думе, где он был гласным, негодующую речь против расстрела рабочих. За это его лишили камергерства. Опальное устранение от

двора было ему не очень приятно, хотя говорил он об этом только мимоходом и с пренебрежительной усмешкой.

В этой усмешке, которая часто мелькала на его правильном, цветущем, холеном лице, Аладьин и некоторые его товарищи видели барское высокомерие. Хотя на самом деле, если в ней и была доля высокомерия, то конечно интеллектуального, никак не классового. С политическими мыслями этого талантливого депутата и трудовики не могли не соглашаться. Все же сам Набоков вызывал в некоторых из них классовое недружелюбие, которого он к ним совсем не испытывал.

По ясности мысли, по привычке к юридическому анализу, по уменью излагать сложные вопросы с изящной точностью, Набоков, получивший отличное образование, выросший в культурном окружении, был, конечно, несравненно сильнее самоучки Аладьина. Некоторые фразы Набокова запоминались, повторялись. Большой успех имела его длинная речь по поводу адреса, где он подробно развил идею очень дорогую кадетам, но совершенно неприемлемую для правительства об ответсвенности министров перед Государственной Думой. Эту речь Набоков закончил словами, которые и теперь иногда повторяются людьми, не забывшими думский период русской истории:

— Власть исполнительная да подчинится власти законодательной.

Бросив этот вызов, Набоков под гром аплодисментов, легко, несмотря на некоторую раннюю грузность, сбежал по ступенькам думской трибуны, украдкой посылая очаровательные улыбки наверх, на галерею, где среди публики бывало не мало хорошеньких женщин. Набоков был искренний конституционалист, горячий защитник правового строя. Он

был счастлив, что, наконец, мог в высоком собрании, открыто, во всей их полноте, высказывать свои политические воззрения. Все же и одобрение красивых женщин его не мало тешило.

Но и Аладьин дорожил сладостью успеха и прелестью женских улыбок. Только судьба не одарила его красотой и шармом Набокова. У него не было округленных манер, не было уменья надевать шляпу под тем самым углом, как надо. Не говоря уже о том, что ему нехватало не только внешнего лоска Набокова, но и его образования, его привычки систематизировать мысли, выражать их обдуманно и стройно. А казалось, все это так просто, так само собой делается.

Среди разных думских зрелищ одним из развлечений были набоковские галстуки. Набоков почти каждый день появлялся в новом костюме и каждый день в новом галстуке, еще более изысканном, чем галстук предыдущего дня. Вдруг чей-то лукавый глаз подметил, что Аладьин тоже начинает часто менять галстуки. Как известно, выбрать и завязать галстук это тонкая наука. Угнаться за Владимир Дмитриевичем Аладьин оказался не в силах. Только раздразнил и себя, да и некоторых своих товарищей по Трудовой Группе. Даже сдержанный Аникин не выносил блеска набоковских галстуков. Эти галстуки для трудовиков стали враждебным символом кадетской партии, мешали сближению, расхолаживали. Но вредной исторической роли они все же не сыграли. Тем более, что в Первой Думе работы все равно не было. Прожила она недолго и промелькнула через русскую историю, оставив след, как рассыпавшийся искрами метеор, как выражение чаяний целого ряда идеологов, а не как законодательная палата. И кадеты, и трудовики, и беспартийные высказали в ней много мыслей, часто справедливых, благородных, но законодательной мудрости

и политического искусства в ней никто не успел проявить.

Из трех руководителей Трудовой Группы я ближе всего познакомилась с Жилкиным. В Первой Думе мы с ним налету обменивались быстрыми фразами. Позже мы подружились и с ним, и с его женой. Он женился уже после роспуска Первой Думы. Его жена, Зинаида Андреевна, служила в редакции очень правой газеты «Петербургские Ведомости». Мягкая, тактичная, очень не глупая, она помогла ему заполнить пробелы его скудного отрывистого образования, его уездного, захолустного воспитания. Жилкин родился на Волге, в Вольске. Учился в четырехклассном училище. Вырос в тесном, деревянном мещанском домишке, где жизнь плелась серая, узкая, душная. Даже физически душная, с вечным страхом сквозняков. Как с осени вставят двойные рамы без форточек, так и живут до весны, не проветривая комнат. Что не помешало Жилкину стать высоким, здоровым атлетом с широкой грудью и отлично развитыми мышцами. Но свежего воздуха он боялся и мог от любого ветерка чихать без конца, что нас, деревенских жителей, очень смешило.

И в умственном отношении он был рослый, сумел подняться над своей серой средой. У него было много здравого смысла, был добродушный юмор. По натуре Жилкин был скорее артист, чем политик. У него был хороший голос, большая музыкальность и несомненное актерское дарование. Оно сказывалось даже в наших простодушных вергежских шарадах. Жилкин участвовал в них охотно и вносил в них яркие мазки. В ранней молодости он мечтал о сцене, но не пошел по этой дороге из-за моральной щепетильности. Ему виделось что-то лживое в необходимости притворяться, носить личину даже на сцене. Он хотел итти прямо, честно, в открытую. Вернее мечтал

о таких путях. Настоящего искателя, страстного и упорного, в Жилкине не было. Может быть, мешала беззаботная легкость его артистической натуры. После Думы он стал журналистом, переехал в Москву, писал в «Русском Слове». Понемногу журнализм стал для него привычным ремеслом, но высшей ступенью его жизни осталась Первая Государственная Дума и его лидерство в Трудовой Группе. С большой непосредственностью переживал он думские треволнения. Его искренность, его мягкость создали ему в Думе друзей на всех скамьях. Но в нем не было ни абсолютной уверенности в той или иной политической программе, ни честолюбия. Говорил он хорошо, но перещеголять Аладьина не мог, да и не стремился. В нем не было демагогического зуда. В политике, как и в жизни, он искал морального разрешения запутанных задач, которые со всех сторон вцеплялись в неопытных и восторженных народных представителей. Но к речам Жилкина прислушивались. Ему верили.

В Петербург Жилкин приехал под опьяняющим впечатлением народных скопищ, которые по всему пути от Саратова встречали и провожали поезда, везшие народных представителей в столицу. Казалось, вся Россия, без различия национальностей и сословий, сплачивается вокруг своих избранников, жаждет нового строя, клянется поддерживать Думу.

— Добудьте нам землю и волю. Требуйте земли и воли, а уж мы за вас постоим... — кричали граждане и гражданки, собиравшиеся около поездов.

Тут же, на платформе, депутаты отвечали на возгласы и речи речами и обещаньями, похожими на клятвы. Катились дальше и на следующей остановке опять слышали тот же наказ: требуйте, требуйте, требуйте! Этот клич обязывал, торопил, обострял. Те, кто будут изучать первое русское народное представительство, пусть не забывают, что многие его про-

махи, заблуждения, порывы рождались под напором населения. Политикам, которые идут на выборы под знаменем победоносной революционной демократии, не легко отделить себя от взбаламученного народного моря.

Трудовая Группа не относилась к кадетам с такой острой враждебностью, как партийные социалисты. Накануне, а может быть, и в самый день открытия Думы трудовики прислали на заседание кадетской фракции делегатов, чтобы сговориться об ответе на тронную речь. Мы ждали появления колючих, задорных оппонентов, вроде тех, что бросались на нас на предвыборных собраниях. Когда из делегации трудовиков поднялся высокий, могучий молодой человек, с крупными чертами лица, рябой, как Дантон, мы не знали, кто он, даже не знали, что его зовут Жилкин. А он с подкупающей приветливой улыбкой сразу заговорил дружески как человек, от всей души готовый сообща искать лучший, верный путь к счастью русского народа. Говорил он просто, его прямота подкупала:

— Мы знаем, что вы, кадеты, гораздо образованнее нас. Среди вас столько блестящих ученых, юристов, мужей совета и опыта. Но народные массы ближе к нам и мы все обязаны прислушиваться к их голосу. А от народа несется дружное требование — земли и воли. Поэтому мы не можем идти на компромиссы. Надо в нашем ответе царю сказать напрямик все, что наболело, чего ждет от нас население.

По натуре Жилкин был человек уступчивый, не падкий на споры, ненавидящий ссоры. Но ему, как и людям несравненно более образованным, казалось естественным, что Дума, созванная для устроения народной жизни, с первых же шагов принимается раздувать противоречия между общественным мнением и правительством.

По поводу адреса вспоминается еще одна черточ-

ка, характерная для царившего между властью и обществом непонимания. В кадетской фракции проект адреса докладывал М. М. Винавер. Его текст принимался почти без прений. Считалось несомненным, что надо указать, что Дума созвана по плохому избирательному закону, повторить в адресе всю либеральную программу. Надо скорее, скорее провести адрес через Думу и поручить Муромцеву представить его царю. Надо все делать скорее, скорее. Народ не ждет.

Винавер читал с адвокатским пафосом и подчеркиваньями. Меня удивил неестественный, напыщенный стиль адреса. Я спросила:

— Почему это написано таким славянским слогом? Поелику, потолику, поныне. Зачем это? Кто это писал?

Винавер, подавляя самодовольную улыбку, пояснил:

— Это я писал. Я это нарочно. Так царю будет понятнее. Он привык к такому слогу.

Я пробовала возражать, но моя щепетильность словесницы разбилась о высокий юридический авторитет Винавера. А я, глядя на него, с недоуменьем соображала, как этот человек, вероятно выросший в небольшом польском городке, может знать привычки и вкусы русского царя? Да и кто среди нас знал привычки и мысли Николая II?

Начались заседания. Вся Россия услыхала голоса новых людей, поднятых на поверхность сейсмической волной. Некоторых либералов слышали еще раньше в судах, в земствах, в университетах, — Ф. И. Родичев, два брата Петрункевичи, Ф. Ф. Кокошкин, братья Стаховичи, братья Щепкины, Якушкин, Обнинский, кн. В. А. Оболенский, кн. Д. И. Шаховской, кн. Е. Н. Трубецкой, кн. П. Д. Долгорукий, были уже каждый по-своему известны. Трудовики тоже быстро захватили внимание и Думы, и страны. Прославились и не-

которые беспартийные, особенно крестьяне, речи которых прогремели по всей России. Это была сладкая, но мимолетная слава. Прошло немного лет и всякая память о них растаяла, забылась.

Самым талантливым оратором Первой Думы был Федор Измаилыч Родичев. У него был особый дар бросать летучие, тут же сочиненные и крепко запоминающиеся слова. Стремительно, как-то неожиданно, срывались они с его языка, но выражали политические мысли не случайные, а давно выношенные, общественные чувства действительно пережитые. В Родичеве было живое любопытство к людям, к жизни. Его детская непосредственность, соединенная с острым, насмешливым умом, привлекала не меньше чем его прирожденный редкостный дар слова. Петербург его сразу полюбил. Когда на эстраде появлялся Родичев, по всей зале светились дружеские улыбки. Смолоду он вместе с другим кадетским депутатом, Николай Николаевичем Щепкиным, примкнул к сербским четникам и вместе с ними воевал на Балканах против турок. Способность к таким великодушным порывам Родичев пронес через всю свою адвокатскую и земскую работу. Меня в нем пленял не только блеск исключительного и пламенного ораторского таланта, но и особенное политическое чутье, которое в его ученых партийных товарищах часто засорялось книжной пылью. Родичев и сам был человек начитанный, но это не помешало ему сохранить интуицию.

Он был художник слова, оратор Божьей милостью. Он зажигал, захватывал, обладал даром переливать собственные гражданские чувства глубокие, благородные в сердца других, точно вино по стаканам разливал. Но он никогда не играл на мелких, а уж тем более злобных или низких чувствах толпы. В нем не было ни тени демагога. Ни тени дешевки. Он никого не тешил, не опускался до толпы. Он перели-

вал в нее собственный политический пафос. Его за то и любила толпа, что он отрывал ее от обыденщины, приподымал.

Всякий парламент мог бы гордиться таким сочленом, образованным, тонким, вдумчивым, горячим защитником права, свободы, человеческого достоинства, правдивым и честным в мыслях и поступках. Родичев для себя ничего не искал, ни власти, ни почета. О деньгах и говорить нечего. Он жил для политики, но никогда не кормился от политики. Аплодисменты он любил. Привык к ним. Когда на митинге или в Государственной Думе он спускался с трибуны и вокруг него гремели рукоплескания, на его возбужденном, выразительном лице бродила довольная, иногда даже счастливая улыбка. Раз при мне кто-то покорил его, что он ищет одобрения толпы. Родичев характерным, всему Петербургу знакомым движением вскинул голову, поправил пенснэ и, насмешливо улыбаясь, сказал.

— Конечно, я хочу одобрения. И не боюсь слова толпа. Как же иначе? Всякий политический деятель должен добиваться одобрения как можно бóльшего количества людей. Все дело в том, какой ценой, каким путем и для чего его добиваться.

У Родичева, как политика, был большой недостаток: он не стремился подчинять себе людей, ими управлять, был беспечно не честолюбив и хотя часто схватывал положение раньше и вернее других, но никого не понукал принять свою точку зрения, не проявлял никакой настойчивости. Свое мнение он высказывал очень откровенно и в заседаниях фракции и в особенности в Ц. К. Выскажет свое суждение, потом пожмет плечами, сострит и уступит дорогу чужой мысли, чужой настойчивости.

Его земляк по Тверской губернии, И. И. Петрункевич был несравненно жестче. В нем не было добро-

душной иронической снисходительности Родичева. В первый раз увидала я Петрункевича на январьском съезде партии Народной Свободы. Это был уже очень пожилой человек, старше большинства окружавших его единомышленников. Это было настоящее окружение, где превосходство Петрункевича, его право на водительство было почтительно признано. За ним числилось оппозиционное старшинство, легенда о том, как еще в 70-х годах, молодым человеком, он уже боролся за конституцию. Мы, младшие, смутно знали, за что Петрункевич был в опале, был устранен от земской деятельности, вообще пострадал. Почти четверть века был он не у дел, дулся на правительство и только Освободительное Движение начала XX века не надолго вернуло его к жизни. Думская фракция Кадетской Партии считала его своим лидером. Первое слово в Государственной Думе было предоставлено ему, сразу после выбора председателя. Петрункевич на трибуну не поднялся, говорил с места и произнес слово амнистия, которое было у всех на устах. Большинство политических ссыльных и заключенных, включая знаменитую старую гвардию «Народной Воли», так называемых шлиссельбуржцев, было уже амнистировано, освобождено. Но террор, аграрные беспорядки, революционные насилия продолжались и в тюрьмы попадали новые нарушители общественного порядка, для которых оппозиция тоже добивалась амнистии. Слово амнистия неустанно повторялось на избирательных собраниях. Его же в день открытия Думы выкрикивала толпа на улицах, приветствуя депутатов. В тот день, когда Россия празднует открытие русского народного представительства, в этот давно жданный день свободы нельзя допустить, чтобы люди, боровшиеся за эту свободу, продолжали томиться в тюрьме.

Высказать это, действительно, всеобщее требование было поручено Петрункевичу. Его взволнован-

ные, горячие слова заслужили аплодисменты всей Думы. К несчастью, несколько дней спустя, когда происходили прения об амнистии, у Петрункевича сорвалась неудачная фраза, что, благодаря правительству, самое слово патриотизм стало для русских людей одиозным. Меня эти слова укололи, поразили.

Петрункевич и его ближайшие единомышленники, конечно, любили Россию, считали, что служат ей. Но они так привыкли за годы вынужденного общественного бездействия заменять слова Россия, Русское Государство, словом народ, что потеряли ощущенье государства, как живого существа. Бессильная, пассивная оппозиция отравляет даже людей хороших, неглупых, каким несомненно был И. И. Петрункевич.

Этим грешили не только освобожденцы и кадеты. Сходную близорукость в таком важном вопросе, как патриотизм, проявляли выдающиеся люди разных оттенков. В 90-х годах прошлого столетия Вл. Соловьев, которого никак нельзя причислить к беспочвенным радикалам, напечатал в Энциклопедическом Словаре Эфрона заметку о поэте Жемчужникове, где с большой похвалой привел его стихи:

Вы все, в ком так любовь к отечеству сильна,
Любовь, которая все лучшее в нем губит,
И хочется сказать, что в наши времена
Тот честный человек, кто родину не любит...

Жемчужников был не крамольник, не фрондер, не разрушитель, а поэт-барин, дослужившийся до видного положения помощника статс-секретаря Государственного Совета. Его стихи Соловьев сопроводил таким замечаньем: «В истинном патриотизме нежная любовь к родине неразлучна с жгучей ненавистью к ее врагам».

Так христианский философ, который знал мисти-

ческую власть любви и ненависти, за двенадцать лет до Думы признал моральную допустимость тех политических страстей, которые бушевали в первом русском парламенте. Петрункевич поддавался этой жгучей ненависти, этой одержимости, как и все кругом. Направить либеральную оппозицию на путь трезвого законодательства было не по силам такому лидеру.

У Первой Думы вообще не нашлось разумного поводыря. Много было в ней блеска, много словесных талантов. Оказалось, что в русских таятся фонтаны складных слов. Это не была выучка, натасканность. Профессионально красноречивы были только профессора и адвокаты. Тех и других было не мало. Остальные депутаты, включая крестьян, учились говорить, стоя на трибуне. Они хорошо выражали свои мысли, приправляли их чувством, воспламеняли себя и других. Но поджигателями себя не считали. У них и в мыслях не было, что может разгореться всероссийский пожар. В этом было коренное различие между общественностью и властью. Мы не боялись огненности революции. Они ее боялись. К несчастью, правы оказались они, а не мы.

В Первой Думе все-таки раздалось несколько предостерегающих голосов. Они шли от нескольких депутатов, сгрудившихся около гр. П. Гейдена. Их было мало, но все это были люди незаурядные. Старый граф Гейден, председатель Вольно-Экономического общества, парламентарий английского типа, либерал, но умеренный и благоразумный, два свойства, которые в первых двух Думах мало ценились. Рядом с ним сидел Михаил Александрович Стахович, орловский предводитель дворянства, убежденный монархист и не менее убежденный сторонник народного представительства. Стахович в придворных кругах считался красным, а в оппозиции чуть не черносотенником. Он был очень талантлив, говорил вдохно-

венно и заразительно. Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности. Да и заслужить ее в Думе он не мог, так как шел вразрез с массовыми чувствами, взбудораженными смутой. Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми. Может быть, еще и потому, что в нем кипела не остывающая юношеская жажда жизни. Временное Правительство попыталось сделать из него дипломата, послало его в Мадрид. Он недолго оставался на этом живописном посту, купил на юге Франции ферму, как Лев Толстой, с которым он был очень близок, сам шел за плугом, опахивая свои виноградники. Он писал друзьям в Англию, что это счастливейшее время его жизни. Там, среди виноградников, он и умер.

Рядом со Стаховичем и гр. Гейденом сидел на депутатских скамьях профессор всех юридических и гуманитарных наук, блестящий М. М. Ковалевский, грузный барин, сумевший, несмотря на объемистый ученый багаж, сохранить подвижность ума и неистощимую веселость. Ковалевский разделял кадетские политические взгляды с незначительными поправками. Но в партию он не вошел. Заливаясь своеобразным хохотом, от которого не только он сам, но и воздух кругом колыхался, Ковалевский пояснял:

— Не могу же я под Милюковым сидеть. Душа не принимает.

Путь в партию загораживал ему не только Милюков, но и кадетская тактика, правда, в значительной степени направляемая Милюковым. Кадеты сразу заняли совершенно непримиримую позицию по отношению к правительству. Ковалевский громогласно и неоднократно объявлял себя оппозицией Его Величест-

ва. А кадеты были оппозицией Его Величеству, хотя вслух этого и не заявляли.

В той же Гейденовской группе незаметно и молча отсиживался будущий глава Временного Правительства кн. Г. Е. Львов. Под конец Думы к этим умеренным конституционалистам перешел профессор философии кн. Е. Н. Трубецкой. Вошел он в Думу по кадетским спискам, но скоро отошел к Гейденовской группе. Вернее приткнулся. У Гейдена не было организованной партии, просто пять, шесть единомышленников, которые чувствовали грозность положения и самоотверженно, но тщетно пытались образумить остальных. В них не было эгоистического страха за себя, за свои преимущества. В них было не меньше искренности и мужества, чем у левых депутатов. Они это доказали своими речами, резко расходившимися с буйным пафосом думского большинства. Эти паладины здравого смысла взяли на себя неблагодарную задачу утихомирить взвинченных депутатов, призвать их к хладнокровию, к благоразумной осмотрительности, справедливости и постепенности.

Я не помню Трубецкого на трибуне, но помню как горячо он спорил в кадетской фракции. Не только его слова, его доводы, но просто он сам, его личность не могли не произвести впечатления. В нем было много прирожденного шарма. Широкоплечий, стройный, с легкой юношеской походкой, он быстро проходил через толпу, высоко над ней нес свою красивую породистую голову. Умные, темные глаза смотрели пристально и решительно. В этом философе, изучавшем Платона под сенью прадедовских лип и дубов, не было кабинетной тяжеловесности. Его также легко было себе представить на коне в ратном строю, как и на профессорской кафедре.

С первых же дней Думы Трубецкой пробовал бороться в кадетской фракции против многого, что он

считал нежизненным, надуманным, вредным. Он уговаривал составить ответный адрес в более примирительном тоне, искать точек сближения, а не расхождения с правительством, попытаться с ним сотрудничать. Но не из-за адреса отошел Е. Н. Трубецкой от кадет, среди которых у него было много старых друзей. Его оттолкнуло наше отношение к террору. Трубецкой считал, что Дума обязана вынести моральное осуждение террористам, которые продолжали убивать мелких и крупных агентов власти. Он твердил, что этого осуждения требует совесть народная. Дума не может работать, пока не наступит в стране успокоение, и в этом она обязана помочь правительству.

Трубецкой был глубоко верующий православный человек, но он не пытался обращаться к христианским чувствам депутатов, слишком хорошо знал, как далеко руководящая верхушка русской интеллигенции отошла от Церкви, от Христа.

На все свои моральные и правовые доводы он неизменно получал один ответ:

— Пусть правительство сначала прекратит свой террор, а там посмотрим.

Тогда Трубецкой ушел из кадетской партии. Вернулся он в нее через одиннадцать лет, когда раскатилась революция 1917 г.

Страшный вопрос о терроре был одним из подводных камней, о которые разбилась первая, отчасти и вторая Дума.

Был среди кадетских депутатов один, который, казалось бы, мог поддержать Трубецкого и Стаховича. Это был Л. О. Петражицкий. Я не раз слышала как юристы, мои товарищи по партии, с восхищением, с удивлением говорили о разносторонности его знаний, об оригинальности его аналитического мышления, о созданной им психологической теории права. Среди ученых юристов он пользовался огром-

ным авторитетом. Скромен он был до невозможности, садился всегда в уголок, в прения вмешивался только в крайнем случае. Но каждое его замечание сразу освещало вопрос. Точно у него в кармане был фонарь, который он мог навести на любую область политического мышления.

Маленький, щупленький, похожий на комарика, с белобрысыми усиками, с незначительным личиком, Петражицкий проходил через думское торжище как будто ни на что не обращая внимания, осторожно, незаметно, как птичка пробирается по камушкам через ручей. Только легкая, умная улыбка и спокойный, пристальный взгляд выдавали Петражицкого. Он все замечал, все взвешивал, неустанно наблюдал людей, на понимании которых построил свои юридические теории. И над многим посмеивался. Во фракции он всех внимательно выслушивал, потом высоким, тонким голоском высказывал свои соображения, всегда оригинальные, независимые, освещавшие вопрос с новой, неожиданной и важной стороны. Говорил он тихо, просто, скрашивая речь тонкой иронией. У него был сильный польский акцент. Он строил фразы не совсем по-русски, приставлял русские окончания к иностранным словам, которые употреблял в большом изобилии. Это придавало его речам оттенок заморской щеголеватости, вполне для него естественной.

По складу ума, проницательного и уравновешенного, Петражицкий был противником крайностей. Они шли вразрез с его мышлением, по элегантной своей четкости сходным с мышлением математика. То, что кабинетный ученый с таким требовательным умом согласился стать политиком, показывает, как широко захватило Освободительное Движение людей самого разнообразного склада. Петражицкий был правовед и поляк. Русское Освободительное Движение боролось за правовое государство, и государственник Пет-

ражицкий счел своей обязанностью стать в его ряды. Партия Народной Свободы включала в свою программу автономию Польши, и поляк Петражицкий счел своей обязанностью в нее войти. Тем более, что кадетское правовое сознание было ему близко, родственно.

В Думе поляки составили отдельную группу, Польское Коло. Они держались особняком от русских и это подчеркивали. Но и Петражицкий, и другой видный, даровитый, привлекательный поляк Александр Робертович Ледницкий, московский адвокат, вошли не в Польское Коло, а в кадетскую партию. Когда в результате войны и революции, родилась независимая Польша, они оба поселились в Варшаве, где их обоих соотечественники резко корили за руссофильство и кадетизм. Говорят, даже травили. Для меня оба эти поляка, дружбой с которыми я горжусь, остались символом возможного, необходимого единения между русскими и поляками. Оно раньше намечалось в дружбе Пушкина и других выдающихся русских просвещенных людей с Мицкевичем. К несчастью, тогда эта дружба трагически порвалась.

Если можно сравнивать, соизмерять умы, всегда разнообразные по емкости, по оттенкам, то Петражицкий, по силе и ясности политических суждений, был, несомненно, одним из самых умных людей, одним из самых последовательных государственников в кадетской партии. А влияния на ход Думской политики он имел несравненно меньше, чем не только Милюков, который не был ни юристом, ни даже членом Думы, но даже меньше чем, например, Винавер или Набоков. Может быть, оттого, что они плыли по течению, поддавались подстрекательству, которое, как перекрестный сквозняк, врывалось в настежь открытые окна Таврического Дворца.

Петражицкий, с его чувством меры, с его чувст-

вом государственности, не мог не знать, что давно пора сказать взбудораженному населению России:

— Вот до сюда и ни шагу дальше.

Но и он этого не сказал. Почему? Может быть, как психолог понимал, что есть массовые эмоции, которых словами не перебьешь? Знал, что народ должен их изжить?

Глава одиннадцатая

МЫ И ОНИ

Революционная стихия, породив Государственную Думу, все еще не входила в берега. На каждом шагу напоминала она о себе народным представителям. Им не давали опомниться, их подгоняли, с детским нетерпением ждали, что они сразу, как по волшебству, осуществят все перемены, о которых говорилось в партийных программах и на митингах.

Новорожденный русский парламент жил среди массового подстрекательства. В Таврическом Дворце напор шел от Трудовой Группы, от кулуаров, врывался извне. Все новые и новые депутации, нередко в живописных местных костюмах, появлялись в парадных, гулких, дворцовых залах. Ходоки привозили с собой наказы, где неизменно говорилось о земле и воле, где гремел все еще немолкнувший лозунг — требуйте, требуйте! В кулуарах вокруг ходоков собирались митинги. Журналисты и публика их окружали, распрашивали, поддерживали, расхваливали. Страна точно еще дрожала от нетерпения и нетерпимости. Царила общая уверенность, что все будет прекрасно, если только неустанно вынуждать правительство на новые уступки. Но Дума уступать ничего не должна. Стойте твердо за права народа и знайте, что весь народ, как один человек, готов поддержать Государственную Думу.

Этим обещаньям верили. Умные кадеты поддавались демагогическому гипнозу. Он шел не сверху, не от вожаков, а от толпы, от Демоса. Были скептики, были сомневающиеся, но их иронические голоса тонули в общем победном хоре, гремевшем и внутри Таврического Дворца и за его стенами. Народные представители жили, как на открытом форуме, проще сказать, на площади. Вокруг них еще шумело взбаламученное море. Это была уже не буря, а мертвая зыбь. Но не нашлось достаточно чуткого уха, чтобы во время уловить перемену в ритме.

Иллюзия поддерживалась кулуарным гулом. В жизни Первой Государственной Думы кулуары занимали большое место. Название кулуаров не подходит к великолепной Потемкинской бальной зале, которая была отведена для публики, для журналистов, для встречи депутатов с народом. Длинный и широкий покой, в котором при матушке Екатерине танцевали тысячи пар, поражал стильностью, красотой и размерами. Через высокие, от потолка до полу, окна можно было прямо выходить в сад. В простенках такие же высокие зеркала, около них белые скамьи, обитые голубым штофом. Под потолком сверкали старинные хрустальные люстры. А под ними, на блестящем, узорном паркете, кружилась, суетилась, шумно волновалась пестрая, совсем не бальная толпа.

Но праздничность в ней была. Она шла от весеннего солнца, от выраженья лиц, от светлых женских платьев. Элегантных дам было немного. Их дорогие наряды спокойно уживались с менее обдуманными костюмами женщин, захваченных политикой, еще не остывших от горячей выборной работы. У женщин не было избирательных прав, но они развили такую энергию, что считали депутатов своими избранниками и приходили в Таврический Дворец, если не как к себе домой, то как в свой клуб.

Почти каждый день на трибуне выдвигались новые люди. В кулуарах их ловили, окружали, обласкивали, взвинчивали, подкладывали в огонь хворосту. Знакомые и незнакомые собирались в группы, громогласно обсуждали все сказанное с трибуны, еще более громогласно громили министров за каждое их слово, каждое их движение.

В бальной зале Таврического Дворца как бы продолжались заседания Государственной Думы. Здесь до конца, до последнего абсурда, договаривалось то, что обсуждалось в полуциркульном зале заседаний. Но там сохранялось некоторое чувство ответственности. Там Муромцев, пресса, стенографисты, — все удерживало в каких-то, хотя и очень широких, но все-таки рамках. В кулуарах царила безбрежная свобода и безответственность. Там с утра до вечера шел непрерывный митинг, никем не направляемый, но тем более задорный. Говорили все, кому было не лень: члены бесчисленных депутаций, непрерывным потоком тянувшихся со всех концов России, одинокие посетители, журналисты, русские и иностранные, изредка и депутаты. Женские голоса часто перебивали мужские. Это была наскоро оборудованная лаборатория, где лихорадочно проверялось и вырабатывалось еще не кристаллизованное общественное мнение.

Одним из любимых кулуарных героев был Аладьин. С красной гвоздикой в петличке, — эту эмблему социализма мало кто из трудовиков носил, — с счастливой улыбкой на бритом лице, он откровенно упивался похвалами. Почему бы ему и не упиваться? Ведь он верил, да и многие кругом него верили, что своим красноречием он колеблет дряхлое, ненавистное самодержавие, расчищает перед народом дорогу к новой жизни, свободной и счастливой.

Нельзя понять ту эпоху, если забыть повальную, безграничную веру в политические формулы, забыть

тот энтузиазм, с которым их повторяли, как повторяют колдовской заговор. Когда извержение кончилось, когда лава остыла, многие с изумлением озирались, сами себе удивлялись — как мог я так думать, так говорить, так действовать? Очевидно было тогда в России, как во Франции перед революцией 1789 г., массовое настроение, которому только немногие не поддавались. В такие поворотные эпохи истории люди становятся обреченными. Или одержимыми.

Одержимость 1906 г. была насыщена высокими идеями и добрыми порывами. Это не была эгоистическая борьба за власть людей определенного класса. Где уж тут, когда на штурм бросились дворяне, господствующий класс. Для них власть была не целью, а средством, чтобы дать России самый усовершенствованный государственный строй, устранить или облегчить социальные несправедливости, защитить униженных и обиженных, сделать всех свободными. В толпе депутатов первого набора, которые еще вчера были просто обывателями, а сегодня стали частью русского государственного механизма, немного было честолюбцев. Даже слишком мало. В политике честолюбие важный двигатель. Честолюбие приучает к осторожности. Осторожности русские общественники не проявили, считали ее такой же вредной, как сговорчивость. О чем раздумывать, о чем сговариваться, когда все ясно, когда вот, вот и мы осуществим великие замыслы и идеалы.

Кипучая освободительная идеология, которую накопили предыдущие поколения, которую наше поколение донесло до первого русского парламента, начала давать результаты, оказала на русскую жизнь влияние, глубокое и благотворное, но позже, когда Дума сузилась, смирилась. Внутренний рост Российской Державы сразу усилился, народное благосостояние подня-

лось со сказочной быстротой, а историческая власть осталась на месте. Вглядываясь в Россию, за последние полвека невольно удивляешься ограниченности и бессилию человеческих расчетов. Русская интеллигенция взрывала самодержавие, чтобы освободить и обогатить народ, а получился коммунизм, нищета, рабство, террор. В 1914 г. мы с такой же страстностью вложили себя в дело защиты отечества. К патриотическому порыву присоединился дружный, из страны в страну пробежавший клич: война войне, война последней войне! На самом деле вражда между народами усилилась, привела к еще более разрушительной и страшной нынешней войне, за которой многие уже предвидят следующую еще более страшную, еще более жестокую. Шатки и слепы наши логические способности.

Летом 1906 г. такие мысли не приходили в голову. В кулуарах Таврического Дворца иллюзии полыхали, как зарево. Я эти иллюзии разделяла. Вильямс также. Мы с ним, два журналиста, торопились в Таврический Дворец, как на званый пир. Он писал в «Манчестер Гардиан», а я в разных русских газетах. Работа была и спешная, и захватывающая. В Первой Думе ложа для журналистов помещалась направо от председателя, рядом с просторной министерской ложей. Потом нас перевели налево, отогнали подальше от министров, не знаю, по их просьбе или полиция нашла такое соседство не безопасным. Журналисты были органически связаны с Государственной Думой, частью ее, как посредники между Думой и читающей Россией. Они были разносителями, толкователями думских идей и домогательств, ее страстей, ее гнева. К счастью, несмотря на весь гражданский пыл медового месяца русского парламентаризма, несмотря на заразительность переливавшего через край энтузиазма, у нас, газетчиков, все-таки уцелело чувство юмора. В ложе

прессы постоянно слышались шутки, остроты, смех. Опасно было попасться этим зубоскалам на зубок.

Общий дух прессы сливался с настроением самой Думы. Журналисты как бы продолжали ее работу, особенно стараясь выделить, оттенить в своих отчетах все, что говорилось против правительства. Когда начали выступать министры, они не нашли сочувственного отклика ни на думских скамьях, ни в ложе журналистов, ни среди публики, присутствовавшей на хорах, ни среди газетных читателей. Правда, трудно было сочувствовать ограниченному, заскорузлому в бюрократическом формализме премьеру Горемыкину, когда кругом кипели новые идеи.

Думские репортеры были одним из проявлений этой новизны. Это была новая разновидность газетчиков. Среди нас почти не было людей, раньше составивших себе имя. Это был новый набор. Большинство пробило себе дорогу к этой профессии отчетами о выборных собраниях. Там они познакомились с новыми политическими деятелями и их мыслями, приучились быстро излагать речи и прения. Это не так легко даже при писательских способностях. Хороший парламентский репортер должен прежде всего цепко следить за чужой мыслью, отчетливо ее схватывать, запоминать, быстро передавать главное, не увлекаясь завитушками и отсебятиной, которая так легко разгорается в воображении талантливого писателя.

Не знаю, потому ли, что Думская работа требовала быстроты, или потому, что евреи со свойственной им страстностью все глубже ныряли в русскую политику, но среди думских репортеров оказалось немало евреев. Из русских помню представителей «Русских Ведомостей» Аркадакского, которого знала еще по Парижу. Маленького, черномазенького Скворцова, редактора журнала «Колокол», который с пугливой брезгливостью держался в стороне от остальной пи-

шущей братии, и приват-доцента А. А. Пиленко, сотрудника «Нового Времени».

Русский парламент родился в 1906 и кончился в 1917 г. За эти 11 лет думские журналисты сумели создать себе в русской прессе место и видное, и выгодное, свои заработки довели до размеров, раньше неслыханных. Многие из них любили свое ремесло, гордились им. Иногда путали, перевирали, привирали, преувеличивали таланты своих любимцев, замалчивали здравые мысли, удачные слова своих политических противников. Но большинство были честные газетные работники, старались давать читателям верную информацию и не спекулировали на парламентских делах, на газетных заметках, как это часто делается в европейской прессе.

В Первой Думе журналисты, несмотря на свою профессиональную насмешливость, относились к своим обязанностями, ко всему, что делалось в Думе, с таким же увлеченьем, как и народные представители. Мы были сотрудниками депутатов. Это приподымало, обязывало. Для меня это сотрудничество было особенно тесным, так как я, как член Ц. К., имела право принимать участие в совещаниях и решениях кадетской фракции Государственной Думы. Насколько мне известно, в других фракциях женщины в совещаниях участия не принимали и таких полудепутаток не было. Меня выбрали в Ц. К. на апрельском съезде партии. Он происходил перед самым открытием Государственной Думы и прошел под шум победных речей и восклицаний. Партия так разрослась, что необходимо было ввести в Ц. К. новых людей, выдвинувшихся во время выборов, частью депутатов, частью деятельных провинциалов. Списки новых членов составлял и проводил Шаховской. Он знал своих единомышленников повсюду, он лучше многих понимал людей. Его

авторитет был так велик, что его кандидатуры почти не обсуждались, просто голосовались.

Он и меня провел в Ц. К. По правде сказать, особенных заслуг за мной не числилось. Я могла писать и писала в газетах. Во время выборов я убедилась, что могу говорить политические речи. Я не боялась эстрады, не робела перед толпой, могла отбивать жесткие мячики противников. Но политически я была мало подготовлена. Да и не я одна. Некоторую выучку я прошла, когда попала в Ц. К. Все же Шаховской, всматриваясь в меня круглыми, ясными, насмешливыми глазами, в ответ на мои сомненья, гожусь ли я в члены высокого собрания политических книжников, решительно заявил:

— Ничего. Вы быстрая. На ходу научитесь. А для Павла Николаевича полезно, что в нашем Ареопаге будет женщина.

И захохотал, вспоминая мой бой с Милюковым из-за женского равноправия.

Конечно, Ц. К. это был Ареопаг, собрание людей выдающихся, просвещенных, успевших уже проявить себя в той или иной области. Больше всего было юристов, теоретиков и практиков, профессоров и адвокатов. Вопросы права трактовались на наших заседаниях лучшими его знатоками. У нас был Набоков, двое Гессенов, Иосиф и Владимир, Винавер, Кокошкин ,Тесленко, Маклаков, Петражицкий. Многие земцы окончили юридический факультет. Были у нас и профессора истории философии, социальных наук: Н. И. Кареев, П. И. Новгородцев, Е. Н. Щепкин, Н. А. Гредескул. И в Ц. К. и во фракции были люди разного калибра, но не было ничтожеств.

В Таврическом Дворце для заседаний кадетской фракции была отведена большая угловая комната, из окон которой мы могли прямо выходить в сад. Слово заседание не очень точное, т. к. часто нам некогда

было рассаживаться. Быстрые, летучие совещания происходили в перерыв между прениями, перед поправками и голосованиями для обсуждения ответа на министерскую речь. Депутаты слушали друг друга и в то же время прислушивались, не зазвонит ли звонок, призывающий их вернуться в залу заседания. Надо было быстро наметить ораторов, проверить доводы, закрепить позиции, нащупать слабые стороны противника, обменяться впечатлениями и соображениями. Во фракции не любили многословия, ждали не красноречия, а ясности. Хотя в этой угловой, залитой светом комнате слова часто звучали крепче, чем с трибуны. Многие речи, первый набросок которых я слышала во фракции, вынесенные на трибуну, теряли свою непосредственную убедительность. Как первый набросок поэмы бывает иногда пленительнее законченного, отшлифованного чистовика.

Из залы заседаний депутаты приносили с собой во фракцию горячую пульсацию парламентских прений. Их отзвуки можно было ловить и в кулуарах, но в нашей залитой солнцем, просторной фракционной комнате депутаты были не в толпе, они были у себя, среди своих. Не надо было опасаться, что газетчики поймают неосторожное слово и пустят его в печать. Во фракции было безопасно думать вслух, критиковать чужих и своих ораторов, высказывать сомнения, бросать те полумысли, которые придают суждениям животрепещущую остроту.

И шутить во фракции можно было без опаски, без оглядки. Наш Ареопаг не был торжественным. Торжественность не в русском духе. Русский народ простой. Во фракции раздавался смех, остроты, цитаты из поэтов на всяких языках, не исключая латинского и греческого, который чаще всего приводил Д. Д. Пртопопов, хороший лингвист. Все это вперемежку с кипеньем политических эмоций, для выраже-

ния которых эти даровитые люди умели находить слова пламенные и искренние.

Горенье духа было большое, но практической догадки было мало. Казалось бы, что сотрудничество с правительством было непременным условием законодательной работы всякого народного представительства, между тем всякое соприкосновение с представителями власти приводило депутатов в состояние сектантского негодования.

Это очень резко выявилось, когда по Таврическому Дворцу прошла тень, только тень переговоров между Милюковым и правительством. Фракция, вообще очень покорная, сразу взбунтовалась против своего лидера.

Переговоры вперед были опорочены странным выбором посредника, третьесортного иностранного корреспондента, очень непопулярного среди своих коллег, русских и иностранных. Но, по правде сказать, если бы правительство выбрало и более почтенную сваху, все равно из этого бы ничего не вышло. Обе стороны не додумались до уступок, а без них какой же сговор. От правительства требовали безусловной сдачи, ответственного перед Думой министерства, которое осуществит кадетскую программу. Но правительство было не так слабо, чтобы капитулировать.

Первая Дума была думой неизжитого гнева против неограниченного самодержавия. Царь, издав манифест о народном представительстве, сам себя ограничил, но обличительные страсти все еще туманили умы. На этом вся Дума объединялась. Внутренней, междупартийной полемики в первой Думе почти не было. Вся динамическая сила и кадет и трудовиков была направлена против правительства. Когда министерская ложа пустовала, обрушивались на правительство в целом. Когда на кафедру выходил министр, летели в атаку против него.

Муромцев, чтобы немного охладить страсти, устраивал после министерских речей перерыв. Это не помогало. Молнии мелькали по всему Таврическому Дворцу. В кулуарах, во время перерыва, как пчелы гудели журналисты, депутаты, публика, спустившаяся с хор. Все, разгоряченные появлением тех, кого они считали врагами народа, пылали желаньем как можно скорее, как можно резче сказать этим прислужникам самодержавия всю, всю правду. Во фракциях ораторы наскоро набрасывали планы речей, самых беспощадных. Им со всех сторон подбавляли все больше враждебных возражений, колючих словечек, суровых упреков и обличений. Подымаясь на трибуну, ораторы знали, что чем яростнее они будут нападать на министров, тем больше сочувствия встретят они в Думе и вне Думы.

Председателем совета министров был старик Горемыкин. Невысокий, сгорбленный, с длинными, старомодными седыми баками, как носили дворецкие в барских домах, Горемыкин всем своим обликом олицетворял уходившую в прошлое сановную бюрократию. Говорить речи он, конечно, не умел, пожалуй обиделся бы, если бы кто-нибудь заподозрил в нем претензию на красноречие. Горемыкин в тех редких случаях, когда подымался на думскую трибуну, просто читал по бумажке речь, вероятно, составленную для него кем-нибудь из секретарей. Его голос, его манеры, его слова и мысли — все было из другого мира. То, что царь перед самым открытием Думы отставил Витте, инициатора манифеста 17-го октября, понимавшего значение народного представительства, и на его место назначил верного престолу, но ничего не понимающего в том, что творилось в России, Горемыкина, толковалось как пренебреженье к Думе, как лишнее доказательство нежеланья с ней работать.

Но и народное представительство со своей сторо-

ны не проявляло охоты к сближению. Безумие было обоюдное. Ответственность падает на обе стороны. У правительства был вековой опыт, были традиции управления. Оно должно было понять, что время и события подняли из народной стихии свежие силы, что для укрепления и благополучия Российской Державы необходимо их использовать, дать им применение, исход. Министры смотрели на депутатов с такой же враждебностью и подозрительностью, с какой депутаты смотрели на министров. Но министры были сдержанее, не позволяли себе резких выходок, прикрывали свои чувства холодной вежливостью. Благовоспитанности и выдержки бюрократы проявили больше, чем народные избранники.

А депутаты считали себя в праве давать простор своему темпераменту, осыпали противников самыми жгучими обвиненьями, не взвешивая слов, даже не слишком заботясь о справедливости своих нападок. Особенно бурные стычки происходили из-за еврейского вопроса, из-за земли и смертной казни. Последний вопрос был самый губительный.

В России смертная казнь за уголовные преступления была отменена Императрицей Елизаветой Петровной в 1740 г., гораздо раньше, чем в Европе.

В ночь, когда лейб-кампанцы возвели дочь Петра Великого на престол, она перед образами поклялась, что никогда, никого не казнит. Указа она не издала, но с тех пор казнь за уголовные преступления была отменена, а за преступления государственные применялась крайне редко: в исключительных случаях. Россия отвыкла от эшафотов и виселиц. Все содрогнулись, когда Николай I повесил пять декабристов. Петрашевцам грозила виселица, но в последнюю минуту Николай заменил смертный приговор каторгой. При Александре II казнили за покушение на цареубийство. И русская юридическая наука, и русская народная со-

весть требовали полной отмены смертной казни. Об этом писались книги и статьи, читались лекции, произносились речи, доказывающие, что государство своих граждан убивать не имеет права. Помню я написала рассказ, — кажется, не плохой, — для сборника против смертной казни. Наша книга очень быстро разошлась. Любопытно, что наше равнодушие к императорскому прошлому и наше невежество были так велики, что в сборнике не было статьи, посвященной Елизавете Петровне. А ведь ее царственное решение усилило в русском народе какое-то прирожденное отвращение к смертной казни. Полтораста лет спустя после обета Елизаветы Петровны оно красноречиво, но, к несчастью, односторонне, высказалось в Государственной Думе.

Я пишу, а перед моим воображением встает дикая сцена. На председательском кресле возвышается внушительная фигура Муромцева. Гораздо ниже его, на секретарском месте, Шаховской. Между ними, на ораторской трибуне, человек в генеральской форме. Это главный военный прокурор Павлов, в веденьи которого находятся военно-полевые суды, вызывающие справедливое отвращение общественного мнения, воспитанного на правосудии реформ Александра II. Не успел он произнести несколько слов, как на депутатских скамьях началось настоящее безумие. Члены Думы исступленно кричали, топали ногами, вскакивали, стучали пюпитрами, грозили:

— Вон! Вон! Палач! Убийца! Кровь на руках! Вон! Палач!

Генерал опять попытался заговорить. Опять со всех сторон понеслись крики. Он махнул рукой, торопливо сошел с трибуны и исчез. Это была не случайная вспышка необузданных чувств. Ген. Павлов, пытавшийся заговорить от имени военного правосудия, был для общественного мнения фигурой и не-

навистной и символической. Вот как В. А. Маклаков, который в своих воспоминаньях сурово осуждает непримиримость оппозиции в первых двух Думах и резкость думских речей, пишет о ген. Павлове:

«У политических защитников моего поколения к Павлову добрых чувств быть не могло. Он для нас олицетворял «смертную казнь», требовал от судей ее примиренья, сменял мягких судей, отменял приговоры, в которых смертной казни назначено не было, словом, делал все, чтобы никто от виселицы не ускользнул.» (Из книги «Первая Государственная Дума»)

Военно-полевые суды волновали, возмущали, ожесточали общественное мнение. Они действовали в таком упрощенном, ускоренном порядке, что судьи не имели возможности разобраться в деле, обвиняемые не имели времени защититься, привести свидетелей, доказать свою невинность. Часто казнили людей, ни в чем неповинных, или совершивших проступок, за который не полагалось казнить. Не было никаких гарантий правосудия. Это был не суд, а бесчеловечная расправа. Военно-полевой суд редко кончался оправданием. Обычно он выносил смертный приговор, который немедленно приводился в исполнение. На него не было аппеляции. Для произвола судей, для судебных ошибок был неограниченный простор. Вся судебная процедура противоречила надписи, которую после реформы Александра II русские люди привыкли читать на всех русских судебных учреждениях:

ПРАВДА И МИЛОСТЬ ДА ЦАРСТВУЮТ В СУДАХ.

Нарушение этого мудрого завета вызывало справедливое негодование. Появление на думской трибуне генерал-прокурора, руководившего этим официальным беззаконием, подействовало на Думу, как прикосновение каленого железа. Взошел он на трибуну, чтобы от имени правительства ответить на запрос Думы о военно-полевых судах, но члены Думы не

пожелали слушать его ответа, не дали ему говорить. Буйными криками, оскорбительными возгласами они согнали его с трибуны. Тщетно гр. П. Н. Гейден напоминал оппозиции ее собственные проповеди:

— Не забывайте, что мы собрались сюда во имя свободы, что всякое насилие над свободой слова недопустимо, — говорил он. — Новый порядок надо вводить новыми приемами. Надо уважать права противника, уважать его личность.

Гейдена выслушали терпеливо. Но Павлову говорить все-таки не дали. Через несколько дней его убили террористы. Правительство считало, что доля ответственности за это убийство падает и на Думу, что думские речи подстрекнули террористов, усилили их уверенность, что они имеют право убивать агентов власти.

В поведении оппозиции, конечно, была двойственность. За государством она отрицала право убивать, а революционеров за бессудные убийства осудить не хотела. Это было губительное противоречие, правовое и моральное. Многие осознали это только позже. А в 1906 г. гр. Гейден, М. А. Стахович, М. М. Ковалевский, кн. Е. Н. Трубецкой тщетно взывали к народным представителям, уговаривая их вдуматься в эти противоречия. Прекращения военно-полевых судов они тоже добивались, но они считали, что одновременно с этим Дума должна вынести моральное осуждение террору.

Эти депутаты пользовались в Думе большим и заслуженным уважением. Трубецкой и Стахович были настоящие ораторы. В их доводах была логика, их призыв к внутреннему миру исходил из искренней патриотической тревоги за Россию. В ответ на постоянные угрозы слева, что народ силой возьмет то, чего правительство не хочет давать, Стахович говорил:

— Если среди народа есть голоса, что они решат

вопросы силой, не считаясь ни с чем, то Дума должна сказать такому народу: «Молчи». Это крик народа безумного, это крик народа преступного. Тысячу лет, потом и кровью народною, создавали и создали Россию. Россия принадлежит всем, а не одному нашему буйному поколению».

Вещие слова, но они не нашли отклика. Слишком резко расходились они с политическими страстями, кипевшими в Государственной Думе и вокруг нее. Голоса умеренных либералов остались голосами вопиющих в пустыне. Теперь это придает им пророческий оттенок.

Первая Дума все ставила остро, требовала немедленного разрешения сразу всех вопросов: общеправового, национального, аграрного. Самым острым оказался последний, но и национальные проблемы многоязычной русской Империи вызывали страстные споры. Особенно еврейское равноправие, вернее бесправие. Черта оседлости, ограниченность в правах передвижения, труда, образования делали еврейский вопрос особенно настоятельным, неотложным, настойчивее привлекали к нему внимание общественного мнения, сильнее заражали своей страстностью, вызывали более деятельное сочувствие, если не во всех, то во всяком случае в оппозиции.

В кадетской партии было не мало евреев, хотя гораздо меньше, чем в партиях социалистических. В думской фракции их было немного. Владимир Гессен, Винавер, Иоллос, Герценштейн, Шефтель, еще несколько адвокатов. Кажется это все? Из них больше всего на виду был Винавер. Это был успешный петербургский адвокат с богатой практикой. Хороший оратор, умный, ловкий, искренний защитник правового строя. Но его дразнил бес тщеславия. Он любовался каждым своим словом, каждым жестом и, что удивительнее всего для такого умного человека, этого самоуслаждения

даже не старался скрыть. Винавер мечтал стать руководителем кадетской партии. Ему это не удалось. Не могло удасться. Позже, потеряв вместе с другими выборжанами политические права, Винавер потерял и возможность с думской трибуны привлекать к себе внимание всей России. Он постепенно отошел от партии, только изредка появлялся на заседаниях Ц. К., членом которого был с начала и до конца. Но к Винаверу прислушивались. У него была очень ясная голова. Он бывал очень полезен при обсужденьи запутанных вопросов, особенно юридических.

Мне часто хотелось понять степень и качество влияния Винавера в кадетской партии, которую правые величали партией жидо-масонской. Обидеть нас эта кличка, конечно, не могла. Мы над ней только смеялись. Я не читала «Русского Знамени», но мне говорили, что там и меня величали жидо-масонкой. Газета эта стояла на таком низком уровне, была такая грубая, что полемизировать с ней не приходилось. Вообще грубость была отличительной чертой правых, вплоть до употребления непечатных слов. Конечно, не в «Русском Знамени», этого цензура не допустила бы, но они рассылали поносительные открытки, полные непристойных ругательств. Присылались они и на мое имя в редакцию «Речи», чтобы мои коллеги могли их прочитать.

Во мне нет еврейской крови. Я никогда не принадлежала ни к какой тайной организации, масонкой не была. О существовании женских масонских лож узнала только заграницей. Что есть масоны среди кадет, я знала. Возможно, что масонство с его директивами, исходящими от центра, имело косвенное влияние на политику партии, но влияния решающего, абсолютного иметь на нас оно не могло. Слишком большая царила среди нас свобода суждений.

О влиянии евреев, поскольку оно развивалось

открыто, легче судить, чем о масонских тайнах. Главными созидателями и руководителями кадетской партии были не евреи. Среди кадетов-евреев не нашлось такого крупного человека, который мог бы повести за собой русских либералов, как в середине XIX в. еврей Дизраэли повел английских консерваторов. Среди наших единомышленников, евреев, было много людей способных, искренне преданных либеральным идеям, но самые значительные люди в кадетской партии были русские. Это не значит, что я отрицаю влияние евреев, растворившихся в нашей толпе. Самая их неугомонность не могла не действовать. Своим присутствием, своей активностью они напоминали о себе, о том, что надо их выручать, помнить об их положении. И мы честно помнили, честно считали, что еврейское равноправие необходимо не только евреям, но нужно самой России.

Чувство расового отталкивания не свойственно русскому народу. В русской интеллигенции не было расовых предубеждений. Мы мечтали о всемирности, верили в великое братство народов. Только, к несчастью, не стремились к братству во Христе.

Русская Империя росла постепенно, втягивая в себя все новые соседние народы. Они то сживались, то сливались с господствующей русской народностью. У нас не было заморских колоний с темнокожими дикарями, в которых победители не сразу разглядели людей. Попадая в русскую школу, якут, осетин, абхазец, сарт, киргиз, чуваш, эстонец, молдаванин, учились вместе с детьми русских чиновников, вместе с ними твердили «Птичка Божия не знает», вместе ненавидели Иловайского и любили Пушкина. Если инородец хотел и умел учиться, он мог попасть на военную или штатскую службу, стать частью государственного механизма.

Для евреев это было, за очень редкими исключе-

ньями, недоступно. Они не могли быть ни чиновниками, ни офицерами. В школах процентная норма для евреев была очень маленькая, кажется, пятеро евреев на сотню остальных учеников. Несмотря на это, в некоторых профессиях: в адвокатуре, в банках, в медицине, позже в журналистике — евреи весьма успешно соперничали с русскими. Просторнее всего им было в торговле, да и то приходилось хитрить, изворачиваться, отделываться взятками. Такой порядок и беспорядок не мог не возмущать оппозицию, которая поставила себе задачей сделать Россию правовым государством, водворить равенство всех граждан перед законом. Те евреи, с которыми мы в Петербурге общались, жили благополучно, некоторые и широко. Но это не меняло сущности дела. Еврейский вопрос был одним из постоянных напоминаний о грехах самодержавия, одной из помех для более примирительного отношения к власти. Политика власти в еврейском вопросе шла вразрез с нашими понятиями о справедливости, о человечности. Эти идеи права были для нас не просто логическими категориями, это был наш Коран. Мы присягнули ему без обрядов, без масонских или иных церемоний, но это была внутренняя крепкая присяга.

Вдумываясь в пути и перепутья еврейских влияний, нельзя обойти Милюкова. Он с самого начала стал их любимцем, был окружен кольцом темноглазых почитателей, в особенности почитательниц. Нельзя сказать, чтобы он особенно стремился этим хором дирижировать. Скорее они, под сурдинку, баюкали его своими мелодиями, заласкивали его, без всякого стеснения осыпали его до комизма вздутыми похвалами. Евреи восторжены, сентиментальны и влюбчивы. Сквозь тысячелетия пронесли они преувеличенную восточную красочность как в лести, так и в поношении. Сам Милюков не был ни сентиментальным,

ни восторженным. Это был холодный, рассудочный человек. Но чужой энтузиазм, если он к нему самому относился, его подкупал. Льстецам, хвалителям он порой поддавался.

Все же не следует преувеличивать давление евреев на Милюкова, а через него и на всю кадетскую партию. Милюков был человек крепкий, упористый. Он прокладывал себе дорогу на пересечении разных равнодействующих, среди которых евреи были только одной из величин. Их домогательства, их стремление уравняться в правах с остальным населением совпадали с основными принципами как его партии, так и его самого. Именно это, а не личная податливость вождей или рядовых кадет, сделало еврейское равноправие совершенно законной частью кадетской программы.

В Первой Думе еврейский вопрос обострился под влиянием двух неравноценных фактов. В Белостоке и Гродно произошли еврейские погромы. Это взволновало оппозицию. В Думе еврей Герценштейн, видный член кадетской партии, произнес речь по аграрному вопросу, которая взволновала правительство и правых помещиков.

С погромами вышло, как всегда. Левые утверждали, что погромы произошли по вине властей, при их попустительстве и подстрекательстве. Правительство это обвинение отбрасывало, доказывало, что погромы есть проявление давней враждебности населения к евреям и что только благодаря вмешательству полиции эксцессы не приняли более грозного характера. Оппозиция внесла по этому поводу запрос. Прения были бурные, буйные. Депутаты осыпали министров обличеньями и укорами. По неукротимой страстности эти дебаты мало уступали выступлениям против генерала Павлова и военно-полевых судов.

Запрос о погромах углубил пропасть между Ду-

мой и властью. Становилось очевидным, что работать вместе они не могут. А тут еще встал самый острый, самый насущный, уже русский вопрос — земельный.

Аграрная программа кадет предлагала принудительно отчудить, по справедливой оценке, частновладельческие земли для раздачи их крестьянам. Этот пункт программы вызывал страстные споры, отдалял от кадет тех, кто другие их правовые принципы и пожелания разделял. Так случилось с очень даровитым саратовским депутатом, Н. Н. Львовым.

Это было очень своеобразный тип русского либерала. Во всем его облике, физическом и духовном, было что-то Дон-Кихотское. Настоящий рыцарь без страха и упрека, образованный, даровитый, остроумный, отзывчивой на все благородное. Рыцарь бродячий, без определенных обязанностей. Богатый помещик, он был до того не деловит, что никогда не открывал писем. Ему было скучно не только на них отвечать, даже их читать. В кулуарах, если его что-нибудь задевало за живое, Львов мог, никого, ничего не слушая, разразиться блестящей речью, которая взлетала как ракета. Но трудно себе представить Николая Николаевича терпеливо, трудолюбиво приготовляющего ответственную парламентскую речь. Между тем его красивая голова была полна идеями, часто очень здравыми и он умел находить для них красочные, острые формулировки. Н. Н. Львов точно пришел из 40-х годов прошлого века, когда для просвещенного русского дворянства слова уже были делами.

Он принимал участие в Освободительном Движении, в борьбе за конституцию, был членом Союза Освобождения, участником земских съездов. Для него кадетская партия была логическим завершением длинного ряда не только мыслей, но и поступков. Он состоял в числе ее учредителей. И вдруг он, совер-

шенно неожиданно произнес во фракции речь, где резко раскритиковал аграрную программу кадетской партии. Львов заявил, что уменьшение частного, в особенности старого дворянского землевладения понизит общую культуру деревни, не увеличит, а уменьшит производительность земли, а мужику не так уж много даст. Для государства, для всей России гораздо выгоднее повысить производительность крестьянского хозяйства, введя в него улучшения, чем разорять налаженное помещичье хозяйство. Надо расширить и упорядочить переселение, а не сгонять с земли хороших хозяев, хотя бы они и были дворяне.

По существу он был совершенно прав, но фракция слушала его с недоуменьем, а некоторые депутаты и с негодованием. Тут тоже был своего рода Коран. В кадетах сидело свойственное всей русской интеллигенции томленье по социальной справедливости, приближавшее их к социалистам утопистам. Мужика в течение веков обижали. Надо же, наконец, вознаградить его, дать ему что-то большое, весомое. Для многих кадет наша земельная программа была своего рода политическим аттестатом, закрепляющим за партией право называться демократической. И вдруг Николай Николаевич, которого все считали верным демократом, вздумал защищать дворянское землевладение, да еще так ярко, с таким блеском, что малодушные могут заколебаться.

Николай Николаевич, когда его так подхватывало, не обращал внимания, какое впечатление производят его слова, даже не смотрел на слушателей. Он говорил, глядя через наши головы туда, где важно покачивались, перешептывались потемкинские липы. Кончил и только тогда обвел глазами длинный стол, вокруг которого стояли и сидели народные представители, внимательно его слушавшие. По их лицам

он увидал, что его речь взорвалась, как бомба. Он усмехнулся. Улыбка придавала что-то мефистофельское его узкому, тонкому лицу. Хотя на самом деле он не был ни скептиком, ни отрицателем. Но юмор у него был. Его уже остывший голос зазвучал иронически, когда он прибавил:

— Я знаю, господа, ваше романтическое отношение к аграрной реформе. Я и сам не сразу понял ее ошибочность. А теперь вдумался и считаю это безумием. Но боюсь, что мне вас не переубедить. Вы превратили вопрос экономический в догматический. Для вас это часть неписанной оппозиционной присяги, для меня только одна из хозяйственных задач России. Расхождение между нами глубокое. Поэтому, как мне ни жаль, я ухожу из кадетской партии.

Среди неограниченных упований, которыми опьянялась Первая Дума, эта речь прозвучала, как голос из другого мира. Большинство этих политических мечтателей верило, что всего можно достигнуть, все получить, стоит только с думской трибуны произнести несколько пламенных речей, сказать царю и его министрам всю, всю правду. И вдруг в такой победоносный момент Львов, пламенный, правдивый Львов, отрекается от одной из самых священных заповедей кадетизма. Волнение было большое. Его пытались уговорить, убедить, даже пристыдить. Но он, конечно, был прав, когда говорил, что кадетская земельная программа вышла из пределов логики, вросла в сердца. Это мешало ясности суждений, трезвой проверке согласно здравому смыслу и требованьям жизни, превращало практическую государственную задачу в игралище страстей.

Львов был помещик, больше жил в деревне, чем в городе, знал и крестьянское и крупное хозяйство не только из книг. При всей своей экспансивности и отвлеченности, он был человек наблюдательный, на-

читанный, думающий. Но в ответ на его веские соображения, экономические, хозяйственные, послышались не столько цифры и контраргументы, сколько призывы и восклицанья. На Львова они также мало действовали, как его слова не поколебали партию. На стороне Львова был здравый смысл, была горячая убедительность талантливого оратора. Все это не помогло ему разрушить веру кадет в спасительность принудительного отчуждения земли. Ими руководило беспокойство кающихся дворян, жаждущих заплатить народу свой долг. Это наследие народничества тревожило не только социалистов-революционеров, но и либералов.

К сожалению, вынесенная на трибуну речь Львова уже не произвела в общем собрании такое впечатление бомбы, как во фракции, может быть, оттого что во фракции это была импровизация, там слова рождались на наших глазах. Это всегда сильнее захватывает слушателей.

Из кадетской партии Львов ушел, но Саратов выбрал его и во вторую, и в третью, и в четвертую Думу. Вокруг него образовался маленький кружок, который назвал себя Партией Мирного Обновления. Ни Львов, ни его партия влияния на общественное мнение не имели.

Если такой убежденный либерал взбунтовался против аграрной программы кадет и, несмотря на давнее единомыслие и дружеские связи со многими кадетами, ушел из партии, то можно себе представить, как кипели против этой программы, против отчуждения земли те помещики, которые не видели нужды ни в каких реформах, меньше всего в земельной. Конечно, и правительство было против кадетского разрешения земельного вопроса. Столыпин уже подготовлял свой план хуторского хозяйства. Но провести его ему удалось только в Третьей Думе. А пока

правительство, чтобы показать крестьянам, что оно тоже озабочено его судьбой, опубликовало 20-го июня сообщение по земельному вопросу. В нем говорилось, что правительство вносит в Думу законопроект об улучшении положения крестьян. Дума увидала в этом сообщении к населению, помимо народного представительства, вызов. Полились негодующие речи. Решили, что в ответ на правительственное сообщение необходимо самой Думе тоже обратиться к населению. Дебаты велись в очень резкой форме. А тут еще во фракции явилась роковая мысль поручить одну из ответственных речей Герценштейну, который считался специалистом по аграрному вопросу.

Речь Герценштейна была не сильнее, скорее слабее других речей, но, к несчастью, он был еврей. Для правых его слова звучали как вызов, как насмешка, как национальное оскорбление. Герценштейн заявил, что единственный способ разрешить земельный вопрос, это передать частновладельческую землю крестьянам и иронически прибавил, обращаясь к министерской ложе:

— Надо дать мужикам землю, если вы не хотите, чтобы иллюминация дворянских усадеб продолжалась.

За эти слова он заплатил жизнью. Несколько недель спустя его застрелили из-за угла, когда он гулял за городом с женой. Убийцы остались не обнаружены. Молва считала это делом Союза Русского Народа.

Так перекрещивались взаимные обвинения в подстрекательствах и погромах. Юдофобы обвиняли не только революционеров, но всю оппозицию в аграрных беспорядках, юдофилы обвиняли власть в еврейских погромах. Какое уж тут было сотрудничество. В Таврическом Дворце все чаще раздавалось слово —

роспуск. Собственно говоря, люди трезвые с первых же дней Думы видели, что такой парламент, с таким министерством работать не может. Кому-то придется уйти: или министрам или народным представителям. Оппозиция была полна самоуверенности. Во время прений постоянно раздавались по адресу министров крики:

— В отставку! В отставку!

Министры на эти вызовы просто не отвечали и никогда ничем Думе не грозили. Но пропасть между властью и народными представителями все расширялась. В кулуарах о роспуске толковали, но с каким-то ветреным задором:

— Роспуск? Нет! Они не посмеют.

Правительство казалось слабым, неумелым ,ничтожным, вредным. А на стороне Думы была и сила идей, и могучая всенародная поддержка. За ней вся страна. С думской трибуны все лился поток красноречия. Каждое слово убивало всякую возможность взаимного понимания, совместной деятельности. Но и угрюмые выступления министров не вносили умиротворения. Наставительный, язвительный радикализм кадет раздражал министров больше, чем умеренный, утопический социализм трудовиков. Правительство с самого начала считало Первую Думу недолговечной. Оно не приготовило ни одного законопроекта, не потрудилось внести бюджетную роспись. Ни правительство, ни Дума не занимались законодательством. Кадеты и трудовики настойчиво требовали ответственного министерства из лучших людей, облеченных доверием народа. Сколько раз эта священная формула провозглашалась во всех четырех Думах, но так и осталась не проведенной в жизнь. Царь не видел среди первых избранников русской земли мужей совета, которым можно было бы доверить управление государством. Теперь, после всего, что пере-

несла и переносит Россия, после анемического безвластия Временного Правительства, состоявшего из «людей доверием страны облеченных», приходится признать, что оппозиция не была подготовлена к руководству государством.

Но в 1906 г. — да и в следующие годы, — мы кипели негодованьем, что Государь предпочитает опираться не на блестящих народных трибунов, речи которых волнуют всю Россию, а на старых своих слуг, на скучных ретроградных бюрократов. Это казалось невероятным, непонятным. Просто глупым.

Надо полагать, что и в противоположном лагере действия кадет тоже казались невероятными, непонятными. Просто глупыми.

Глава двенадцатая

ОБВАЛ

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина...

Н. Некрасов

Японская война и революционный напор растревожили, разволновали умы, но резких перемен в жизненном укладе ни у нас в усадьбе, ни в окрестных деревнях это не внесло, хотя от столицы, кипевшей событиями, мы были всего в ста с небольшим верстах. Нам не грозили аграрные беспорядки, которые в других губерниях обрушивались на дворянские усадьбы. Отношения с мужиками были попрежнему добрососедские. Все шло своим чередом. Веками установленный и в деревне, и в усадьбе ритм определялся, как испокон веков, сменой полевых и лесных работ.

Зимой полагается наниматься на лесные заготовки, пилить деревья, возить дрова, свои и чужие, проводить день до самой ночи в снежном лесу. Потом весенний сев, пахота, навозница, сенокос, жнитво, уборка ржи, овса, льна, опять сев, уже озимый, опять пахота. Сквозь стук колес годового хозяйственного оборота доносился политический гул, но колеса продолжали себе вертеться обычным повелительным своим ходом. Ни забастовки, ни выборы, ни громокипящее красноречие ораторов не могли ослабить власть земли. Она направляла жизнь и помещиков, и крестьян, то есть огромного большинства населения России. Газет в деревне почти не выписывали. Стоит ли на них деньги тратить, когда все написано по-непонятному, вроде как не по-русски?

Одной из первых пробралась в деревню маленькая газета «Копейка». Ее затеял шустрый журналист, которого я знала еще по «Сыну Отечества» (не могу вспомнить его имени). Он родился и вырос в черте оседлости, по-русски говорил с еврейским акцентом и писал довольно коряво. Зато у него был острый газетный нюх и он лучше своих русских коллег, подолгу живших в деревне, сумел угадать, что нужно мужику. Но во время Первой Думы «Копейка» еще не существовала. Изредка какой-нибудь грамотей привозил со станции, которая была от нас в 12 верстах, «Биржевку» и, сидя под вечер на завалинке, вычитывал слушателям как в Думе ссорятся. Но ни отсутствие газет, ни их тяжелый язык не мешали мужикам както по своему следить, думать свою думу, высказывать суждения, порой очень меткие.

Мы с Вильямсом часто приезжали на Вергежу на субботу и воскресение. Если, гуляя, мы попадали в деревню, мужики его дружески приветствовали, допрашивали о политике. По-русски Вильямс говорил совсем хорошо, Иногда делал незначитель-

ные грамматические ошибки, крестьяне их не замечали. Русское простонародие умело как-то по своему общаться с иностранцами. Вильямс очень любил болтать с мужиками, удивлялся их сметке, быстроте их схватывания. Сами они не очень высказывались. После крепостного права осталась затаенность. Но от англичанина они основательно допытывались, как дела, что он знает, как думает? Будет ли для них прок от Думы? Как насчет землицы? Дадут или не дадут? Сговорятся ли члены с министрами или по шапке депутаты получат?

Самым красноречивым мужиком был Василий Бабаев. Он был женат на маминой крестнице, Наташе. Все дети Бабаевых были нашими крестниками, ходили в нами подаренных ручашечках и платьишках. Первые годы после женитьбы Бабаев очень бедствовал. Его дети чуть не умерли с голода, когда по нашему краю, как и по некоторым другим губерниям, прошел неурожай. В его семье я в первый и единственный раз в моей жизни увидела детей больных голодной цынгой.

Это было в начале 90-х годов. В один из моих зимних приездов на Вергежу мне сказали, что у Бабаевых дети шибко хворают. Я пошла их навестить. Когда я вошла в избу, меня всю перевернуло от страшного зрелища и от трупного запаха. Двое детей, лет семи, восьми лежали на полу на груде грязного тряпья. Костлявые маленькие тельца были покрыты зеленоватыми язвами, из которых сочился вонючий гной. Глубоко запавшие глаза смотрели с не детской безнадежностью и укоризной.

Мы вызвали из Грузина земского врача. Я стала, по его указаньям, лечить детей, а, главное, каждый день носить им еду и молоко. Девочку удалось спасти. Мальчик умер. Я как раз заработала немного денег переводом и купила Бабаевым корову за 20 рублей.

Ценой сорока или пятидесяти страниц перевода я спасла жизнь остальных детей. А для меня немногие часы, проведенные в Бабаевой избе, пропахшей запахом гниющего детского тела, были наглядными, не книжными доказательствами, что русская жизнь не так налажена, как надо. Доводы жизни были для меня несравненно убедительнее, чем длинные споры марксистов за чайным столом, чем позднейшее красноречие наших парламентариев.

Это был последний голод. Россия уже начала богатеть, расправляться. Выправился постепенно и Василий Бабаев. Дети, обутые, одетые, сытые бегали в нашу школу. В хлеву стояло несколько коров. Чай, сахар, кофе, по воскресеньям белые пироги не переводились. Так было не у одних Бабаевых. Все мужики кругом зажили лучше. Россия преодолела крутую экономическую перемену, вызванную раскрепощением крестьянского труда. Это сказывалось и в деревне и в городе. Не будь этого растущего благосостояния, не было бы простора и для политических чаяний и требований, не было бы и Государственной Думы.

Бабаев был больше столяр, чем землепашец. В нем не было исконной мужицкой связи с землей. Но поговорить о земле он любил и, усадив Вильямса на завалинку своей избы, настойчиво его допрашивал:

— Ну, как, Гаральда Василич, насчет землицы, что слышно?

Вильямс принимался разъяснять ему думские прения. Бабаев, шевеля густыми усами, не спускал с него глаз, уже окруженных ранними морщинами. Такие узоры на мужицких лицах оставляют не столько годы, сколько ветер, солнце, дождь, мороз, работа и забота. Выслушав объяснения своего английского приятеля, Бабаев насмешливо замечал:

— Оно бы лестно землицы побольше получить. Да нешто дадут?

Стоявшие кругом мужики его поддерживали:

— Ни в жисть не дадут. Кому охота свое отдавать? Нечего и уши развешивать...

Странное дело, но при этих разговорах я себя чувствовала не дочерью многоземельного помещика, у которого Дума собирается отчуждать землю, а членом Ц. К. кадетской партии, которая обещает провести принудительное отчуждение помещичьих земель. Но в объяснения я не пускалась. Я знала, что мужские слова звучат для них гораздо убедительнее, чем женские, и предоставляла Вильямсу быть толкователем думской политики. Раз Бабаев спросил его:

— Ну, а Думу за такие слова не погонят, сказать попросту, в три шея?

— И кто же их знает, Василий? Может быть, народ заступится?

Глаза Бабаева скользнули в сторону, но он вежливо сказал:

— Ну, это как пить дать. Заступимся.

— В обиду не дадут, — поддакнул другой мужик.

— Да небось и не посмеют разгонять. На что же и выбирали?

Их уверенья звучали как-то не очень убедительно. А для думцев было очень важно понять подлинные мысли народа. Вокруг Таврического Дворца ходили тучи и депутаты старались угадать, что произойдет, если Думу распустят, какую это вызовет в массах реакцию. Решили устроить ряд митнигов по деревням. Спросили меня, не могу ли я устроить собрание на Вергеже. Я написала отцу. Он согласился. Сакулин, молодой член Думы от Вятской губернии, поехал со мной на Вергежу. Это было первое и последнее политическое собрание, устроенное у нас. Папа заплатил за него штраф, наложенный на него в административном порядке, т. к. он не заявил полиции, что

будет устроен митинг. При мне их больше не устраивали, а когда воцарились большевики, начались уже не свободные собрания, а принудительные скопища.

Сакулин был не Бог знает какой оратор, но кадетскую программу он изложил ясно. Я испытующе разглядывала знакомые лица мужиков, которые пришли из всех соседних деревень и заполнили большой сенной сарай, где происходил митинг. Слушали они внимательно, изредка поддакивали, кивали головами, но вопросов не задавали. Послушали и ушли, ничем себя не проявив.

Впереди крестьянской толпы стоял, опираясь на толстую палку, мой отец. Ему было за 70 лет. Светлая русская рубашка просторно лежала на широких плечах. От густых, отливавших серебром волос, от седой бороды черные глаза казались молодыми. Он тоже молчал, ничего не сказал. Как и мужики, думу свою о земле думал он про себя. Но в его глазах я прочла неодобрение.

В кадетской программе он многое разделял, многое ему нравилось. Только не принудительное отчуждение помещичьих земель. За дедовскую свою землю он крепко держался. Он врос в нее. Она была часть его существа. С какой стати должен он отдавать землю мужикам? Они все перепортят, все запустят, будут кое-как обрабатывать поля, где он уже более полувека вводил улучшения, как до него это делали его отец, дед, прадед. Но спорить отец не стал, ни на митинге, ни после, дома. С Сакулиным обошелся как приветливый хозяин, благодарил его, что потрудился, что приехал и собрание устроил. Папу даже забавляло, что в его вотчине такое происшествие — политическое собрание. Он был так уверен в крепости и стойкости правительства, что за свои вотчины не тревожился.

Когда чуть ли не через несколько дней после это-

го Думу распустили, папа, насмешливо блестя глазами, сказал мне:

— Ну что? Не вышло? Мы еще поцарствуем в наших вотчинах.

К счастию, он не дожил дореволюции.

По противоречию человеческой натуры, меня его слова не обидели. Может быть, потому, что я как-то не связывала нашей кадетской программы с Вергежей, не задумывалась над тем, что ведь и до нас может дойти очередь, и нас могут лишить деревенского простора, к которому мы так привыкли, лишить гнезда.

После речи Сакулина меня удивила мама. Она задумчиво сказала члену Думы:

— Вы хотите помещичьи земли передать мужикам. Но ведь мы, помещики, мужикам нужны. Дворянские гнезда — это гнезда культуры. Мы ближе к народу, чем горожане. Мужики от нас многому учатся. Нет, поместья надо сохранить.

Для такой твердой либералки, как мама, это были неожиданные речи. Сакулин был горожанин. Для него не было сомнения, что землю от помещиков надо отобрать. Он заспорил. Мама мягко, но твердо стояла на своем. Я ждала, что скажет Аркадий. Он только мельком бросил несколько иронических замечаний, но в них тоже сквозила неуверенность, что обезземеление дворянства принесет России пользу. Так бывший народоволец и шестидесятница, воззрения которых складывались под знаком служения народу, вдруг задумались, — а что если России нужны не только благополучные крестьяне, но и благополучные помещики?

Шел уже третий год с тех пор, как мой брат Аркадий вернулся из Сибири. Он поселился с женой на Вергеже и все больше втягивался в сельское хозяйство. Наконец, у папы появился в семье настоящий

помощник. Втроем, включая маму, которая попрежнему следила за всеми подробностями хозяйства, они улучшали скотный двор, поля, сад, выписывали племенной скот, семена, машины, искусственное удобрение, получали и читали сельскохозяйственные журналы. На Вергежу стали привозить экскурсантов, учеников сельскохозяйственных школ, чтобы показать им чего при желании можно добиться в нашей малоплодородной Новгородской губернии. Постепенно улучшались и денежные дела семьи. Росли обороты. Легче стало платить проценты в Дворянский банк. Правда, денег все-таки часто нехватало, хотя жизнь шла такая же простая, как и прежде. Но теперь уже не надо было с усилием наскребать несколько рублей, чтобы купить в деревенской лавочке сахару или пшеничной муки, как бывало в дни моей юности. И кладовая и амбар были полны. На скотном дворе стояло около 70 коров. Мама, которая за 20 лет перед тем переселилась в обедневшую усадьбу, могла с чувством удовлетворения оглянуться на пройденный путь.

Не только у нас в усадьбе, но и кругом нас в деревнях жизнь становилась все обильнее. Как земля глубоко вспаханная, переворошенная родит с удесятеренной силой, так и переворошенная Россия заработала с удесятеренной щедростью. Это сразу отразилось на жизни крестьян. Когда мы, по старой привычке, ходили к ним поесть праздничных пирогов, нас угощали куда обильнее, чем бывало в нашем детстве. Попрежнему в праздник по деревенским улицам прогуливались взад и вперед девушки. Попрежнему они за день раз десять меняли наряды, но теперь, кроме дешевых ситцевых, они уже щеголяли более дорогими шерстяными, а иногда и шелковыми платьями. Вечером пастух гнал в деревню большое стадо уже не чахлых, а хороших коров, частью выращенных из наших породистых телят.

И в усадьбе жизнь текла полная, щедрая. Летом, на Рождество, на Масляницу, на Пасху вокруг мамы собирались дочери, сыновья, невестки, зятья, внуки, внучки. Это было продолжение той же жизни, как и в нашем детстве, в нашей юности, только еще привольнее. В дни семейных праздников за стол садилось больше 20 человек, все своя семья, включая племянников и племянниц. Еды было до отвала не только в господской столовой, но и в господской кухне, и в рабочей застольной. Это обилие принималось как должное. Только долгое, мучительное обнищание России под советской властью заставило русских, отчасти и иностранцев, понять богатство царской России.

Я часто приезжала отдохнуть, повидать маму, детей, всю семью. После суматохи и суетни Таврического Дворца, где я, по обязанностям журналистки, бывала каждый день, неторопливость и тишина Вергежи действовали как целебное купание. Вильямс часто приезжал со мной. Он был дружен со всеми тремя поколениями. Папа за столом сажал его на почетное место рядом с собой и, как Бабай, подробно расспрашивал его о политике, вел с ним серьезный, мужской разговор. А с молодого конца стола, который отводился для молодого поколения, доносился смех.

Смеялись на Вергеже много. Пример подавали старшие. Мама до самой смерти сохранила молодой смех. Папа, который прежде всегда куда-то сосредоточенно, хмуро спешил, торопился, стал с годами спокойнее, веселее. Реже становились грозные вспышки гнева, тяжело ложившиеся на наше детство, на нашу юность. Хотя способность вскипеть, разразиться грозным криком, да так, что было слышно за две версты, за рекой, в селе Высоком, — эту способность папа не утратил.

— Ишь ты, опять Тырковский барин расходился, — говорили в таких случаях высоцкие мужики.

Им нравилось, что у них такой могучий старик-сосед. Как гаркнет, по всей округе слышно. Даром что штатский генерал, а любого военного перекричит.

Но теперь папин гнев проходил быстрее и почти никогда не относился к семье. По мере того, как мы становились на ноги, он признавал нашу самостоятельность, с интересом следил за нашей жизнью, но в нее не вмешивался. К внукам относился с любовной снисходительностью, терпеливо переносил шум, который вместе с ними вторгался в вергежский дом. Они росли, из детей превращались в молодежь, но шум не уменьшался. Топот ног, гулкий стук деревенских сапог о деревянную лестницу, звонкие голоса внучек, ломавшиеся баритоны внуков раздавались все громче, разносились по обоим этажам старого дома, врывались в кабинет, где папа сидел за своими счетами, письмами или за божественными книгами. Его этот весенний грохот и гул не раздражал, он только, посмеиваясь, говорил:

— А потише нельзя?

Само собой разумеется, что за столом в столовой притихали. Мама, опытный дирижер, умела направлять семейный хор. Делала это незаметно, мягко, без замечаний. Но никому не вздумалось бы шуметь, тем более сказать резкое слово. Для этого уходи в сад, в лес, в поле, на реку, там кричи, сколько хочешь. А в столовой, в общей комнате, надо вести себя определенным образом.

Но был клапан, через который и в столовой прорывалась, освобождалась перекипавшая через край жизнерадостность. Это был смех. Иногда он был связан с общим разговором, зарождался на старшем конце стола, перекидывался дальше. Иногда он шел с дальнего, молодого конца стола и невозможно было разобрать, что его вызвало. Точно смех сам рождался

от стен, от воздуха, пронизанного солнечными лучами, золотисто-зелеными, насыщенными отблесками густой липовой листвы от старых деревьев, темневших вокруг. Или это старик Волхов там, внизу, смеялся, тихо плескаясь о песчаный берег, и смех реки врывался в молодые сердца? Когда с того конца неожиданно раздавался всплеск смеха, хозяин и хозяйка вопросительно смотрели на веселые, розовые лица третьего поколения и сами начинали улыбаться. Смех разрастался в хохот. Папа вторил. Его грузное тело колыхалось под тонкой сатиновой рубашкой и он сквозь смех, добродушно спрашивал:

— Ну чего вы хохочете? В чем дело? — хотя и сам хохотал.

Молодежь и сама не всегда знала, в чем дело. Пробовали объяснить, сбивались, перебивали друг друга. Путаница усиливала веселье. Оно с дальнего конца переходило на середину стола, где сидело мое поколение. Первая начинала хохотать, показывая ослепительно белые зубы, моя младшая сестра Соня. Смех, как и слезы, это особый, не всякому данный дар. Соне дар смеха был щедро отпущен. Он ее очень поддерживал в ее не всегда легкой жизни. Вслед за Соней вступал в хор сидевший против нее Вильямс. На людей, его не знавших, он производил впечатление замкнутой серьезности. Но стоило увидать его улыбку, услыхать его смех, громкий, раскатистый, неожиданный, чтобы понять, сколько в нем, несмотря на всю его ученость, было детской непосредственности.

Если Сергей, мой младший брат, был на Вергеже, что теперь случалось редко, так как он служил далеко, в Саратове, то его мягкий баритон вносил свои музыкальные ноты. За ним начинал улыбаться и Аркадий. И его бедную раненую душу расправляли эти припадки семейного смеха. Я не помню, чтобы он когда-нибудь хохотал, даже смеялся он редко. Щу-

рясь поглядывал он на племянников и племянниц, смеялись его глаза, и он отпускал остроту, обычно удачную.

Последней принималась смеяться мама. Соня от нее унаследовала дар смеха. Мама смеялась звонко, мило, по-девичьи. И смеясь говорила:

— Какие вы все глупые, хохочете, сами не зная чего...

А сама продолжала смеяться.

По вечерам, когда разнообразная хозяйственная жизнь в полях, на скотном, по всей усадьбе замирала, Аркадий, который за всем этим теперь наблюдал, садился за рояль. Молодежь сразу притихала, забиралась на низкий, длинный, во всю стену диван и слушала Бетховена, Шопена, Шумана. Мой брат за роялем преображался. У него была душа артиста и Шопена он толковал тоньше многих концертантов. Его музыка заняла в жизни Вергежи то место, которое прежде занимало Сережино пение. Сережа уже размотал и здоровье и голос. В Адиной музыке не было Сережиного песенного размаха, его перекипавшей через край радости жизни ,а глубокая тихая грусть. То, что он испытал, то страшное дело, в котором он принял участие, оставили в его сердце незаживающие рубцы. Он об этом не говорил, только в музыке изливал свое настроение.

За политикой он следил, но длинных о ней рассуждений не любил. На Вергеже, кроме меня, никто не был заражен политической лихорадкой. Думе все сочувствовали. Читали думские отчеты, но повседневные дела пересиливали. Да это и лучше. Беда, когда все становятся политиками. Когда мы с Вильямсом на день, два приезжали из Петербурга отдохнуть, не только чудесный воздух и освежительное речное купание, но вся деревенская атмосфера была для нас отдыхом. После трагического трепетания в Думе и

кругом Думы так хорошо было расправиться в привычной, крепко налаженной деревенской жизни. Она продолжала течь и у нас, и в окрестных деревнях трудовая, налаженная, бытовая, устойчивая. Как было ее связать с аграрными прениями, с кипевшими в Таврическом Дворце страстными спорами о том, чего мужик хочет и чего он не хочет? Там, в бывших Потемкинских палатах, пульс бился все лихорадочнее.

В начале июля я, как всегда, собралась в пятницу вечером ехать на Вергежу. Вильямс на этот раз остался дома.

— Лучше не поеду. Что-то в воздухе тревожное.

Чутье журналиста его не обмануло. На следующее утро, 8-го июля, подойдя к Таврическому Дворцу, депутаты нашли двери Дворца запертыми. На стене висело объявление о роспуске .

О роспуске гадали, судили, кричали еще до того, как Дума собралась. А когда роспуск стал фактом, все были поражены. Недолго несли депутаты свое высокое звание, но за эти два с половиной месяца они привыкли к мысли, что правительство не дерзнет, даже не имеет права их распустить. Они сразу решили, что власть поступила незаконно. Народные представители должны ответить ударом на удар.

Мы, на Вергеже, ничего о роспуске не знали. Телефонов в нашей губернии не было. С обычной летней праздничностью катилось время. Я лениво гуляла, болтала с детьми и с мамой, помогала ей собирать смородину, за столом рассказывала последние петербургские слухи и сплетни. Аркадий, как всегда, посмеивался над моим увлечением политикой, хотя, приезжая в Петербург, сам проводил целые дни в Таврическом Дворце и даже писал в симферопольскую газету думские корреспонденции.

Днем в воскресенье я уехала. С парохода любовалась я на окутанный зеленью холм, на белые колонны,

отражающиеся в зыбкой волне, на нашу веселую, пригожую молодежь, которая с лодки махала мне платками, что-то кричала, чего я за шумом воды не могла разобрать. Никогда, ни одно место на свете не давало мне такого глубокого, из нутра идущего чувства, гнезда, как этот холм над Волховом, поросший столетними деревьями, в толпе которых степенно и уверенно темнели стены нашего дома, тоже векового.

Вероятно, теперь (писано в июле 1943 г.) ни от дома, ни от окружавших его деревьев не осталось и следа. Немцы заняли наш левый берег Волхова, советские войска занимают правый берег. В перекрестном огне могло ли уцелеть то, что было так дорого нам и нашим детям.

Тогда никто не думал о внешних врагах. Мы не шутя верили, что главный враг народа это самодержавие, которое не хочет делиться властью с народными избранниками.

На полпути до Петербурга, в Любани, я увидала на платформе Вильямса и сразу поняла, что что-то случилось.

— В чем дело?

— Дума распущена. Депутаты и президиум уехали в Выборг. Там решат, что предпринять. Там весь Ц. К. Мы как раз поспеем на Финляндский вокзал к последнему поезду.

У него было такое лицо, точно он сообщал о тяжелой болезни, если не смерти, близкого человека. Дело освобождения России было для него своим, близким делом. Как и его русские друзья, он боялся, что роспуск — значит конец парламента, что другую Думу не соберут, что все, чего добилось Освободительное Движение, будет взято обратно. Он выехал ко мне навстречу, чтобы поскорее поделиться со мной этой волнующей новостью. Он говорил, что в Петербурге

на это смотрят, как на начало реакции. Члены Государственной Думы обратятся к народу. На квартире И. И. Петрункевича, при ближайшем участии Набокова, Милюкова, Винавера, выработан текст. Решили ехать в Выборг, так как в Петербурге полиция может помешать.

Финны, как всегда, оказали оппозиции широкое политическое гостеприимство. Финляндское княжество было настолько независимым, что финны у себя могли обеспечить членам Думы полную безопасность. Они предоставили неожиданным гостям лучшую в Выборге гостиницу Бельведер. Нашествие было такое многолюдное, что пришлось отвести и частные квартиры. Вслед за членами Думы бросились в Выборг журналисты, русские и иностранные, жены депутатов, партийные деятели, просто люди, увлеченные политическим любопытством. Их тогда было много. Меня приютили на диване приехавшие раньше меня кадетские дамы. Иначе я не знала бы, куда деваться. Но не все ли равно, где ночевать, когда решается судьба России. Сейчас это звучит по-детски. Тогда, в думской среде, которая, казалось, отражает всероссийское общественное мнение, царила полная уверенность, что правительство, распустив Думу, совершило государственное преступление и что Думу оно больше не соберет. Народ не простит своим избранникам, если они не заступятся за народное представительство. После всего, что говорилось на выборах и в Думе, безответно примириться с роспуском было бы бесчестно по отношению к избирателям.

В Выборг приехали кадеты и трудовики. Не знаю, был ли у них свой проект обращения к народу. Вероятно, нет, так как они сразу присоединились к кадетскому призыву: ни одного солдата в армию, ни одной копейки в казну. Но инициатива, несомненно, принадлежала кадетам. Трудовики были, хотя умеренные, но

все-таки социалисты, которые продолжали действовать под лозунгом — революция продолжается. В Выборгском воззвании не было ни слова про революцию.

Наши ученые юристы толковали обращение к народу, как акт конституционный, а не революционный, видели в нем призыв не к бунту, а к пассивной защите прав народа, попранных роспуском. Когда, три месяца спустя, выборжан судили, судьи, среди которых тоже были не дурные юристы, иначе взглянули на такой призыв.

Я приехала в Выборг в воскресенье поздно вечером. Уже не было сомнений, что воззвание будет подписано большинством. Оставалось только провести некоторые редакционные поправки, уговорить колеблющихся, обставить воззвание так, чтобы оно исходило от Государственной Думы, а не от группы людей, собравшихся в получужестранной Финляндии и там подписавших прокламацию против своего правительства. Члены Первой Думы считали выборгское воззвание заключительным актом своей парламентской деятельности. Они хотели, чтобы и в России и заграницей это обращение к народу было принято как действие парламентское, а не бунтарское.

Муромцев председательствовал. Потом рассказывали, что он открыл первое собрание словами:

— Заседание Государственной Думы возобновляется...

Повидимому, это легенда. Но уже то, что он был председателем, придавало собранию и внешнее благолепие и преемственность, обещало ему авторитет.

Утром, когда я вошла в длинную общую комнату, я увидала беспорядок и суматоху. Я не привыкла видеть членов Думы в состоянии такой растерянности. Правда, это была передняя, а не комната заседаний, которые происходили рядом при закрытых дверях, без прессы, без посторонних. Туда допускались только

члены Думы. А в первой длинной комнате, все толпились. Столы и стулья стояли в полном беспорядке, на полу валялись бумажки. Все двигались, все говорили сразу, не дослушивали, перебегали от кучки к кучке, старались что-то уловить, в чем-то разобраться. Невольно вспомнилась такая же беспорядочная зала Вольно-Экономического Общества в ночь ареста Совета Рабочих Депутатов. Эта мысль кольнула и исчезла. Слишком захвачены, поглощены мы были злобой дня, чтобы вспоминать, сравнивать. Я сразу окунулась в общее, заразительное возбуждение, в еще не конченные споры. Депутаты, уже согласившиеся подписать воззвание, меня приветствовали. Они знали мою горячность, видели во мне страстную сторонницу решительных действий. И не обманулись.

Мне, как и многим другим, казалось невозможным, чтобы Дума приняла роспуск с покорной молчаливостью. После всех речей, обличений, обещаний, угроз, после взаимных клятв, которыми обменивались избиратели и избранники как подчиниться роспуску без всякой попытки протеста, самозащиты? В указе о роспуске был обещан созыв Второй Думы, но разве можно верить обещаниям такого правительства? Разве можно, после всего, что пережито перед Думой и в самой Думе смиренно разъехаться по домам? Что скажет народ? Что скажут все, кто подписывал и присылал в Думу наказы с требованиями земли и воли? Надо показать правительству, что не все ему дозволено, а народу указать путь к сопротивлению. Народ, тот народ, который по всей России встречал и провожал поезда с членами Думы, поддержит. В этих рассуждениях было много политической романтики и очень мало политического расчета и предвидения.

Логически постройка была очень хрупкой. Но кто же в Выборге опирался на логику. Нами владели политические страсти. Мы горели негодованием против

тех, кто дерзнул посягнуть на первый русский парламент, воплощавший мечты стольких поколений.

Я сразу, очертя голову, бросилась в кипевшие кругом меня споры. Когда я была чем-нибудь увлечена, я могла передавать свое увлечение другим. Я быстро стала маленьким центром. Мне придвинули стул, помогли стать на него, чтобы меня было лучше слышно. На этом стуле увидал меня М. А. Стахович, с которым я тогда не была знакома. Он остановился, неодобрительно потряс длинной бородой и прошел дальше в ту комнату, где заседал президиум Думы. Стахович приехал из Петербурга не из сочувствия к воззванию, а потому что он был против него и хотел отговорить членов Думы от этого шага. Он считал его не конституционным, для престижа Государственной Думы вредным. Вместе со Стаховичем приехали Н. Н. Львов и кн. Е. Н. Трубецкой. Они настойчиво убеждали, умоляли заправил не выпускать такого воззвания. Все трое были люди умные, блестящие, красноречивые. Никто не сомневался в их независимости и искренности, в их любви к России, в их глубокой преданности новому государственному строю, провозглашенному манифестом 17-го октября. Но весь их талант, их ум, их сердечная горячность не могли одолеть общего настроения, общего ЧУВСТВА. Для меня это одно из многих подтверждений того, что в острые моменты чувство имеет больше власти, даже над рассудочными политическими деятелями, привыкшими думать, чем логические рассуждения.

Ведь удалось же мне, в то время как Стахович, Львов, Трубецкой тщетно убеждали Муромцева, Кокошкина, Набокова, Винавера, Жилкина, Долгорукова, Аникина, Милюкова Шаховского, удалось же мне перетянуть на сторону воззвания нескольких колеблющихся. Среди них был Н. Н. Ковалевский, крупный харковский помещик, земец, увлекавшийся сельским

хозяйством, в особенности древонасаждением. Его практический здравый смысл, его хохлацкий юмор бунтовали против этого призыва:

НИ ОДНОГО СОЛДАТА В АРМИЮ,
НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ В КАЗНУ.

— Ариадна Владимировна, пощадите. Ведь это же чепуха. Никто нас не послушает. И подати платить будут, и пд ружье станут. Курам на смех.

Я со своего стула, как с трибуны, громила Ковалевского:

— А что вы предлагаете? Проглотить? Промолчать? Смирнехонько разъехаться по домам? Если не протестовать, надвинется реакция еще более темная, чем раньше. Неужели вы согласны покориться такому нарушению прав Думы, прав народа? Готовы проглотить все оскорбления?

Все кругом меня поддерживали, смотрели на него с возмущением. Из моих глаз, вероятно, сыпались искры. Добродушный Н. Н. Ковалевский, могучий степной красавец, виновато озирался:

— Да нет. Я что же. Я согласен, что протестовать надо...

Его хором прерывали:

— Протестовать на словах? На это вы согласны? А с нас довольно слов. Наговорились. Пора начать действовать. Ариадна Владимировна вас спрашивает, что вы предлагаете? Ответьте ей.

Бедный Николай Николаевич под конец сдался. Но его умные глаза смотрели на меня насмешливо, когда он, наконец, со вздохом сказал:

— Ну, хорошо. Подпишу.

Не раз потом, встречаясь на партийных съездах, мы с ним вспоминали замусоренную комнату гостиницы Бельведер и мое пылкое вымогательство его подписи. Нарастал опыт, стыли страсти и мы оба

могли хладнокровно анализировать то странное массовое состояние умов, которое иногда толкает людей на странные поступки.

Я одержала в Выборге другую победу, еще более удивительную. Мне удалось уговорить одного из лучших юристов России, заслужившего своими оригинальными учеными трудами международную репутацию, Л. О. Петражицкого. Я не приписываю этого моей демагогической ловкости, еще менее убедительности моих правовых доводов. В юриспруденции я была невеждой. В логике, по сравнению с Петражицким, маленькой школьницей. Но я была вся пропитана, пронизана пафосом протеста, я, как и другие кругом, горела негодованием против правительства, дерзнувшего поднять руку на наше детище, на Государственную Думу. Весь запас копившихся во мне с юности политических запросов и гражданских чувств вырвался наружу.

И Петражицкий не устоял. Это был странный поединок, не первый и не последний в моей жизни, но не часто приходилось мне бороться с таким противником, метким, крепким, авторитет которого для меня самой был очень велик, особенно в государственных вопросах, изучению которых талантливый законовед посвятил свой ясный ум.

Маленький, хрупкий, Петражицкий недаром был похож на комара. Он и жалил вежливо, но язвительно. Он вообще был изысканно, по-польски вежлив и предупредителен не только с дамами, но и с противниками. Со мной он привык общаться в политическом, мужском обществе, где я часто бывала единственной женщиной и хотя утонченность соблюдал всегда и везде, но взглядами своими поступиться из вежливости передо мною ему и в голову не пришло бы. А вот в таком важном, ответственном вопросе уступил. Почему? Возможно, что в моих взволнованных речах

его внимательная мысль услыхала непосредственное выражение не только моих, но и коллективных чувств. В минуту итогов, а, может быть, и расплаты, он не захотел отделяться от товарищей. А переубедить их был не в силах. Возможно, что, вопреки рассудку, ему послышалось что-то подлинное, более законное, чем все законы, в моем призыве ответить ударом на удар. Не стану утверждать, что я заразила его нашими эмоциями. Петражицкий до конца остался спокойным, иронически невозмутимым, верным себе, но он признал за нашими эмоциями право проявиться. С усмешкой глядя на меня, он сказал своим тонким голоском, который придавал его словам оттенок насмешки:

— Ариадна Владимировна, вы форсируете меня впервые в жизни совершить поступок, находящийся в контрадикции с моей юридической логикой. Надеюсь, что я никогда такую акцию не повторю. Аппеляцию к народу я согласен подписать.

Вокруг нас раздались аплодисменты. Хотя его слова звучали откровенной иронией, но меня поздравляли с победой. Еще бы, получить подпись Петражицкого, иметь его попутчиком в таком остром политическом и юридическом столкновении. Это что-нибудь да значит.

Теперь я ясно знаю, что гордиться было нечем. Но я рассказываю этот случай так подробно, не только потому, что он отчетливо запомнился, а еще и потому, что он освещает один из тех политических моментов, когда люди, казалось бы трезвого мышления, полные здравого смысла, собравшись толпой, совершают поступки, идущие вразрез с их умственным уровнем, с их привычным мышлением.

На следующий день члены Думы, окруженные свитой журналистов и единомышленников, вернулись в Петербург. В поезде настроение было возбужденное, приподнятое, удовлетворенное. Слава Богу, дело сде-

лали. Теперь очередь за страной, за народом. Его избранники дали правительству должный отпор и народу указали, как надо бороться за свои права. Остается только как можно скорее распространить воззвание в миллионах экземпляров. Тут же, в вагоне, договаривались, как распределить работу, как наладить рассылку в провинцию, как агитировать на местах. Для многих это было возвращение к недавней заговорщицкой работе в Союзе Освобождения.

В поезде шли толки и догадки, как отзовется правительство на вызов, брошенный Думой, что оно будет делать? Пропустят нас через финлядскую границу или в Белоострове всех арестуют? Большинство ждало ареста. Как за восемь месяцев перед тем члены Совета Рабочих Депутатов, так теперь члены Государственной Думы искали кому доверить прощальные поручения, сговаривались с журналистами, через них хотели снестись с близкими. О возможности ареста говорили шутливо, с некоторым любопытством. Не может же правительство не ответить на прямой вызов. Но как оно поступит?

Правительство перехитрило оппозицию. Оно ничего не сделало. Ни в Белоострове, ни на Финляндском вокзале в Петербурге жандармы ничем не проявили какого бы то ни было интереса к этим достаточно заметным пассажирам, лица которых были всем известны по газетным фотографиям. Да и публика, или, выражаясь более высоким стилем, народ, ничем не проявился. Никто не встречал народных избранников на возкале, никого не было около запертого Таврического Дворца. Купцы торговали, чиновники служили, рабочие работали. Столица жила как всегда, по-летнему пыльно, немного замедленным темпом, но без следа каких-нибудь волнений.

И так было по всей России. Очень скоро стало ясно, что на выборгское воззвание отклика не будет.

Населению надоело волноваться, ходить на приступ. Выборгское воззвание было градусником, который проверил температуру страны и показал, что кончилась полоса лихорадочных забастовок и массовых движений, что народ хочет не борьбы, а возвращения к привычной жизни. Только чтобы она была получше, чем была раньше. А это получше уже чувствовалось во всех отраслях жизни.

Правительство очень ловко покончило и с выборжанами, как прозвали тех, кто подписал воззвание, и с героической легендой, окружавшей Первую Думу. Все депутаты, подписавшие выборгское воззвание, были привлечены к суду. Их было около двухсот. Получился процесс грандиозный и живописный. Суд происходил в здании окружного суда, при открытых дверях. Пресса была допущена. Отчеты печатались и в русской и в иностранной печати. Подсудимым и их защитникам не мешали произносить длинные речи, частью очень красноречивые. Но прокурор и председатель судебной палаты слушали их не так, как до манифеста 17-го октября слушали они на политических процессах критику правительства. Процесс выборжан уже не производил того впечатления, которое я вынесла из моего собственного скромного судебного разбирательства в этом же самом здании. Тогда мы, подсудимые, чувствовали за собой больше правоты и уверенности, чем судьи. А на суде выборжан на лице прокурора временами мелькала самодовольная усмешка. Ему было приятно, что его противники, кадеты, считающиеся лучшими юристами России, вынуждены защищаться доводами, с юридической точки зрения очень шаткими.

Накануне суда, в Ц. К., В. А. Маклаков, который был главным защитником, с громким хохотом говорил:

— Господа, я, конечно, адвокат, я обязан находить

аргумент и выгораживать моих клиентов. Но, признаюсь, не могу понять, почему вы настаиваете, что вас не имели права распустить? Ну, ладно, что-нибудь состряпаем.

Близкие и друзья очень волновались, но приговор, на первый взгляд, был вынесен снисходительный — три месяца тюремного заключения. Жены и друзья поохали, лишний раз выбранили ненавистное самодержавие, но разыгрывать мучеников было бы смешно. Однако ядовитость приговора была не в тюремном заключении, а в том, что выборжан подвели под статью, которая на всю жизнь лишала их политических прав. Они не могли участвовать ни в Государственной Думе, ни в земском и городском самоуправлении. Правительство одним ударом устранило от участия в политической работе верхи кадетской партии, как раз тех, кто имел большой общественный опыт, кто знал практическую земскую и городскую работу. Как способ обессилить противника, это было умно придумано. Но общественные силы, перед которыми стояла огромная задача перестройки России, это очень обеднило.

История с выборгским воззванием показала, что волна, поднятая Освободительным Движением, падает. На выборах и во время самой Думы казалось, что страна левее своих избранников. В Выборге депутаты оказались левее. Избиратели на их мятежный призыв не отозвались, от него отмолчались, вдруг стали более законопослушными, чем либералы, и спокойно ждали обещанного созыва Второй Думы. Революционные партии, которые Первую Думу бойкотировали, пробовали бунтовать, устраивали крестьянские беспорядки и террористические убийства. Но уже было ясно, что теперь брожение идет не из глубин народных, что его создают немноголюдные революционные организации. Это придало правительству уверенности в его

борьбе с террором. Но от начал, возвещенных в манифесте 17-го Октября, царь не отказался. На 20-го февраля 1907 г. был назначен созыв Второй Думы.

В те дни, когда в здании петербургского окружного суда шел выборгский процесс, я брала туда с собой небольшой, переплетенный в серый холст альбом и просила каждого подсудимого что-нибудь в него вписать. Если этот альбом уцелел и когда-нибудь попадет в руки любознательного архивиста, он может не сразу догадаться, по какому случаю все это написано и нарисовано? А в этих беглых записях непосредственно отразились мысли и настроения людей, которые всю свою жизнь мечтали добыть для своего народа политическую свободу и вдруг увидали, что эти мечты разделяет только верхний, тонкий слой русского народа, да и то разделяет довольно пассивно.

Были записи патетические.

Набоков писал по латыни: «Per aspera ad astra» (Через бездну к звездам)...

Винавер, довольно вызывающе, расчеркнул:

— Мы еще повоюем!

К этим словам сделал иллюстрацию историк А. А. Корнилов. Он не был депутатом, но, как генеральный секретарь партии, принимал в политической жизни близкое, деятельное участие. Под решительным росчерком Винавера он нарисовал каррикатуру, изобразив Винавера в виде маленького, взъерошенного, готового к драке воробья.

Таких юмористических штрихов было немало в моем альбоме. И от С. А. Муромцева осталась памятка несмешливая. Я прежде всего обратилась к нему. На первой странице моего альбома Муромцев написал своим четким почерком:

Надо мною буря выла,
Гром на небе грохотал,
Слабый ум судьба страшила,

Холод в душу проникал...
Но не пал я от страданья,
Твердо выдержал удар...

Потом лукаво посмотрел на меня красивыми, черными глазами, перевернул страницу и на оборотной стороне написал:

Кто в сорок лет не пессимист,
А в пятьдесят не мизантроп,
Тот, может быть, и сердцем чист,
Но идиотом ляжет в гроб.

Глава тринадцатая

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

20-го февраля 1907 г. открылась Вторая Дума. Как и ее предшественница, она просуществовала недолго, но распущена была жестом несравненно более резким. По составу Вторая Дума не походила на Первую. В ней преобладали не либералы, а социалисты, которые на этот раз приняли самое энергичное участие в выборах. Напрасно Милюков и на выборах и печати напоминал социалистам, что народное представительство, тем более русское, инструмент хрупкий. Для митингов у него был припасен наглядный образ. Он советовал скрипкой гвозди не заколачивать. В ответ левые шумно высмеивали кадет, что они собираются Думу беречь. Социалисты широко развернули свои партийные программы, толковали о социализации и национализации, о республике, открыто прославляли революцию и террор. Еще не переступив порога Таврического Дво́рца, будущие парламентарии заявляли, что идут в Думу, чтобы взрывать ее изнутри, чтобы продолжать и углублять революцию. Своего

пренебрежения к Государственной Думе они не скрывали. Избирателей это не отпугнуло. Социалисты получили почти половину мест. Три социалистические фракции — с.-р., с.-д. и трудовики часто голосовали вместе. Очень показательно для тогдашней правительственной политики, что террористическая партия с.-р. вошла в Таврический Дворец под своим флагом, не таясь.

Вторая Дума разбилась на большее количество фракций, чем первая. Появилось несколько крайних правых, которых в Первой Думе совсем не было. Влияния они, конечно, не имели. Они с думской трибуны излагали идеологию самодержавия, но делали это грубо, неуклюже, невежественно. Умеренные конституционалисты образовали довольно большую группу октябристов. Кадет было только 90, в три раза меньше, чем их было в Первой Думе. При таком дроблении фракций большое влияние на арифметику голосования получило Польское Коло. Их искусным, но не мудрым лидером был Роман Дмовский*). Польское Коло, куда входило 47 депутатов, отдавало свои голоса то либералам, то социалистам и могло иногда решать исход голосования. Как когда-то ирландцы в Вестминстере, так поляки в Таврическом Дворце подчеркивали, что в сущности вся эта русская парламентская хлопотня их совершенно не интересует, их не касается. К сожалению, история доказала, что они ошибались, что судьба польского народа несравненно крепче связана с жизнью народа русского, чем это думали польские патриоты.

Настоящего большинства во Второй Думе ни у кого не было. Из 500 мест социалисты разных оттенков получили 220. Так как остальные были раздробле-

---

*) Подготовляя воспоминания к печати, я прочла в газетах, что Дмовский перед смертью признался в ошибках своей русской политики.

ны, то социалисты, объединившись, могли иногда получить большинство.

Разбитая на много фракций, полная взрывчатого социалистического мятежа, Вторая Дума была колючая, гораздо более злобная, чем Первая, где плавное величие Муромцева могло иногда сдерживать страсти. Знание парламентских обычаев и манер было за кадетами признано, и во Второй Думе председателем выбрали кадета Ф. А. Головина. Он честно старался продолжать традицию Муромцева, подражал ему по мере сил. Но это ему плохо удавалось. У Муромцева была седая голова, но темные глаза были полны жизни и спокойной уверенности в себе. Всем своим внушительным видом, своими неторопливыми, вескими речами он производил впечатление. Ф. А. Головина природа не одарила ни внешними данными, ни острым умом Муромцева.

Гете в своих воспоминаниях всегда описывает наружность человека. Он говорил, что внешность предопределяет характер. У Головина наружность была коварная, подстрекающая каррикатуристов. Голова у него была яйцевидная, совершенно голая. Подбородок резко выдавался вперед. Усы, как прутики, торчали кверху. Юмористы любили изображать председательские усы в виде стрел, направленных то вправо против ложи министров, то влево против чрезмерно разбушевавшихся ораторов. У Головина не было находчивости Муромцева, не было и партийного большинства, которое в Первой Думе горой стояло за Муромцева.

Чувствуя свою силу, социалисты не очень церемонились с буржуазным председателем, хотя на выборах и отдали ему свои голоса. К Думе у них не было уважения, не было потребности наладить ее жизнь в духе тех принципов ответственности и справедливости, о которых говорилось на митингах.

Это сказалось во многих подробностях думской

жизни, при выборах президиума и комиссий, даже при распределении мест для печати. В программах социалистов много говорится о правах меньшинств, о пропорциональном представительстве, где всем течениям мысли дается возможность высказываться. Но социалисты во Второй Думе не считали себя обязанными придерживаться этих принципов на практике. С трудом удалось их уговорить дать место в президиуме умеренным и правым депутатам. Даже В. А. Маклаков, который не любил ораторствовать в кулуарах, раз выскочил из какого-то совещания такой сердитый, что не удержался и стал рассказывать обступившим его журналистам о своих спорах в комиссии:

— Я говорю с.-д-ам, это несправедливо и неумно. В комиссиях и в президиуме должны быть представлены все фракции. Помните, что весы удачи колеблются. Сегодня вы в большинстве и оттираете правых. Завтра вы будете в меньшинстве ,они вас не пустят. Какой вы тогда подымете шум.

Маклаков оказался пророком. В следующей Думе так и случилось.

Такую же узость и нетерпимость проявили социалисты и при распределении мест в ложе журналистов. Думские журналисты образовали свое бюро печати. Так как левых газет было несравненно больше, чем правых, то в бюро печати левые оказались полными хозяевами. От бюро зависело распределение мест, а их в новой, более тесной ложе было меньше, чем желающих получить постоянную корреспондетскую карточку. Заведующие распределением этим воспользовались и отказали в карточке двум крайне правым газетам «Колоколу» и «Русскому Знамени». Секретарь заявил, что без места остались даже некоторые провинциальные газеты, у которых распространение гораздо больше, чем у этих двух изданий. Статистически он, может быть, и был прав, но политическая

справедливость требовала, чтобы пресса разных направлений могла следить за Думой.

Не знаю как «Русское Знамя» добилось своего билета, но спор между бюро печати и «Колоколом» разыгрался при моем участии. Я пришла в бюро за своей карточкой. Ко мне, чуть не плача, бросился невысокий господин с густой черной бородой:

— Госпожа Тыркова, заступитесь. Вы женщина, вы должны сердцем возмутиться против несправедливости. Помогите мне.

Это был Скворцов, редактор «Колокола». Газета была под покровительством Синода. Я тогда была очень далека от церкви, к обедни попадала только в дни Тырковских семейных праздников, да и то с неизменным опозданием. Изредка ходили мы в монастырь в Званку, не столько на богомолье, сколько для прогулки. «Колокола» я никогда не читала, как не читала никаких правых газет. Я самоуверенно воображала, что наперед знаю, что они скажут, что ничего разумного от них не услышишь. Но я знала, что «Колокол» читается по всей России, что его выписывают многие благочестивые люди, в особенности сельские священники. Нельзя же лишать этих читателей возможности узнавать о Думе по отчетам той газеты, которой они доверяют больше, чем оппозиционной прессе.

Я так и сказала суетливым моим коллегам, среди которых преобладали евреи. Они горячились, кричали, доказывали, что «Колокол» никто не читает, что он решительно никому не нужен.

— Раз есть подписчики, значит нужен. Кто вас уполномочил устанавливать цензуру? Где сказано, что только левые имеют право писать о Думе?

— Господи, Тыркова, с каких это пор вы поощряете мракобесие? Удивляюсь!

— Нет, это вы становитесь мракобесами, хотите зажать рот инакомыслящим. «Колокол» это единственная церковная газета, которая хочет иметь в Думе своего представителя. Вы обязаны дать ей место.

Они эту обязанность настойчиво отрицали. Я также настойчиво вырывала от них место для чернобородого редактора. Он стоял рядом со мной, сжался, молча слушал наш спор, который уже переходил в ссору. Я скоро потерула терпение. У меня его тогда было очень мало.

— Ну хорошо. Идемте в думский президиум, там разберут.

Они сразу сдались. Журналистам невыгодно ссориться с президиумом. Тыркова кадетка, председатель и секретарь Думы тоже кадеты, наверное, возьмут ее сторону. Не стоит из-за какого-то «Колокола» портить отношения с влиятельной партией.

— Ну, разве женщину переупрямишь. Вы сами вроде колокола. Придется поставить приставной стул для... — с презрительной паузой, — для этого почтенного органа...

Такой же узкой партийностью отличались и кулуарные споры и разговоры. Это было продолжение предвыборных митингов, где социалисты штурмовали и правительство и буржуазную оппозицию. Во Второй Думе уже не было единодушного настроения Первой Думы. Между революционерами и кадетами происходили острые стычки. Их политические настроенния уже разошлись. Социалисты шли под лозунгом — революция продолжается. Они руководили непрекращающимися экспоприациями, аграрными беспорядками, убийствами градоначальников, губернаторов, городовых, подстрекали и вызывали различные революционные действия. Тяжело было читать газеты. Как сейчас вижу перед собой «Речь», где в правом углу первой страницы, в сводке событий дня, жирным

шрифтом печатался бок-о-бок подсчет и казней и террористических актов. Сех и других были десятки. Но тогда эти цифры казались чудовищными. Террористы убили в 1906 г. полторы тысячи человек, а в следующем, 1907 г., — год, когда заседала Вторая Дума — две с половиной тысячи. С тех пор прошло более сорока лет. По сравнению с тем, что происходит в наше жестокое, страшное время эти цифры кажутся ничтожными. Но тогда войны, революции, коммунизм еще не иссушили в людях сердечного воображения и жалости. Тогда эти цифры нас терзали, как кошмар, тяготили совесть.

Для того, чтобы внести успокоение, справиться с разрушителями, необходимо было переломить настроение, уничтожить то сочувствие, которое общественное мнение проявляло к революционерам, даже после того, как народное представительство дало возможность вести борьбу парламентскую, публичную. Кадеты и по программе и по психологии были против насилия, что и заявляли на избирательных митингах со свойственным им красноречием. Но стоило им в Думе увидать, тем более услыхать министров, как все их предвзятые идеи, все интеллигентские предрассудки и оппозиционные страсти взвивались на дыбы. Как и до манифеста 17-го октября, они в каждом министре видели ненавистного прислужника самодержавия. В каждом министерском выступлении подозревали они неприязнь и вражду к народному представительству, забывая, что это представительство даровано Государем, которому эти министры служат.

В единодушии, с которым вся оппозиция, и социалисты, и либералы, отказывались осудить террор, было что-то жуткое, нездоровое. Как и в тех разговорах, которые в дни прений о терроре кипели в Потемкинской бальной зале. Мне особенно запомнился один день, когда в кулуарах, среди споров о терроре,

я услыхала заявление молодого священника, сибирского депутата. Священника звали не то Брильянт, не то Брильянтов. Он принадлежал к фракции с.-р., для которых террор был одним из главных орудий политической борьбы.

— Батюшка, неужели можно оправдывать террор с христианской точки зрения? — спросил, надеясь встретить поддержку, кто-то из осуждавших террор.

У священника лицо было красивое, обрамленное кудреватой темной бородой, задумчивое. Он оправил крест на груди и убежденно заявил:

— Почему нельзя? В самом Евангелии можно найти оправдание террору.

Я отшатнулась. Мне стало тяжело, противно. Православный священник, ссылаясь на Евангелие, оправдывает насилие, убийство. Слова служителя Христа меня поразили, напугали. Я попробовала заговорить об этом с моими партийными товарищами, но получила все тот же ответ: мы террора не одобряем, но осудить его не имеем права, так как это может быть истолковано, как одобрение военно-полевых судов, при помощи которых правительство расправляется с террористами.

В. А. Маклаков, считавший сговор с правительством и возможным и необходимым, пишет в своей книге «Вторая Дума»: «Отнять почву у террора могло укрепление конституционных идей, усиление доверия к Думе, ощутимость достигнутых ею результатов. Одно же словесное осуждение могло быть истолковано в революционных кругах как измена Думы, народу и усилило бы их боевые настроения... Если бы Дума осудила террор, в этом с большим правом можно было бы увидать одобрение действиям правительства... Дума была права, что инстинктивно уклонилась от осуждения.»

Так, сорок лет спустя после событий, рассуждает

этот умный юрист, политик трезвый и умеренный. Что же чувствовали тогда кадеты, участники еще не остывшей борьбы за свободу, в которых не улегся боевой задор бурной эпохи Освободительного Движения? От них трудно было ожидать прямого осуждения революционных методов, как этого добивалось правительство, которое своими военно-полевыми судами роняло самую идею справедливости и правосудия. Эти суды были похожи на расправу с неприятелем в завоеванной стране, к ним с одинаковым справедливым негодованием относились и социалисты и либералы.

Столыпин первой своей задачей считал успокоение страны, борьбу с анархией. Но для этого было необходимо восстановить правосудие. Только тогда мог он требовать от кадетов, от Думы осуждения террора. Несмотря на свою малочисленность в Думе, кадеты в стране имели большой авторитет. Их моральное осуждение террору многих из тех, кто необдуманно помогал революционерам, могло бы отрезвить. Но очень уж были обострены отношения между властью и общественным мнением. Одно появление Столыпина на трибуне сразу вызывало кипение враждебных чувств, отметало всякую возможность соглашения. Его решительность, уверенность в правоте правительственной политики бесили оппозицию, которая привыкла считать себя всегда правой, правительство всегда виноватым.

Столыпин отметил новую эру в царствовании Николая II. Его назначение премьером было больше, чем простая бюрократическая перестановка однозначащих чиновников. Это было политическое событие, хотя значительность Столыпина оппозиция отрицала, да и царь вряд ли до конца оценил. Но годы идут и Столыпину в смутном переходном думском отрезке русской истории отводится все больше места. Но и тогда,

при первой встрече с ним, Дума почувствовала, что перед ней не угасающий старый Горемыкин, а человек полный сил, волевой, твердый. Всем своим обликом Столыпин закреплял как-то брошенные им с трибуны слова:

— Не запугаете!

Высокий, статный, с красивым, мужественным лицом это был барин по осанке и по манерам и интонациям. Говорил он ясно и горячо. Дума сразу насторожилась. В первый раз из министерской ложи на думскую трибуну поднялся министр, который не уступал в умении выражать свои мысли думским ораторам. Столыпин был прирожденный оратор. Его речи волновали. В них была твердость. В них звучало стойкое понимание прав и обязанностей власти. С Думой говорил уже не чиновник, а государственный человек. Крупность Столыпина раздражала оппозицию. Горький где-то сказал, что приятно видеть своих врагов уродами. Оппозиция точно обиделась, что царь назначил премьером человека, которого ни в каком отношении нельзя было назвать уродом. Резкие ответы депутатов на речи Столыпина часто принимали личный характер. Во Втоорй Думе у правительства уже было несколько сторонников. Но грубость и бестактность правых защитников власти подливала масла в огонь. Они не помогали, а только портили Столыпину. В сущности во Второй Думе только он был настоящим паладином власти.

В ответ на неоднократное требование Думы прекратить военно-полевые суды Столыпин сказал:

— Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача.

Левый сектор, занимавший большую часть скамей, ответил ему гневным гулом. Премьер стоял на трибуне выпрямившись во весь рост, высоко подняв красивую голову. Это был не обвиняемый. Это был обвинитель. Но лицо его было бледно. Только глаза светились

сумеречным огнем. Не легко ему было выслушивать сыпавшиеся на него укоры, обвинения, оскорбления.

После этой речи я сказала во фракции:

— На этот раз правительство выдвинуло человека и сильного, и даровитого. С ним придется считаться.

Только и всего. Довольно скромная оценка. У меня, как и других, не хватило политического чутья, чтобы понять подлинное значение мыслей Столыпина, чтобы признать государственную неотложность его стремления замирить Россию. Но даже мое простое замечание, что правительство возглавляется человеком незаурядным, вызвало против меня маленькую бурю. Особенно недоволен мною был Милюков. Пренебрежительно пожимая плечами, он бросил:

— Совершенно дамские рассуждения. Конечно, вид у Столыпина эффектный. Но в его доводах нет государственного смысла. Их ничего не стоит разбить.

У меня с Милюковым тогда были хорошие отношении, которые отчасти выражались в том, что мы без стеснения говорили друг другу, что думали. Но в этот раз у меня мелькнула смутная мысль, которой я ему не высказала:

— А ведь Столыпин куда крупнее Милюкова.

С годами эта мысль во мне окрепла. Не знаю, когда и как вернется Россия к прежнему богатому и свободному литературному творчеству, но думаю, что придет время, когда контраст между государственным темпераментом премьера и книжным догматизмом оппозиции, волновавшейся в Таврическом Дворце, поразит воображение романиста или поэта.

Я Столыпина видала только издалека, в Думе. Мне не случалось подойти к нему, почувствовать его взгляд, услыхать его голос в частном разговоре. Вообще я в первый раз по-человечески, попросту, начала разговаривать с царскими министрами только после больше-

вистской революции, когда они уже превратились из министров в эмигрантов. И с первой же встречи обнаружилось, как много у нас общего в привычках, в воспитании, в любви к России. Во времена думские ни мы, ни они этого не подозревали. Между правящими кругами и нами громоздилась обоюдная предвзятость. Как две воюющие армии, стояли мы друг перед другом. А ведь мы одинаковой любовью любили нашу общую родину.

В Таврическом Дворце я не редко видела и слышала Столыпина. Мы жили близко, в самом конце Кирочной улицы. Когда мы с Вильямсом утром шли на заседание, мы еще на улице могли угадать, ждут там премьера или нет. Если ждут, то вдоль длинной решетки Таврического сада, через каждые двадцать шагов, были расставлены секретные агенты. Мы их знали в лицо и они к нам пригляделись, давно о нас осведомились. Это бравые штатские молодцы с солдатской выправкой охраняли еще невидимого Столыпина, стеной стояли между ним и нами. Со стороны Таврической улицы, по которой мы шли, в садовой решетке была сделана калитка, а от нее во дворец проведен крытый, железный коридор, своего рода изолятор. Министры никогда не подъезжали к общему парадному крыльцу дворца, не проходили через кулуары, в них не заглядывали. Для них был устроен этот особый изолированный вход. И тут сказывалось разделение на мы и они, о котором часто упоминал Столыпин. Министров за эти полицейские предосторожности нельзя обвинять, тем более высмеивать. Они были вынуждены принимать меры, когда 220 депутатов открыто заявляли, что они пришли в Думу, чтобы продолжать революцию. Гораздо удивительнее, что, несмотря на вызывающую и открытую враждебность Государственной Думы, Столыпин продолжал выступать в Таврическом Дворце с большими ответственными речами. Может быть, он на-

деялся образумить Думу? Или через головы депутатов обращался к стране, ко всей России?

Столыпин не был противником народного представительства, он не хотел его уничтожать, даже нащупывал возможность сотрудничества с наиболее ответственной частью опозиции, с кадетами. Но обращаться к лидеру партии Милюкову он не хотел, искал более сговорчивых народных представителей.

Выборгское воззвание обескровило кадетскую партию, отрезало от Думы гвардию либеральной оппозиции. Во Второй Думе партия оказалась беднее и количественно и качественно. Все же вторые выборы привели в Думу несколько новых, ярких людей. От Орловской губернии прошел профессор философии и политической экономии С. Н. Булгаков, который позже стал одним из самых замечательных православных священников нашего времени, христианским писателем и руководителем Богословского Института в Париже. С. Н. Булгаков, как и П. Б. Струве, прошел через сложные духовные умственные этапы, тоже был одним из зачинателей русского марксизма, потом освободился от Маркса и из социал-демократа превратился в либерала, в кадета, а в философии поднялся от материализма к идеализму. Быстро перерос он и эту переходную ступень и стал глубоко верующим православным человеком. В сутолке Таврического Дворца С. А. Булгаков сжимался, проходил через парламентское торжище сторонкой, в кулуарах помалчивал, больше слушал, пощипывая маленькую, темную бородку и улыбался насмешливо, невесело. Влияния он не искал ,но и над собой влияния не любил. Таким людям в партии тесно, скучно и они этого не скрывают. Не долго продолжалась политическая деятельность этого богато одаренного мыслителя. Его мысли вздымались выше. Внутренне он уже готовился к высокой пастырской деятельности.

Совсем в другом роде были два москвича: М. В. Челноков и В. А. Маклаков. Первый был петебуржцам мало известен, но его живописная фигура сразу заняла в Таврическом Дворце подобающее место. Энергичный, несмотря на сильную хромоту, непоседливый, подвижной, он бродил по огромному зданию, присматриваясь к новой обстановке. На умном, выразительном лице скользила улыбка старого дядьки, которому приходится мириться с тем, что дети все шалят. Он был в кадетской партии с самого ее основания, но свою независимость ревниво охранял. Челноков окончил только городское училище, был самоучкой, но перед своими учеными партийными товарищами не робел. Это был самородок, с умом живым и острым, с редким здравым смыслом, с богатым запасом метких словечек. В Государственную Думу он попал из членов московской городской управы, после Государственной Думы поднялся до высокого звания московского городского головы. С кадетами земцами он был давно дружен. Кадетских профессоров недолюбливал, довольно зло острил над ними на своем выразительном чистом без тени книжной порчи русском языке с протяжным московским аканьем. Его раздражало лидерство Милюкова. Он называл его Милюк-Паша и держался в стороне от петербургской кадетской группы, где влияние Милюкова чувствовалось особенно сильно. Эта своеобразная отдаленность не помешала партии провести Челнокова на важную должность секретаря Государственной Думы. Он был достойным приеемником Шаховского, дольный, практичный, способный.

Другой москвич, Василий Алексеевич Маклаков, был едва ли не лучшим русским оратором своего времени. Судьба его во многих отношениях баловала. Благодаря и личным свойствам и воспитанию ему не пришлось добиваться, пробиваться. Все плыло к нему в руки. Образование он получил щедрое. Готовился к

кафедре по русской истории при московском университете ,но вместо этого стал юристом, адвокатом. Занял на этом поприще одно из первых мест, как занял бы его всюду, где нужен ум, знания, быстрота и ясность суждений, даровитость.

Высокий ловкий, широкоплечий, с лицом некрасивым но подвижным и выразительным, страстный охотник на дупелей, вальдшнепов, уток, медведей, он и на женщин поглядывал с веселой зоркостью ловца. Случалось, что охотился за несколькими сразу и забавлялся их ревнивым соперничеством. Так мне рассказывали его московские приятели. Сама я встречала Маклакова в политическом мужском обществе и в женском обществе его не наблюдала, но знала, что он так же до них падок, как и Милюков, который постоянно за кем-нибудь увивался. Это, кажется, единственное, в чем они были похожи. Да и то слово увиваться, которое хорошо передает Милюковскую манеру ухаживать, к Маклакову не подходит. Он иначе вел игру. Назвать его красивым было трудно, но от него веяло мужской силой, радостью жизни. Где же было устоять?

Маклаков был в себе уверен всюду: и в гостиной среди дам, и в лесу на облаве, и под обстрелом репортеров. Но больше всего на адвокатских выступлениях и на ораторской трибуне. Веселый, сильный, он отлично знал цену каждому своему слову, каждому движению. Это сказывалось даже в его небрежной и в то же время ладной манере одеваться. Он не повторял ошибки Набокова, который так выглядел, точно только что вышел от портного. На Маклакове все было просторное, добротное, хорошо сшитое, но никогда не слишком новое. Видно было, что этот человек не стесняет себя, живет как ему хочется. Так многие московские баре одевались. Но Маклаков был только сын видного окулиста, к знати не принадлежал и за этим не гнался. Он сам по себе был знать.

Его считали, может быть, и справедливо, ветренником, но работать он умел. Находчивый, острый, насмешливый, Маклаков свое красноречие зря не рассыпал, как это случалось с другим первоклассным оратором, с Родичевым. Маклаков твердо знал, кого следует щадить, кого надо царапнуть. Отражать удары противника он отлично умел, но он не был полемистом. Его сила была не в наступлении на врага, а в развитии стройных аргументов, в анализе. Это был блестящий представитель русской либеральной адвокатуры, русского парламентаризма в эпоху его недолгого расцвета. Он сразу наводил внимание на главное, распределял в правильной перспективе общее положение и детали, считался с психологией слушателей, понемногу подчинял их себе. Но была у него вредная привычка, может быть, адвокатская, уравнивать аргументы обеих сторон. В каждом деле он мог изложить доводы и обвинителя, и защитника. От него трудно было получить прямое, решительное указание:

— Это путь не правый. Путь правый там-то. И мы должны по нем идти.

Он всему находил объяснение, часто оправдание. Это не было проявление терпимости во имя высших ценностей, а какое-то прохладное отношение к исходу спора. Он не горел, не хватался за меч. Точно в глубине души оставался зрителем, не бойцом. Но он подкупал блеском своего таланта, своим умом, прирожденным своим шармом даже тех, кто за его легкой общительностью подозревал холодок, родственный цинизму.

Думская игра занимала Маклакова. Слава лучшего думского оратора, конечно, его тешила. Он ею дорожил, к речам готовился тщательно, трудолюбиво, как готовится прославленная танцовщица к новой роли. И, кака хорошая балерина, упорно добивался той предельной легкости, когда зрителю или слушателю ка-

жется, что весь этот блеск дается даром, приходит сам собой. Ремесло поставил он подножием искусству и добивался чудесных результатов. Память у него великолепная. Он мог наизусть декламировать по-русски и по-французски длинные цитаты из ораторов разных эпох и стран. Составив речь, он ее так запоминал, что на трибуне уже не заглядывал в бумажки. Манера говорить у него была простая, естественная, разговорная. Когда он, наконец, выносил речь на кафедру, она звучала как импровизация, точно он ее только что придумал. Это усиливало впечатление, придавало его выступлению интимность. Великолепное построение его речей выдавало их обдуманность. Но это приходило в голову позже, когда гасло непосредственное обаяние его голоса, интонаций, быстрой улыбки, вдруг озарявшей его крупное, выразительно лицо.

При таком редком, исключительном даре слова при умении схватить и держать в своих руках аудиторию, у Маклакова не было политического честолюбия, вкуса к власти, не было потребности ставить себе большие политические задачи и ради их выполнения вести людей за собой. Думская работа захватила его целиком только раз, когда он составлял для Думы наказ. Он работал над ним с увлечением и создал первоклассный устав. Но это была работа систематизатора, в ней не было жизненной остроты, не было того политического упоения, которое может дать руководство не параграфами, а живыми людьми.

Одним из ценных свойств Маклакова является его редкая терпимость. Но, к сожалению, это скорее ослабляло его положение и в Думе, и в партии, где большинство еще не изжило боевой непримиримости. Терпимость Маклакова сближала его с П. Б. Струве. Они оба находили, что пора народному представительству начать работать с правительством. С Милюковым они об этом не говорили, но Милюков подозревал, что в

партии завелась какая-то ересь и подозрительно следил за ними обоими. За Струве с достаточно явным недружелюбием, за Маклаковым мягче. Благодаря своему исключительному ораторскому таланту, Маклаков был незаменимым украшением партии, был ей нужен, как в опере нужна примадонна. С ним нельзя было не считаться. А Струве был всего только беспокойный мыслитель. Милюков допускал, что говорить, как Маклаков он не может, но считал, что думать он может не хуже Струве. И в этом очень сильно ошибался.

В политических своих оценках Струве был гораздо ближе к Маклакову, чем к Милюкову, который к тому же во Вторую Думу не попал и в думской жизни прямого участия все еще не принимал. В тайниках Охранки все еще валялось нерассмотренным какое-то пустяшное против него обвинение. Власть не спешила восстановить своего противника в политических правах. Струве, как один из идеологов конституционных идей, был известен всей читающей России. Казалось, что за отсутствием Милюкова в Думе, Струве должен занять во фракции руководящее место. Но этого не случилось. Нельзя сказать, что его и Маклакова оттеснили от лидерства, что им помешали. Просто в них не оказалось данных для водительства.

Струве был слишком полон неожиданности. Както Вильямс, в одной из своих заметок о нем, писал:

«Струве всегда отсутствует». Действительно, что бы Струве ни делал с кем бы он ни говорил, Струве почти никогда не отдавал беседе всего внимания, думал еще о чем-то другом, пока на него не нападал припадок интеллигентной ярости, чаще всего полемической. Тогда он вдруг налету схватывал слова своего собеседника и отвечал по существу. У него и в теле было беспокойство. Он вертелся на стуле, отворачивался от того, с кем говорил, хватал разные предметы со стола и бесцельно их крутил, делал рука-

ми странные движения в воздухе, неожиданно обрывал фразы. И вдруг громко смеялся, часто без всякого к тому повода. Вцеплялся в какую-нибудь мысль, в какое-нибудь выражение и долбил его, как одержимый.

Все это делало его подчас смешным, иногда несносным. В Государственной Думе не только депутаты, но даже мы, журналисты, жили у всех на виду, как актеры, и на этой открытой сцене внешняя несуразность Струве больше бросалась в глаза, чем в частной жизни. В кулуарах, в этом просторном думском салоне, куда после дебатов приходили депутаты, поглаживая свои растрепанные перья, как тетерева на току после хорошей драки, они старались не попасть впросак. Но Струве не раз умудрялся что-нибудь брукнуть, что-нибудь не договорить или переговорить. Делал он это на бегу, точно спасаясь от стаи гончих. Потом злился, когда видел в газетах собственные слова:

— Да я этого не говорил. Я совсем иначе думал. Эти болваны придали моим словам совсем не то значение. Да как они смели, идиоты?!

Не знаю, каков он был в комиссиях. Надо думать, что там его начитанность, его экономические знания, его энциклопедичность были очень полезны. Но на парламентской трибуне этот публицист, так упорно боровшийся за то, чтобы в России явилась возможность высказаться в парламенте, оказался совершенно беспомощен. Кадетская фракция поручила ему речь по какому-то экономическому вопросу. Он прибежал на трибуну, держа в руках охапку бумаг и бумажонок. Разложил свое добро перед собой на пюпитре, несколько раз оправил всегда сползавшие в сторону пенснэ, стал рыться в своих записях. Бумажки ерошились и громко шелестели. Слова оратора раздавались отрывисто и не очень внятно. Голос то падал,

то возвышался. Рыжая борода то наклонялась к пюпитру, то дыбилась против слушателей, которые с недоумением, смущенно смотрели на выступление этого уже прославленного, умного политического деятеля. Фразы доносились все более беспорядочные, точно Струве потерял нить мыслей и тщетно пытается ее найти в своих летучих листках.

Все лихорадочнее перебирал он свои записки и кончил тем, что рассыпал их веером вокруг трибуны. Все бросились их подбирать: пристава, депутаты, сам оратор. На председательском месте Головин, крепко стиснув тонкие губы, над которыми топорщилось острие усов, с трудом сдерживался, чтобы не улыбнуться. Ну, а в ложе журналистов и наверху, в публике, без церемонии смеялись.

Внешняя нескладность, которая у этого ненасытного книжника могла доходить до нечленораздельности, очень мешала Струве. Но зато он умел думать, умел вырываться из заколдованного круга программных суждений и застывших оценок даже тех, в выработке которых он сам когда-то участвовал. В нем не было и тени умственной лени. Он не боялся все пересматривать, все снова и снова перетряхивать. Физически Петр Бернгардович был человек мягкотелый, непригодный для спорта, даже для прогулок. На Казанской площади он вскипел, но ему и в голову не могло придти ответить ударом на удар. Перед полицией, русской и иностранной, он терялся. Как он наскочил на меня в Штутгарте за то, что, поселившись в меблированной комнате, я нарушила полицейское постановление, повелевавшее эмигрантам, не имеющим заграничного паспорта, жить в гостинице, а не у частных людей.

— Неужели вы не понимаете, что поставили меня в очень трудное положение?!

Почему отвечать за меня должен он, осталось не-

понятным, но он так волновался, что я, чтобы его успокоить, уехала в Швейцарию раньше, чем собиралась.

А в мыслях Струве был очень смелый человек. Иногда его смелость переходила в подлинное дерзание. Он не боялся думать вслух, выбрасывать не до конца выношенное, особенно когда был захвачен новой идеей, когда его неутомимый ум искал новой постановки, новых решений. Найдя их, или только еще их нащупывая, он, что называется, пер напролом, не боялся ударов ни слева, ни справа. В такие творческие полосы своей умственной жизни Струве становился, выражаясь словами Ницше, дарящей добродетелью. Он будил, толкал, тревожил, сердил, заставлял и других шевелить мозгами, не давал остановиться на застывших формах. Для публициста и мыслителя такое беспокойство мысли было ценным даром. Струве первый подметил, может быть, даже наметил, еще только начинавшиеся сдвиги в русском либеральном общественном сознании. Одним из первых заговорил он в оппозиции о национализме и патриотизме. Его статьи о Великой России вызывали бурю споров. Одни видели в них проявление черносотенного шовинизма, другие были рады, что эти естественные, но до тех пор запретные для русской интеллигенции мысли нашли своего глашатая. В «Русской Мысли», которую Струве редактировал, кажется, с 1908 г., он написал вызвавшую шум статью о еврейском вопросе, где сказал, что не все так гладко и просто между евреями и русскими, что между ними есть разобщения, не связанные с правительственной политикой, не из нее вытекающие. Часть еврейской интеллигенции протестовала, даже негодовала, хотя ничего обидного Струве не сказал.

Мне пришлось услыхать, как об этой статье спорили между собой сами евреи. Это было в Вильне.

Я приехала туда читать лекции и остановилась у д-ра Шабад. Его жена была видной общественной деятельницей. Красивая, умная, добрая, она мне нравилась своей редкой прямотой. Она устроила для меня чаепитие. Я была единственной русской. Остальные гости были евреи, главным образом мои и Шабада товарищи по кадетской партии. Они стали нападать на Струве. Хозяйка за него заступилась. Она утверждала, что между евреями и русскими есть расхождения и что в этом виноваты не одни русские. Евреи нетерпимее и замкнутее русских. В русских семьях часто очень дружественно принимают затя или невестку еврейского происхождения, а в еврейской семье русскую невестку почти всегда встретят недружелюбно. Я слушала их спор с невеселым любопытством. Значит, сколько накипело в еврейских сердцах, если даже статья Струве, в которой, конечно, не было и тени недоброжелательства, вызвала такое раздражение.

Как это ни странно, но именно своеобразный дар умственной неугомонности и политической дальнозоркости мешал Струве стать руководящим политиком. Государственная и парламентская политика требует самоограничения, не позволяет носиться по безбрежным просторам беспокойной умственной любознательности. Оттого Струве за недолгие годы существования в России полусвободной политической жизни не занял в ней руководящего места. Хотя, когда Столыпин завел с несколькими кадетскими депутатами переговоры, могло показаться, что Вторая Дума открывает перед Струве новые возможности.

Сначала Столыпин попытался подойти к оппозиционной печати. Он пригласил к себе редактора «Речи», И. В. Гессена, чтобы объяснить ему, что кадетская партия неправильно толкует намерения и цели правительства, которое хочет не уничтожить народное представительство, а сотрудничать с ним. Этот разго-

вор ни к чему не привел. Тогда Столыпин затеял тайный роман с «черносотенными» кадетами, как сами себя прозвали кадеты, к которым он обратился. Их было четверо — С. Н. Булгаков, В. А. Маклаков, П. С. Струве и М. В. Челноков.

Не так легко понять отношение Столыпина к кадетской партии. Он называл кадет «мозгом страны». В устах противника это большой комплимент. И он же грозил «вырвать кадетское жало» из страны. Партия оставалась неразрешенной. Чиновникам не позволяли в нее вступать. Но Столыпину надо было оформить и провести через Думу правовые начала, обещанные в манифесте 17-го октября. Сделать это без поддержки кадетской партии было бы трудно.

В то же время Столыпину приходилось действовать осторожно из-за противников справа. Союз Русского Народа добивался полного уничтожения народного представительства, которое Столыпин считал необходимым сохранить. Крайние правые имели при дворе влияние. Они всеми силами старались восстановить царя и против Думы и против Столыпина. Поэтому свои переговоры с кадетами премьер держал в тайне. А кадеты эти же переговоры держали в тайне от своей партии. О встречах уславливались устно, по телефону, чтобы не было никаких записей. Если бы в партии узнали, что четыре депутата о чем-то переговариваются с премьером, это вызвало бы резкий отпор. Черносотенные кадеты занимали в партии видное, но не влиятельное место. А тут еще таинственность лишала их самого веского аргумента в пользу сотрудничества с властью.

Они не могли поделиться своим впечатлением от самого Столыпина, передать товарищам по партии то чувство доверия, которое вызывала в них его личность. Попытка к сближению с властью была со всех сторон обставлена трудностями.

Лидер партии, Милюков, был против какого бы то ни было сговора с правительством. Когда Струве попал в депутаты, а Милюков все еще оставался вне Думы, одни надеялись, другие опасались, что Струве станет в Думе лидером. Так думать могли только те, кто их обоих плохо знал, кто к ним обоим не пригляделся. Струве, разбрасывающийся, нетерпеливый, забегающий вперед, лишенный глазомера в пользовании сегодняшним политическим моментом, не мог руководить парламентской фракцией, где было мало места общим идеям и много мелкой подчас, скучной работы.

Для Милюкова в политике не было ничего скучного. В нем была редкая способность к кропотливой усидчивости. В противоположность Струве, он не разбрасывался, удерживал внимание на том, что делал, все заканчивал отчетливо. Зорко наблюдал он за тем, чтобы кадеты не нарушали партийных директив, выработанных при его самом деятельном участии, чтобы не угасла в партии оппозиционная непримиримость. От Второй Думы, где социалистическое большинство делало все, чтобы ее взорвать, Милюков не ждал добра. Он смутно догадывался, что помимо его ведома, что-то происходит и зорко следил за четырьмя кадетами.

А они шли на разговоры с премьером в надежде, что и в этой Думе может образоваться какое-то разумное большинство, которое перестанет митинговать и займется законодательством. Из этих тайных встреч ничего не вышло, да вряд ли и могло выйти при таком резком расхождении настроения думского большинства с настроением властей. Вторая Дума, как и Первая, сама себя не хотела беречь. Прения принимали все более воинственный характер. Революционный террор продолжался.

Столыпин решил, что выгоднее Думу распустить

и нашел для этого выигрышный повод. Он обвинил социал-демократическую партию в революционной пропаганде среди войск и потребовал, чтобы Дума дала согласие на арест всей с.-д. фракции. Их было несколько десятков. Требование было неожиданное и юридически необоснованное. Думские с.-д. все обвинения отрицали, утверждали, что они солдат к бунту не подстрекали. Но партия делилась на меньшевиков и большевиков. Одна группа не посвящалась в деятельность другой. Возможно, что большевики агитировали в казармах. Возможно, что агенты-провокаторы, которых среди них было не мало, им в этом помогали. Провокация всюду заползала. Даже Столыпину не все ее тайны были известны. Несколько лет спустя его самого убил провокатор.

Государственная Дума поручила разобраться в этом темном деле специальной комиссии. Докладчиком был Маклаков, которого никак нельзя заподозрить в пристрастии к социалистам. Он пришел к заключению, что Дума не может дать согласия на арест депутатов, не получив от правительства более веских доказательств их виновности. Но это уже был академический разговор. Судьба не только этих депутатов, но всей Второй Думы была предрешена.

Последнее ее заседание вышло очень красочным. Это было вечером. При свете старинных хрустальных люстр кулуары и зал заседаний имели вид интимный, призрачный. Так бывает в дни перелома, личного или общего. В этот июньский вечер в Таврическом Дворце, среди депутатов, журналистов, публики царило настроение, напоминающее негодующее единодушие Первой Думы. В военный заговор никто не верил. Подробности обвинения казались подстроенными, неправдоподобными. Членов с.-д. фракции окружали. Даже противники выражали им сочувствие, убеждали их скрыться, готовы были им в этом помочь. Было

уже одиннадцать часов, когда лидер марксистов, молодой красавец-грузин, кн. Церетели, в последний раз взбежал на трибуну и произнес свою лучшую думскую речь. Церетели походил на орленка, отбивающегося от охотников. Он заявил, что народным представителям прятаться не подобает. Пусть их арестуют, пусть судят. На суде они докажут народу нелепость возводимых на них обвинений. Тогда увидим, что народ скажет. Церетели, да и не он один, все еще верил, что народ что-то скажет.

На этом красивом жесте оборвалась Вторая Дума. Звонкий, взволнованный голос грузина был последним аккордом в ее нестройном хоре. В ту же ночь все депутаты с.-д. фракции были арестованы. Скоро состоялся суд над ними. Их всех отправили в Сибирь. Церетели пробыл там 10 лет. Его освободила либеральная февральская революция 1917 г. Октябрьская, марксистская революция опять оторвала его от жизни, сделала его эмигрантом.

В то время как в Таврическом Дворце фракция с.-д. допевала свою лебединую песню, четыре черносотенных кадета попытались еще уладить конфликт. Это была простодушная затея. Они не отдавали себе отчета, что первый бурный период русского парламентаризма кончился. Не только указ о роспуске был уже подписан, но также и указ о новом избирательном законе, помеченный тем же днем, как и указ о роспуске — 3-го июня 1907 г. Об этом не знал секретарь Государственной Думы М. В. Челноков, когда поздно вечером позвонил Столыпину и просил принять его, Булгакова, Маклакова и Струве. Премьер просил их немедленно приехать к нему на дачу. Около полуночи добрались они до Елагина Дворца. У Столыпина шло заседание Совета Министров. Но он тотчас же принял депутатов. С первых же слов стало

ясно, что Вторая Дума кончила свое короткое существование.

У этого романа четырех либералов с премьером был свой эпилог. Несмотря на все предосторожности, тайна их свиданий вскрылась. Шустрый репортер вырвал ее у министра торговли и напечатал в вечерней «Биржевке», что Струве, Маклаков, Булгаков, Челноков были у Столыпина. На кадетском озере разыгралась буря. Визит почему-то сразу окрестили столыпинской чашкой чаю, хотя Столыпин их ни чаем, ни чем иным не угощал. Но даже мнимая чашка чаю вызвала у многих глубочайшее отвращение, точно это был зазорный напиток. Такой неприступной чертой отрезала себя оппозиция от власти, что один разговор с премьером уже набрасывал тень на репутацию политического деятеля. Столыпинская чашка чаю надолго осталась символом недостойного соглашательства, нарушения оппозиционного канона.

Из-за этой не предложенной чашки чаю московский городской комитет кадетской партии даже не хотел выставлять кандидатуру Маклакова в Третью Думу, готов был отбросить от парламентской работы одного из самых тонких юристов и превосходного оратора. Но рядовые кадеты, не так скованные партийной схоластикой, продолжали считать Маклакова своим депутатом. Он прошел во главе московского кадетского списка и в Третью, и в Четвертую Думу.

Столыпинская чашка чаю могла навести избирателей на простую, подсказанную здравым смыслом мысль:

— А что если бы можно было встречаться с министрами не в боевой обстановке Таврического Дворца, а попросту, по-человечески? Ведь они такие же русские люди, как и мы, так же хотят блага России. Почему не попробовать договориться?

К несчастью, здравый смысл не всегда играет ре-

шающую роль в политике. Милюков воспользовался чашкой чаю, чтобы все дальше отодвигать от партийных дел Струве, а с ним вместе и близкое ему, да и не ему одному, национальное течение мысли.

Роспуск Второй Думы, изменение избирательного закона, арест большой социалистической думской фракции вызвали новые революционные вспышки, бунт в Свеаборге, покушение на Столыпина на Аптекарском Острове. Но революционные огни уже догорали. Революция выдыхалась. Столыпин ее сломил. Надоело людям жить в беспорядке. Привести страну в порядок было основной задачей власти. В своем манифесте о роспуске Второй Думы Государь это ясно сказал:

«Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка содействия правительству».

Глава четырнадцатая

ДУМА ЗА РАБОТОЙ

Третья Дума была выбрана по новому более узкому избирательному закону, при значительном официальном нажиме на избирателя и была совершенно иная, чем ее предшественницы. Оппозиция потеряла свое господствующее положение, насчитывала только 90 депутатов, считая и кадет и Трудовую Группу, где, после разгрома социал-демократической партии, ютились социалисты всех оттенков. Правых групп было несколько, но ни у одной не было большинства. Многочисленнее всех была центральная партия октябристов. У них было 154 места. Лидером их был А. И. Гучков. На поддержку этих умеренных конституционалистов всегда мог рассчитывать Столыпин. Правее октябристов сидели 140 монархистов разных оттенков. Они

были разбиты на несколько фракций. Из этих 140 депутатов 50 были и против Столыпина и против самого существования Думы. Эти крайние правые в свою очередь готовы были взрывать Думу изнутри, как делали это социалисты во Второй Думе. Их лидер, Н. Е. Марков, сын талантливого писателя Евгения Маркова, автора прелестных «Крымских очерков», както сказал с думской трибуны:

— Мы, правые, такая же редкость, как зубры.

Кличка сразу привилась к правым, особенно к членам Союза Русского Народа, вождем которого был Марков. Он был человек с большим политическим темпераментом, с меткими словечками, не глупый, но необыкновенно грубый. Его даже нельзя назвать оратором, это был площадной краснобай. И во всем его облике было что-то грубое, наглое. Большая голова с обильными черными кудрями, крупные, топором высеченные черты лица. Черные, кошачьи, торчком стоявшие усы и плотно сжатый, недобрый рот придавали ему отдаленное сходство с каррикатурой на Петра Великого. Марков это знал и этим сходством очень гордился.

Совсем в другом роде был лидер националистов более умеренный правой группы В. В. Шульгин. Это был очень культурный киевлянин, молодой, благовоспитанный. Говорил он обдуманно и умело. Самые неприятные вещи Шульгин подносил с улыбочкой. Оппозицию он язвил неустанно и подчас очень зло. Марков был кадетоед, Шульгин социалистоед. Одна его фраза, сказанная насколько помню, еще во Второй Думе, стала кулуарной поговоркой. Сказана она была по поводу резких выступлений оппозиции, порицавшей правительственные способы борьбы с терроризмом. Особенно горячились трудовики. Под их флагом прятались тогда и социалисты-революционеры. Они

продолжали, поскольку сил хватало, убивать представителей власти, крупных и мелких.

Шульгин взошел на трибуну и, обращаясь к левым, с ехидной улыбочкой на остром лице спросил:

— А скажите, господа, положа руку на сердце, не принесли ли вы сюда в кармане бомбочку?

Эти слова, произнесенные тихо, отчетливо, вежливо вызвали целую бурю. Справа шумно, радостно аплодировали. В центре октябристы смеялись. Слева возмущенно требовали, чтобы Шульгин взял свои слова обратно. Возмущались и кадеты. Позже выяснилось, что у социал-революционеров действительно был план убить Столыпина в Таврическом Дворце. Исполнение было поручено террористу, который приехал в Россию под чужим, итальянским паспортом. У него была корреспондентская карточка для входа в Таврический Дворец, выданная на имя итальянца Альбертини. Заговор был раскрыт. Мнимый Альбертини был арестован. Я не помню ни его русского имени, ни его дальнейшей сурьбы. Кажется, он был выслан в Сибирь. Во всяком случае казнен он не был.

Третья Дума прожила свои законные пять лет. Первые два года в ней происходили прения не столько между депутатами и министрами, сколько между фракциями. Они нередко принимали бурный характер, попросту говоря переходили в перебранку. На председательском месте был октябрист Н. А. Хомяков, умный, спокойный, с большим юмором. Ему не легко было поддерживать порядок. Раз дело дошло до того, что Гучков вызвал Милюкова на дуэль. Правда, не в открытом заседании. Гучков стрелять умел, был спортсмен, драчун. Милюков, мешковатый, кабинетный, вряд ли знал, как держать револьвер. Принципиально он не мог не быть противником дуэлей. Но вызов он принял. Друзья бросились улаживать эту ссору. Дуэль

не состоялась, но по крайней мере неделю вокруг нее шел по Таврическому Дворцу гул.

Милюков наконец в Думу попал, но в ней оказалось только 54 к.-д. депутата. Численного влияния на голосование кадеты больше не имели. Сговариваться с левыми соседями было трудно. Да и бесполезно. Даже вместе кадеты и трудовики оставались в меньшинстве. Справа на кадет, в особенности на Милюкова, тучей вздымалась ненависть. Слушая речи правых, он мог впасть в манию величия. Они его считали источником, творцом всех революционных потрясений и событий. На правом фланге в выражениях не стеснялись. Особенно отличались бессарабские депутаты, во главе с Крушеваном. Про него ходило много анекдотов. Рассказывали, что у себя, в Кишиневе, рассердившись на телефонного своего собеседника, Крушеван выхватил револьвер и стрелял в аппарат. В Таврическом Дворце он из револьвера не палил, но взлетал на кафедру и выбрасывал по адресу кадет грубые нелепые поношения. И содержание его речей, и забавный молдаванский акцент Крушевана вызывали смех. Сердиться на него не стоило.

На правых скамьях были не только комические типы. Были там и люди просвещенные, но не разделявшие политических воззрений либералов, тем более социалистов. Оппозиция в правых фракциях не старалась разобраться, всех огулом подводила по кличку черная сотня, включая почти всех священников. Духовенство было довольно обильно представлено. От Холмщины был избран епископ Евлогий, нынешний митрополит Западно-европейских русских церквей.* К нему оппозиция относилась с предвзятой враждебностью, видела в нем насильственного обрусителя Холмщины. Только после революции, когда Митрополит

---

*) Писано в 1942 г. Митр. Евлогий в 1948 г. скончался.

Евлогий стал опорой и утешением русской эмиграции, я поняла, какое в этой предвзятости было слепое непонимание и русских национальных интересов и личности Владыки Евлогия, мягкого, светлого, исполненного христианской любви и терпимости.

Но в думские времена между правыми и левыми щетинилась колючая проволока взаимного недружелюбия и недоверия. Не раз потом Вл. Евлогий, навещая нас в нашем лондонском доме, говорил, заливаясь своим добродушным смехом:

— А что, Ариадна Владимировна, если бы вам тогда, в Таврическом Дворце, сказали, что вы будете так ласково принимать меня и угощать такими вкусными завтраками, ведь вы не поверили бы?

— А вы, Владыко, поверили бы, что и вас вместе со мной будут величать жидомасоном?

Он колыхался от смеха:

— Да, вот до чего дожили!

Не могу вспомнить еп. Евлогия на думской трибуне. Помню только, что в одной из своих речей он призывал осудить террор. Говорить он был не мастер. Для близких ему вопросов о западной Руси и Холмщине около него был словоохотливый единомышленник гр. Вл. Бобринский, убежденный пан-славист.

В Третьей Думе правительство, наконец, собрало вокруг себя большинство. Оно могло опираться на октябристов. Все же министры не очень охотно в ней выступали, особенно первые два года, когда оппозиция продолжала их довольно свирепо обстреливать. Но по мере того ,как в Думе налаживалась работа, столкновения мнений принимали более деловой характер. Образовались, как в балете, своего рода повторные, актерские сочетания. Если говорил Столыпин, против него выкатывались две кадетские дальнобойные пушки — Родичев и Милюков. Иногда их под-

креплял Маклаков. Но его специальность были походы против Щегловитова, министра юстиции. Если на трибуну всходил министр финансов Коковцев (позже получивший графский титул), ему отвечал А. И. Шингарев. Столыпин появлялся не часто. Его приезды в Таврический Дворец были обставлены не меньшими предосторожностями, чем царские выезды. Министры попрежнему не смешивались с депутатами, входили и выходили через свою калитку. Спектакль разыгрывался двумя отдельными труппами. Одной руководило правительство, другой оппозиция. Иногда это была комедия, менее или более остроумная. Когда выступал Столыпин, в нарядной, белой зале русского парламента сгущались трагические тени.

Рассказывали, что Щегловитов сердился, что его хорошенькая жена, как и жены других министров и сановников, любила бывать на думских заседаниях.

— Ты делаешь это на зло мне. Тебя забавляет, что твоего мужа публично поносят, — укоризненно говорил он ей.

Щегловитова эти поношения, конечно, бесили. Он был умный честолюбец и циник. В своем министерстве юстиции он с юстицией церемониться не любил. Но когда его политические противники рассказывали об этом и с думской трибуны уличали и высшего хранителя правосудия в произволе, он обижался и отбивался. Он учился юриспруденции по тем же учебникам и отлично знал, что правы они, а не он. Поэтому еще больше сердился.

Столыпин был в ином положении. Да и в его характере не было уклончивости. Он был цельный, из одного куска высеченный. В нем не было Щегловитовской скользкой жадности к жизни. На трубуну Столыпин всходил с сознанием своей правоты, с твердой уверенностью получить в Думе, и в стране поддержку тех, кого он считал здравомыслящими гражданами.

Столыпин был единственный министр, одаренный настоящим ораторским талантом. Говорил он смело, твердо, в его словах слышалась глубокая внутренняя серьезность. Сразу чувствовалось, что он, не меньше, чем красноречивые идеологи либерализма и социализма, предан своим убеждениям, верит в свое дело, в свое служение, в свою идеологию. Он был человек мужественный. Если испытывал страх, то не за себя, за Россию. Тревога за Россию часто звучала в его речах. Перед оппозицией уже стоял не чиновник, исполняющий канцелярские директивы, а идейный противник, патриот ,отстаивающий Российскую Державу со всей страстью сильной натуры. Его слова волновали. С горечью сказал он, обращаясь налево:

— Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия.

Оппозиция дрогнула, как от удара бича. Справедливость такого обвинения кадеты отрицали. Они утверждали, что не они, а правительство ведет страну к потрясениям, к ослаблению. Но слова премьера запоминались. Он заставлял думать, проверять себя.

Трагические тени окружили Столыпина, когда в Третьей Думе возобновились, начатые во Второй Думе, прения о военно-полевых судах. Террор шел на убыль, но казни продолжались. Оппозиция указывала, что страна достаточно успокоилась, что необходимо перейти к нормальному правосудию, прекратить чрезвычайные суды. Было тяжко читать в газетах о казнях. Сердце уставало. Такую же тоску наводили и террористические убийства, но осудить революционные преступления оппозиция все не решалась.

По поводу военно-полевых судов Родичев произнес одну из своих лучших речей. Он был убежденный противник смертной казни. Это была его тема, горячая, волнующая. Весь пылая, буквально содрогаясь от негодования, рисовал он страшные картины судебных

ошибок, торопливых приговоров без достаточных улик, судебных ошибок, произвола, свирепости судей, которые являлись единственной решающей инстанцией, от которых зависела жизнь или смерть людей, часто не имевших никакого отношения к тому преступлению, в котором их обвиняли. Родичев говорил, что власть не должна держаться на страхе, что это доказательство ее слабости, а не силы, что казни роняют моральный авторитет суда и правительства. Столыпин сидел в углу министерской ложи, недалеко от трибуны. Он внимательно и хмуро слушал. Высокая фигура Родичева, его нервное, подвижное лицо реяло над премьером. У Родичева, когда он говорил, была привычка высоко подымать правую руку, точно сбрасывать с пальцев фразу за фразой. Его укоризненные слова, как горячие угли, сыпались на голову премьера. Столыпин сидел прямо, неподвижно. Его бледное, окаймленное черной бородой лицо еще больше побледнело, когда Родичев, с поднятой вверх рукой, на мгновение замолчал, точно прислушивался, и потом вдруг высоким, выразительным голосом бросил:

— Прекратите эти кровавые расправы. Они пятнают наши суды. Довольно с нас того, что уже зовут...

Он остановился, с высоты трибуны пристально посмотрел в лицо премьера и вдруг, сделав вокруг своей шеи страшный жест, точно накидывая петлю, закончил:

— Что называется Столыпинским галстухом...

Столыпин поднялся во весь свой богатырский рост и медленно покинул залу заседаний. Вслед за ним из ложи вышли и остальные министры.

В зале творилось что-то неописуемое. Левый сектор бурно аплодировал. Кажется, даже с галереи, где были места для публики, раздались беззаконные рукоплескания. Родичев, пока говорил, всех держал под властью своего слова — депутатов, публику, журнали-

стов. Бывает в толпе такое состояние, когда слушатели замирают, точно околдованные. Даже справа Родичева не прерывали. Но когда он, озираясь на опустеврую министерскую ложу, замолчал, правые опомнились, вскочили с мест, зашумели, закричали:

— Возьмите свои слова обратно. Стыдно, Родичев. Позор. Берите слова обратно!

Правые бросились к трибуне. Родичев стоял неподвижно, с недоумением вглядываясь в бегущих к нему депутатов. Он был в состоянии скакуна после большой скачки, певца после большой арии. Слова еще кипели в нем, жужжали вокруг его головы. Он еще сам был в их власти. И не понимал, что случилось? Поверх пенснэ он вопросительно смотрел то на министерскую ложу, то на бежавших к нему правых депутатов. Но с другой стороны, наперерез им, бежали кадеты и трудовики, спешили прикрыть Родичева собой. Пристава подтягивались к трибуне. В воздухе пахло дракой. Председатель быстро закрыл заседание. Родичева увели в комнату кадетской фракции. Туда явился посланный Столыпиным чиновник сообщить, что председатель Совета Министров требует извинения.

Родичев уже остывал, просыпался. На его лице была растерянная, детская улыбка:

— Господи, да я совсем не хотел его оскорблять. Я говорил вооще о действиях власти. Да я сейчас же пойду и извинюсь. Зачем мне его обижать? Я его считаю порядочным человеком.

Он круто повернулся и вышел из фракционной комнаты. Мы и опомниться не успели. Закипели споры. Одни находили, что извиняться нечего. Другие, — я была в их числе, — оценили благородное добродушие Родичева, который, при всей идейной страстности, не хотел вносить личный оттенок в этот страшный спор.

Не знаю, какой у него был разговор со Столыпиным, но через несколько времени министры, во главе с премьером, вернулись в свою ложу. Правые и октябристы встали и стоя долго аплодировали премьеру. К моему удивлению и ужасу, Милюков тоже встал и тоже аплодировал. В кадетских рядах произошло замешательство. Одни последовали примеру лидера, другие с недоумением переглядывались, остались сидеть, не хлопали. Все знали, что у Милюкова не было того рыцарского уважения к противнику, которое заставило Родичева протянуть руку Столыпину.

Заседание быстро кончилось. Опять собрали фракцию. Все были взволнованы речью Родичева, его извинением, неожиданным поведением Милюкова. Несколько человек подбежало ко мне:

— Ариадна Владимировна, скажите Милюкову, что он с ума сошел.

Я не ответила обычной моей в таких случаях фразой — скажите сами. Как только собралась фракция, я попросила слова:

— Павел Николаевич, зачем вы это сделали? Родичеву надо было извиниться, иначе его речь носила бы характер личного выпада. Но ведь мы, кадеты, по существу его речь поддерживаем. Ведь это наши взгляды, наша оценка, наш дух. Аплодируя Столыпину, вы точно отреклись от обвинений, которые Родичев выдвинул, которые мы все часто развивали, на которых вы строите всю нашу политику. Это недопустимые аплодисменты. Как могли вы это сделать?

Я горячилась, была резка. Милюков не ожидал нападения. По лицам было видно, что многие со мной согласны Милюков пощипал усы и, пожимая плечами, ответил:

— Я поступил так, как мне подсказало мое чутье.

Эту фразу я крепко запомнила, вспоминала ее

каждый раз, когда, ссылаясь на чутье, Милюков попадал впросак.

Со Столыпиным Милюков не мог состязаться ни в умении говорить, ни в темпераменте. У Столыпина был природный дар слова. У Милюкова очень большая начитанность и упорство. Это не мешало Милюкову пренебрежительно относиться к своему противнику. Внутри себя он, может быть, понимал силу и даровитость Столыпина, но никогда этого не хотел признавать, пренебрежительно определял Столыпина, как рядового губернатора, случайно сделавшего карьеру. Также пренебрежительно, поверхностно расценивал он государственные взгляды Столыпина. Милюков категорически отметал Столыпинский закон о выделении крестьян на хутора. Он не был народником, общину не идеализировал, казалось, мог бы понять полезность освобождения крестьян от общинных пут, мог бы поддержать правительство в этом важном государственном мероприятии. Но кадетская аграрная программа закабаляла мозги .Практически от этого ничего не изменилось. Столыпинская реформа была проведена. Но кадеты упустили момент, не сумели трезво подойти к жизненной, важной задаче.

Все-таки парламентская работа постепенно вносила трезвость. Проведение бюджета и рассмотрение ряда законопроектов, которые правительство и Дума начали вносить, потребовали образования комиссий. Там начались встречи, сотрудничество народных представителей и чиновников. В первых Думах они и близко друг к другу не подходили и это придавало русскому народному представительству уродливый характер. В Третьей Думе выработались навыки к сотрудничеству, которые окрепли в Четвертой Думе. Без этого, к несчастью, очень недолгого сближения между властью и народным представительством России в 1914-17 гг. было бы еще труднее отбиваться от немцев.

Две первые Думы не дожили до рассмотрения бюджета. Вторая Дума четыре дня поговорила, но не о росписи по существу, а только о бюджетных правах Думы. Весной 1908 г., впервые за всю историю России, гласно обсуждался государственный бюджет. Уже одно это придало Третьей Думе деловую значительность, которой не было у ее двух мятежных предшественниц. Министр финансов Коковцев стал появляться в Думе чаще, чем премьер. Его полярным партнером был Андрей Иваныч Шингарев. Их бюджетные состязания развертывались уже без тени трагизма. Тут дело шло не о человеческих жизнях, не о тюрьмах и казнях, а о человеческом кармане, не о противоречии между личной свободо и государственными требованиями власти, которые так трудно примирить, а о том, «как государство богатеет и надоль золото ему, когда простой продукт имеет».

Несмотря на обилие в кадетской партии профессоров, в Третьей Думе среди кадет не оказалось ни одного знатока русских финансов, вообще финансов. Когда одно министерство за другим стали предоставлять свои приходо-расходные сметы, в нашем Ц. К. произошло некоторое смятение. Выручил воронежский депутат А. И. Шингарев. По профессии он был земский врач. По темпераменту общественный деятель. По характеру милый, живой, простой даровитый русский интеллигент, с добрым сердцем, с совестью чуткой и требовательной. Его практический здравый смысл быстро разбирался в любом вопросе. Говорил он легко, подкупал не блеском, не искусством, а искренностью, прямотой. Благодаря редкой трудоспособности, Шингарев скоро стал правой рукой Милюкова, но самостоятельность свою целиком сохранил. Еще вчера неизвестный провинциал, он быстро сделался любимцем Петербурга.

Имя Андрея Ивановича стало повторяться едва ли не чаще, чем имя Павла Николаевича. И с более нежной улыбкой. В Государственной Думе даже политические противники относились к Шингареву по-приятельски, сносились с ним куда охотнее, чем с Милюковым. Шингарев ни справа, ни слева не вызывал к себе острой враждебности. А Милюков сердил, раздражал их. Правые видели в нем воплощение книжной, либеральной непримиримости. Преданность основам либеральной идеологии была и в Шингареве не меньшая, но у Милюкова не было гибкости в общении с людьми, он не умел во время смягчить спор шуткой. Шингарев, может быть, потому, что профессия врача развила в нем приветливость, а, может быть, просто по своей прирожденной сердечности, улыбался дружески, даже встречая противника. А когда сердится, лицо его становилось грустным. Значит жди, что сейчас скажет какую-нибудь неприятную истину. Правдивость в нем все-таки была сильнее приветливости.

У Шингарева был подкупающий дар обходительности, с ним было приятно встретиться, обменяться несколькими словами. Это очень помогает в политической деятельности. Шингарев и на трибуну всходил, и в кулуарах появлялся с улыбкой, которая хорошо передавала его характер и очень шла к его пригожему, тонкому лицу, обрамленному прямой черной бородкой. В этой улыбке не было ничего надуманного, обязательного. Это не была улыбка королевы, на которую ее сан наложил обязанность улыбаться всегда и всем. Шингарев улыбался, потому что любил быть на людях, любил людей. Они это чувствовали, на это отзывались. В пестрой толпе членов Думы не было человека популярнее Анрей Ивановича. Конечно, сущность была не в его улыбчивости, а в душевной силе, которая понемногу создала ему исключительный авторитет на всех скамьях, при этом в Думе, где большинство было ка-

детоедами, где междупартийные споры носили недобрый, личный характер.

Упоминая об этих спорах, я сразу хочу отметить, что в них отражалась борьба идей, а не аппетитов, связанных с надеждой подкормиться от казенного сундука. Говорили, что правые получают от казны субсидии. Называли Н. Е. Маркова. Возможно, что он действительно получал от правительства деньги на Союз Русского Народа. Но что же из этого? Для него это было естественно. Он всем нутром готов был поддержать самодержавие, готов был всеми силами его защищать. Для него драться против оппозиции было такой же потребностью, как для оппозиции бороться против самодержавия. Если Марков и получал субсидии, то он мог их брать, не торгуя своей совестью, своими убеждениями.

В русском парламенте ими вообще никто не торговал. Русская политическая жизнь на такие сделки с совестью и не толкала. Но во всякой деятельности бывают соблазнительные моменты, когда можно покривить душою. Для Шингарева таких моментов не было. Он был строже к себе, чем к другим, и это усиливало его авторитет. Но Шингарев не скрывал, что ему приятно доверие, дружеское отношение даже противников. Он от природы был доброжелательный и это заставляло с ним еще более считаться.

Шингарев был типичный земский врач. Это одна из заслуг русской общественности, что она выработала своеобразный, чисто русский тип врача, воспитала в докторах профессиональную этику, создала глубокую традицию долга, бескорыстного служения ближнему. Все это в Шингареве было, все это было созвучно его личному складу, все это внес он и в свою политическую работу. И политические друзья, и политические противники верили в его нравственное чутье. Он и с бюджетом себя связал от избытка доб-

росовестности. Воз был тяжелый, а везти было некому, вот он и впрягся. А потом оказалось, что на него крепко надели бюджетный хомут. Да и самая игра его заинтересовала. А был он человек увлекающийся, как часто бывает с талантливыми людьми.

Шингарев, как умный человек, мог быстро изучить любой вопрос. Найдет нужные книги, пороется в библиотеке и сделает соотвественный доклад. К нему на помощь пришли и внедумские экономисты и ученые финансисты. Сначала вопрос подробно рассматривался в Ц. К. или прямо во фракции. Шингарев внимательно слушал, поучался, комбинировал, потом составлял свою думскую речь. В ней все было исправно, точно, без грубых промахов, но самостоятельного взгляда на русское государственное и народное хозяйство он себе не выработал. Он просто исходил из кадетской программы, где больше говорилось о справедливом распределении прямых и косвенных налогов, чем о поднятии народных производительных сил.

Ораторы, которым поручались сметы отдельных ведомств, пользовались ими, чтобы критиковать действия правительства в разных областях управления, в армии в народном просвещении, в иностранной политике. Шингареву отводилась речь по общему направлению финансовой политики. Для такого огромного, нового для него предмета, как государственное хозяйство шестой части света, у Шингарева нехватало подготовки. При всей свое добросовестности, он оставался на уровне популярного лектора Народного Университета. Этого было далеко недостаточно, тем более, что противником его был Коковцев, старший чиновник министерства финансов, опытный, прошедший перед тем, как стать министром финансов, многолетний практический курс государственной бухгалтерии. Коковцев не обладал выдающимися дарованиями Столыпина. Не было у него внушительной красоты, санови-

той уверенности премьера. Маленький, седенькая борода лопаточкой, голос глуховатый, однообразный, но неутомимый. Коковцев мог говорить час, два, три, ровно, без интонаций без переходов. Нас, журналистов, он приводил в отчаяние, в ярость. Извольте часами слушать один и тот же голос да еще слушать внимательно, записывать цифры, отмечать факты, аргументы. Все-таки говорит не первый встречный, а министр финансов. Выйдет неладно, если переврешь его речь. Между тем в его речах не было никаких отметин, ничего похожего на те взлеты, которыми поражал Столыпин. Коковцев журчал и журчал, как ручеек, но в этом журчании сказывалось доскональное знание всех подробностей сложного бюжета Российской Империи. У него была отличная память и, возражая Шингареву, министр мог доставать из разных углов прихода и расхода нужные ему цифры. Когда между ними разгоралась полемика, слушатели сразу оживали. Коковцев не горячился, не волновался. Став премьером на место убитого Столыпина, он бросил свое единственное запомнившееся словечко — слава Богу, у нас нет конституции! — но и ему не придал той выразительности, которую Столыпин в свои слова вкладывать умел.

Но когда доходило дело до возражений Шингареву, Коковцев, который был много старше своего оппонента, поворачивался в его сторону и с особой, дружественной снисходительной усмешкой начинал уклевывать и отчитывать любимого противника. Это их обоих забавляло. В этой игре даже внешняя деревянность Коковцева смягчалась. В их схватках не было едкой враждебности, сгущавшейся около думской трибуны, когда в министерской ложе появлялся Столыпин. Но если, что тоже бывало, Шингареву удавалось уклеить Коковцева, то министру это совсем не нравилось и свою досаду он не всегда скрывал.

Я не читала записок Коковцева, но я очень надеюсь, что он в них упомянул добром своего кадетского оппонента. Между ними установились те необходимые для разумной работы нормальные отношения, какие должны быть между министром и депутатом, даже принадлежащим к оппозиции. К сожалению, такие человеческие отношения налаживались в Думе очень медленно, хотя бюджетные прения неизбежно втягивали, толкали депутатов на реальную работу, которая без сотрудничества с бюрократией была невозможна. Дело шло уже не об отвлеченных препирательствах с правительством, не об идеологических на него наскоках, как это было в первых двух Думах, не о междуфракционных стычках, волновавших Третью Думу в первые месяцы ее существования. Теперь народные представители должны были обсудить насущные, ежедневные потребности государственного хозяйства, выражавшиеся в сотнях миллионов рублей. Цифры были красноречивее ораторов. Они говорили о размахе русской жизни, об ответственности, которую члены Думы на себя взяли. Для народных представителей первые бюджетные прения были своего рода государственным экзаменом.

Чтобы успеть пропустить бюджет до летних каникул, было увеличено количество часов заседаний. Утром с 10 до часу, днем с трех до шести, вечером с девяти до одиннадцати, а иногда и до полуночи. Итого девять часов ежедневно. Президиум, секретариат, стенографистки, — все подтягивались В казенной ложе чиновники, обычно только иронически ухмылявшиеся во время прений, теперь внимательно слушали, записывали, вчитывались в стенограммы.

Доставалось и нам, журналистам. Мы высиживали в Таврическом Дворце длинные рабочие дни, следили за прениями внимательно, чтобы не запутаться в новых для нас вопросах. Приходилось писать тут же,

в Таврическом Дворце, где не легко было найти тихое пристанище. Первую часть моего отчета, вернее моих думских впечатлений, я отвозила в редакцию к шести часам. Обедала дома. К девяти снова была в ложе журналистов. Из Таврического Дворца, уже ночью, ехала опять на Невский, где помещалась редакция «Слова», и сдавала им вторую часть моей дневной работы. В общем рабочий день кончался около часу ночи. Работа была и торопливая, и ответственная. Надо было выработать свою технику, научиться обращаться с громоздким материалом. И обращению с людьми учиться. Журналисты были все время на людях, среди тех, чьи имена Россия уже узнала, чьи слова разлетались по всей стране. В эти слова мы обязаны были вслушиваться внимательно, ловить их быстро. И, что пожалуй еще труднее, надо было разгадать подлинную значительность, — или глупость, — каждого оратора, оценить его по заслугам и дарованиям, а не только по случайным успехам на трибуне. И не по партийным и личным симпатиям.

Члены Думы смотрели на журналистов,. как на передаточную инстанцию между собой и общественным мнением. Если журналисты и не создавали репутаций из ничего, то все-таки они могли их раздувать, а могли и ослаблять. С нами приходилось считаться. После одного шумного заседания В. А. Маклаков остановился на минуту около ложи журналистов и, весело оглядывая нас быстрыми, охотничьими глазами, блестя белыми зубами, смеясь бросил нам:

— Ну, Братцы, пресса, выручайте. Мы напутали, а вы распутайте.

Маклаков был любимец журналистов. Когда он говорил, легко было написать захватывающий отчет. В ответ ему посыпались успокоительные обещания:

— Ничего, Василий Алексеич, не беспокойтесь. Не подведем. Знаем, как подать.

Он опять засмеялся и побежал дальше. Он не ходил по Таврическому Дворцу, а бегал. Отчасти спасаясь от нашей газетной братии, которая гонялась за ним, старалась подхватить меткое словечко, обрывок пикантной информации, сведения о том, что делается в комиссиях, что говорят во фракциях, какие слухи просачиваются из правительственных сфер. Была особая категория парламентских журналистов, которые писали не о заседаниях, а о кулуарах. Депутаты таких газетчиков побаивались, при их приближении частенько замолкали, т. к. случайно подхваченные слова могли вызвать не очень приятные политические пересуды и сплетни.

Но в общем думские журналисты исполняли свои обязанности добросовестно и осторожно, что при спешной работе особенно трудно. Все, что происходило в Таврическом Дворце, они принимали близко к сердцу. Большинство журналистов были, если и не социалисты, то левее кадетов. В Третьей Думе большинство депутатов было правее кадетов, но правых журналистов попрежнему было мало. Пресса оставалась в руках оппозиции. Из газет, поддерживающих правительство, самой распространенной и умелой оставалось «Новое Время». Его читали и противники. «Московские Ведомости», после смерти М. Каткова, перестали читать. Некоторый вес имел «Киевлянин», но газета, издавашаяся так далеко от Петербурга, не могла иметь влияния на общественное мнение. «Петербургские Ведомости» тихо гнили под скучной редакцией кн. Э. Э. Ухтомского. «Русское Знамя» не хотелось и в руки брать.

Спрос был только на газеты, поддерживающие Государственную Думу. Это доказывает, что народное представительство не было головной выдумкой кучки взбунтовавшихся интеллигентов, что это было жизненное требование, если не всего населения, то его более

сознательной, грамотной части. В Москве, вышедший из крестьян Сытин, нажив миллионы на издании дешевых народных книг, учебников, школьных пособий и картин, создал большую газету «Русское Слово». Он добился неслыханного в России тиража в несколько сот тысяч. Его осторожная беспартийная газета посвящала целые страницы Государственной Думе и была верным проводником идей либерального парламентаризма. Само собой разумеется, что старейшая и наиболее принципиальная московская газета «Русские Ведомости» всем своим авторитетом поддерживала Думу и кадетскую партию, оставляя за собой право критики. Во многих провинциальных городах, в Одессе, в Киеве, в Ростове, Томске, Харкове, Ярославле тоже были газеты, имевшие влияние на широкий круг читателей. Все они были или кадетской окраски, или левее кадет, как, например, имевшая широкое распространение «Киевская Мысль». Но газеты кадетского направления никогда не зависели от Ц. К., оставались совершенно самостоятельными. Большинство думских журналистов были левее кадет, но все же поддерживали кадет, может быть, отчасти потому, что среди журналистов было не мало евреев, а кадеты были убежденными заступниками евреев. Это одно устанавливало дружеские отношения между кадетской фракцией и прессой. Не говоря уже о том, что у кадет были лучшие ораторы. Евреи обожают все сценические эффекты, острые слова, представления, происшествия. Должно быть, сказывается старое, восточное тяготение ко всякой красочности. Как тысячелетие рассеяния сказывается в суетливости, мелькании, юркости. Вносили они все это и в ложу думских журналистов.

Впрочем там мы все, без различия рас и темпераментов, мелькали, мчались, особенно когда приступила Дума к первым большим бюджетным прениям. Не

только мы, журналисты, но и сама Третья Дума, солидная, деловая, заторопилась, помчалась, каждый день перепрыгивая из одной отрасли русского государственного хозяйства в другую. В некоторых ведомствах, как например, в министерстве народного просвещения, все внимание Думы было сосредоточено не на приходных, а на расходных статьях. Дума настаивала не на уменьшении, а на увеличении кредитов на народное образование. На этом сходились все партии. В бюджете министерства военного, напротив, левый сектор настаивал на экономии, старался отогнать пугало милитаризма. Ведь тогдашняя Европа, Европа до войны 1914 г., жила иллюзиями разоружений и миротворчества, считала, что период войн окончен. В смете министерства иностранных дел интересовались не столько цифрами, сколько поводом высказать недовольство общим направлением иностранной политики. Так, день за днем, перелистывала Дума объемистую приходо-расходную книгу Российской Державы. Так как она в первый раз стала доступна общественному мнению во всех подробностях, то некогда было внее по-настоящему вдуматься. Приходилось опираться на старые знания, применять к бюджету отвлеченные партиные доктрины. Но даже в таком галопирующем темпе рассмотрение бюджета имело огромное воспитательное и отрезвляющее значение. Оно вскрывало могучий размах народной жизни, указывало подробности, из которых она складывалась, призывало к осмотрительности, будило сознание ответственности за колоссальную государственную машину, часть которой составляло и народное представительство.

Это отрезвляло. Постепенно Государственная Дума перевоспитывала бюрократию, оппозицию, общественное мнение, всю страну, весь народ. Думские прения были предохранительным клапаном. Зачем устраивать барикады, зачем бросать бомбы, если борьбу

передоверили народному представительству. Социалисты были правы, когда говорили, что Государственная Дума ослабит революционный фронт. За 11 лет своего существования Дума, помимо ряда важных законодательных мер, самым фактом своего существования оказала огромное влияние на развитие хозяйственных и духовных сил России, на более разумное понимание как правительством, так и оппозицией, ее насущных потребностей. Бюджетные прения невольно вели к реалистической политике.

Но давать о них отчеты, это была гимнастика напряженная как для мозга, так и для всего тела, т. к. приходилось высиживать длинные заседания и при этом не зевать. Я этими новыми журналистическими упражнениями сразу увлеклась. Трудности меня всегда подстегивали и учиться я любила на почтовых. А тут еще своего рода спорт — не перепутать цифры, отметить их смысл, сообразить, в чем промахи и достоинства отдельных ведомств, как они отражаются в их сметах, поймать сущность речей и все это подкрасить личной оценкой, которая придает отчетам занимательность. Журналисту хочется, чтобы его читали. Я должна была давать своей газете не сухие сводки, а общее впечатление, скрепленное цифрами и данными, всем существенным, что было сказано с трибуны или напечатано в министерских сметах, розданных нам перед дебатами.

День, точнее утро, начиналось с того, что вся ложа печати белела шуршащими листами плотной, добротной бумаги. Мы торопились хоть одним глазом заглянуть в длинные стобцы с милионными цифрами, в объемистые отчеты, где разные ведомства подробно рассказывали, откуда эти миллионы пришли, куда они ушли. Поймать гвоздь речи, сущность вопроса, да еще нового, всегда не легко. Самолюбие журналистов было настороже. Никому не хотелось обнаруживать

свое невежество, смазать, напутать, вообще провалиться. Я и сейчас, без малого сорок лет спустя, с некоторым удовлетворением — как мне кажется законным, — вспоминаю, что я эти бюджетные экзамены выдержала. Мои приятели, члены Думы, которые были мастера подымать на смех, за мои отчеты меня ни разу не высмеяли и не выбранили.

Я писала их для только что начавшей выходить газеты «Слово», которую издавал и редактировал Михаил Михайлович Федоров, бывший министр торговли и промышленности в кабинете гр. Витте. Это был человек хороший, но нестерпимо горячий, с решительными жестами, с голосом легко переходившим в крик, по натуре властный, но сердцем добрый, способный к жертвам. И великий путаник. Свою жертвенность и отзывчивость он трогательно проявил в эмиграции многолетними, не знающими препятствий заботами о русской учащейся молодежи. А способность путать не раз проявлял в политике, и в России, и на чужбине, сначала как редактор «Слова» в Петербурге, потом на юге России, как участник Особого Совещания при ген. Деникине, наконец, в Париже, как товарищ пердседателя Русского Национального Комитета.

М. М. Федоров был беспартийный либерал, конституционалист, по взглядам близкий к кадетам, но кадетом не стал, так как терпеть не мог Милюкова. Да и по характеру он был дикий, к артельной работе не годился.

У меня с ним, как с редактором, установились добрые, но боевые отношения. Позже, в эмиграции, мы с ним совсем сдружились. А в Петербурге на первых порах мы с ним наскакивали друг на друга, как два петуха. Я свои отчеты подписывала и считала, что, раз под ними стоит мое имя, никто, не исключая редактора, ничего в них вставлять не имеет права.

— Сокращайте, если это вам нужно, но не прибавляйте отсебятины.

— Позвольте, Ариадна Владимировна, ведь я редактор, а не вы.

— А я думский корреспондент. Не вы, а я слежу за жизнью Таврического Дворца, за прениями...

Михал Михалыч начинал горячиться, повышал голос:

— Следите?! Главное за своими кадетами следите... Когда вы пишете для моей газеты, надо забывать, что вы член Ц. К.

Тут и я начинала повышать голос:

— Не вижу, почему я это должна забывать? Это так есть, так и останется. Я не виновата, что кадетские ораторы лучше говорят, чем остальные.

Мы еще некоторое время продолжали кричать друг на друга, потом Федоров примирительно целовал мне руку:

— Ну, хорошо, хорошо... Нечего вам кипятиться. Вы женщина талантливая и писать умеете. Это главное.

Рассказываю об этих невинных перепалках, потому что они показывают, какое у нас, русских журналистов, было независимое положение в нашей профессии. Правда, Дума породила новые газеты; росло число читателей рос и спрос на журналистов. Все же, когда я позже увидала, какую трудную борьбу с работодателем выносит английский журналист средней руки, как хозяева прижимают, дешевят, держат в черном теле, я с гордостью думала, насколько просторнее разворачивалась жизнь русских журналистов, если у них были данные для этого ремесла.

Вспоминаю об этом с гордостью и с горечью. Нет больше большой русской печати. Она перестала существовать. «Известия» и «Правда» это уже не рус-

ские, а интернациональные газеты, несмотря на то, что они печатаются за счет русского народа и на русском языке, хотя и очень плохом.

Конечно, есть эмигрантская пресса. Самое ее существование, поскольку она сохраняет лучшие традиции русской журналистики, является великой заслугой эмиграции. Но внешние условия, а главное оторванность от родины, лишают ее того блеска, размаха, который придавал особый характер газетам и журналам прежней, не порабощенной России.

Глава пятнадцатая

КАДЕТСКАЯ ПАРТИЯ

Кадетская партия занимала не малое место в жизни той думающей, читающей России, которая количественно составляла незначительную часть населения, но, как движущая умственная сила, имела большой политический и моральный авторитет. О политических партиях нередко говорят с насмешливым пренебрежением, особенно теперь, когда во многих странах политические партии не выдержали государственного экзамена. Это очень неосторожное суждение. Всякое начинание, всякое человеческое общество может принять форму уродливую, смешную, вредную. История XIX и XX века дает нам немало примеров вреда от засилия одной партии от междупартийных и внутрипартийных интриг, от борьбы за власть. Все-таки там, где социальная и экономическая жизнь осложнилась, там где люди, всецело признавая свои обязанности перед государством, хотят сохранить как можно больше личной свободы, права на почин, на участие в устройстве жизни народа, там нельзя обойтись без политических партий, без деятельного содружества единомышленников. Они намечают пути общественной мы-

сли и вытекающего из нее политического действия. Разнообразие партий дает возможность разным течениям высказаться, вложить свой вклад. Здоровое общество не может мириться с деспотической монополией одной мысли, одной партии. Из их состязания, из столкновения мнений лучше выясняются потребности, желания, возможности данного народа.

Россия очень запоздала с парламентом и кадетская партия была самой молодой из всех европейских либеральных партий. Может быть, оттого, а может быть, благодаря некоторым особенностям русской интеллигенции, она была похожа на своеобразный рыцарский орден, ревностно исполнявший раз данную присягу. Я считаю себя счастливой, что столько лет жила в центре партии, которая по своему составу, обычаям, приемам служила показателем того, чем может и должна быть политическая партия. И у отдельных кадет, и у всей партии, конечно, были свои недостатки. За 12 лет своего существования она сделала не мало ошибок, промахов. Но кадеты приучали население, включая представителей власти, к политическому мышлению, к новой гражданственности. Они будили общественную совесть, находили выражение для новых политических и социальных потребностей, жизненность которых власть была вынуждена постепенно признать.

Свою доктрину партия строила на тогдашней либеральной европейской правовой науке, которая доводила до логического заключения либеральные идеи XVIII и XIX века. Кадеты горели пафосом либеральным, как левые пафосом социалистическим. Маклаков в своих воспоминаниях с усмешкой называет это «мистикой конституции». Довольно меткая характеристика кадетского романтизма. Хотя я не люблю применять слово мистика к земным устремлениям, даже самым чистым.

Главным хранителем кадетских политических скрижалей был Ц. К. Главной трибуной, откуда их возвещали, стала Государственная Дума.

В слишком недолговечном русском парламенте было много ценного, много добрых сторон. Привлекательной особенностью нашего народного представительства было то, что, по молодости лет, оно не успело обрасти делечеством, которое некоторым западным палатам придает характер биржи. В Государственную Думу люди шли не ради наживы, не ради корыстного устройства своих делишек. Относительно кадетской партии я это могу утверждать категорически. Да и на остальных скамьях сидели депутаты, не делавшие из политики выгодного промысла. Депутатское жалованье могло казаться щедрым только крестьянам, которых было мало. Для большинства это было значительно меньше того, что они зарабатывали как врачи, инженеры, адвокаты. В то же время думская жизнь, с ее заседаниями и комиссиями, не оставляла досуга для профессиональных заработков. Да и внимание было слишком захвачено Таврическим Дворцом. Это была игра, в которой все было ново — внешняя обстановка, трибуна, резонанс речей, разносившихся по всей России, открытая борьба мыслей, о которых недавно еще только перешептывались. Перед общественными деятелями, благодаря Думе, открылась возможность влиять на ход государственной жизни, на народное хозяйство, возможность помогать народу строить себе более достойную, светлую, просторную жизнь.

Деятельным центром нашей партийной жизни был, конечно, Таврический Дворец. Оттуда расходились по стране политические флюиды, там политики приобретали всенародную популярность. Но большая политическая партия организм сложный; особенно в такой огромной стране. Несмотря на роспуск двух Дум, на изменение избирательного закона и устранение

после выборгского процесса кадетской гвардии от земской и городской деятельности, кадетская партия росла и крепла. Столыпину не удалось исполнить свое обещание, не удалось вырвать кадетское жало из страны. Это за него сделали, несколько лет спустя, большевики.

После крутого роспуска Второй Думы и ареста всех депутатов социал-демократов, обе социалистические партии были вынуждены опять уйти в подполье. Те социалисты, которые, вопреки всем препятствиям, всем уловкам и давлению администрации, все-таки попали в Думу, составили в ней сборную Трудовую Группу. В ней было несколько десятков депутатов. Они занимали самый левый сектор Думских скамей, точнее голубых кресел. Их соседями были кадеты, правое крыло оппозиции. У социалистов и кадет вместе было, насколько помню, не больше четверти всех голосов.

Положение кадет было довольно курьезное. Партия не была запрещена, как были запрещены социалистические партии. Заговорами кадеты не занимались, устно и письменно, открыто излагали свои взгляды. Наши юристы упорно старались провести наш устав через министерство внутренних дел, узаконить партию и всегда получали отказ. Несмотря на это, жизнь партии не останавливалась. Члены ее съезжались со всей России на многолюдные, ежегодные съезды, отчеты о которых печатались в газетах. Почти во всех городах, больших и малых, были кадетские комитеты. Списки их членов оглашались в местных газетах, как и списки членов Ц. К. Партийная литература открыто издавалась и продавалась. Были кадетские клубы. Устраивались публичные собрания с политическими речами. За кадетизм никто гонениям не подвергался. Но в ноябре 1907 г. Столыпин издал циркуляр, запрещавший чиновникам состоять в партиях, кото-

рые, как сообщалось в «Правительственном Вестнике»: «хотя и не причисляли себя к революционным, тем не менее в программе своей и даже только в воззваниях своих вожаков обнаруживают стремление к борьбе с правительством». Кадетская партия не была названа, но было ясно, что это относится к ней.

Чиновников за кадетизм не исключали со службы, но они сами просили, чтобы их вычеркнули из партийных списков, что не мешало им на выборах подавать голоса за кадетских кандидатов, бывать на партийных собраниях, оказывать партии услуги, осведомлять депутатов о том, что происходит на верхах бюрократии. Некоторые чиновники продолжали вносить свои членские взносы, сотрудничать в партийных изданиях. Все это расширяло то окружение, которое питает политических деятелей.

Партия была хорошо организована и дисциплинирована. Ц. К. проводил свое руководство партией через цепь других комитетов, образованных в Петербурге, Москве и почти во всех губернских городах. Через них Ц. К. был в постоянной связи с местными настроениями. Это были резервуары, откуда можно было вылавливать новых людей, щупальцы, которыми ответственные главари и члены Думы проверяли себя, чтобы не разойтись с общественным мнением. Случалось, что в том или другом районе из-за какого нибудь вопроса подымался бунт. Тогда устраивали совещание с бунтарями и выправляли партийную линию, любимое выражение Милюкова. Комитеты проявляли большую деятельность, состязались между собой, устраивали митинги, клубы, распространяли партийную литературу, вели кадетскую пропаганду, вербовали новых членов, собирали на партию средства.

Ц. К. ежегодно открыто переизбирали на партийном съезде делегатов со всей России. Устраивали его в Петербурге или Москве. Раз, после Выборгского воз-

звания, мы, полицейского страха ради, съехались в Гельсингфорсе. Наши опасения были неосновательны. Столыпин был тогда слишком занят подавлением революции. Ему было не до нас.

На съездах переизбирался весь состав Ц. К., постоянно вводились новые люди, но ядро, которое состояло в Ц. К. со дня основания партии до самой большевистской революции, неизменно переизбиралось. Это придавало партии большую устойчивость, создавало традицию своеобразного политического генерального штаба. К нему ежегодно присоединялись свежие силы, новые члены Думы, лица, выдвинувшиеся на общественной работе. Кандидатов вылавливал из кадетской толпы все тот же Шаховской. Он метко подбирал людей. Я не помню ни одного случая, чтобы нам пришлось отводить неудачно выбранного члена Ц. К., но конечно, на съезде каждый из нас мог быть забаллотирован.

Выборам в Ц. К. придавали большое значение, общественное мнение за ними следило. Состоять в Ц. К. считалось не малой честью. Это было своего рода общественное звание, отличие. Новички, впервые попадая на его заседания, смущались, волновались, сначала помалкивали, прислушивались. Такова природа человеческая, что там, где нет ни чинов, ни орденов, незаметно вырастает иерархическая пирамида, суживающаяся кверху. Внизу большинство, наверху немногие. Но они всему придают окраску, накладывают свой отпечаток.

Первые годы председателем Ц. К. был Иван Ильич Петрункевич. Заседания происходили в его уютной квартире в Басковом переулке. Темные обои и портьеры придавали столовой внушительный вид. За длинным столом свободно помещалось человек 20. На столе расставлено обильное угощение, хрустальные вазочки с вареньем, тарелочки с печением, сухариками,

булочками, тортами. Отборные фрукты, каких я ни у кого в Петербурге не видала, присылала из своего Крымского имения гр. С. В. Панина, дочь Анастасьи Сергеевны от первого брака. Гр. В. Панин умер молодым. После его смерти его вдова увлеклась революционным движением. В 70-х годах на одном из тайных съездов встретила она И. И. Петрункевича и вышла за него замуж.

Когда я познакомилась с Петрункевичем, это была уже очень немолодая, но все еще окутанная романтической дымкой пара. Анастасья Сергеевна, бурная, страстная, не слишком сдержанная на слова, все горячо принимала к сердцу, могла в любую минуту неожиданно загореться, могла и наговорить лишнего. Но стоило Ивану Ильичу, поверх очков, взглянуть на жену твердыми, черными глазами и она сразу затихала. По крайней мере так было в заседаниях Ц. К. Она любила мужа так явно, с такой трогательной нежностью ловила каждое его слово, как и за 30 лет тому назад видела в нем героя и трибуна, заразившего ее своими радикальными идеями. Глядя на них, я часто думала, что Иван Ильич никогда не занял бы такого положения в партии и в общественном мнении, не будь около него Анастасьи Сергеевны. Она не только окружала его повседневную жизнь мелкими заботами, обдуманным комфортом, который дает больше простора, чем роскошь, но, что было гораздо важнее, она создала ему культ, подняла его на пьедестал, благодаря чему этот средний человек многим казался гораздо выше своего роста.

Анастасия Сергеевна не была членом Ц. К., никакой самостоятельной общественной работы не вела. Она была женой своего мужа, его нянькой, она растворялась в нем, как Надя Крупская растворялась в Ленине. Но мне думается, что Анастасия Сергеевна была даровитее Ивана Ильича. Только ее способности

остались в зародыше. Поглощенная им, она не выработала себя, забыла о себе. На заседаниях Ц. К. она неизменно присутствовала. Сидела не за нашим большим столом, а за своим маленьким, у стены, как раз за спиной Ивана Ильича. Иногда вставала, чтобы отдать приказ горничной, или подвинуть гостям вкусное угощение. Хозяйка она была внимательная и приветливая. Высокая, статная, с лицом все еще красивым, с темными, живыми глазами, она всем своим обликом дополняла барственную уютность их столовой. Но как менялось ее лицо, какие искры сыпались из ее выразительных глаз, если кто-нибудь из нас имел дерзость не согласиться с председателем, спорить с ним. Я любовалась молодой впечатлительностью этой седоволосой женщины, изумлялась силе магнетического отпора, который струился от него на дерзкого. Чувствовал за своей спиной это струение и Петрункевич. Через плечо оборачивался он назад на наблюдательный пункт, где заседала его жена. Она отвечала на его улыбку полуулыбкой и притихала.

Но не всегда. Иногда, нарушая все уставы, врывалась она в прения Ц. К. и налетала на непокорных. Рассудочные ее доводы неизменно были повторением его доводов, но волнение, чувство, бившее ключом, были собственные. Выражались они восклицаниями:

— Это невозможно! Недопустимо! Как МОЖЕТЕ вы так думать?!...

Ей редко возражали и так же редко с ней соглашались. Но присутствие Анастасии Сергеевны придавало нашим заседаниям живописность, вносило ноту вечно женственного. Правда, в Ц. К. была еще другая женщина, Ариадна Владимировна Тыркова. Но мое положение было совсем иное. С Анастасией Сергеевной обращались как с дамой, да еще пожилой, а я вошла в Ц. К., когда мне было 36 лет. Я была товари-

щем, участвовала в походах и стычках, со мной можно было жестоко спорить, на меня можно было налететь, на меня можно было без церемоний перебросить часть партийной работы, поручить мне написать статью, брошюру, приготовить доклад, выступить на митинге. Мне уступали дорогу, придвигали мне стул, оказывали те мелкие проявления внимания, которые благовоспитанные люди привыкли оказывать женщинам. Но это нисколько не нарушало полного равенства, прелесть которого я оценила только попав в Англию. Там я наблюдала как, при внешнем почтении несравненно большем, чем отдавали женщинам в России, англичанок держали за чертой, в своего рода женском Гетто, которого не поколебали ни избирательные права, ни появление женщин в парламенте. Разговоров о том, что женщины существа второстепенные, я в Англии никогда не слышала. Говорить об этом было бы неприлично и ненужно. Это само собой разумеется. Теперь это уже меняется и в Англии, хотя уверенность в мужском превосходстве еще жива.

У нас было иначе. При равной работе мы были равны не перед законом, не перед работодателем, а перед общественным мнением, особенно в тех кругах, где я жила. Я дразнила своих товарищей, что я, единственная женщина в Ц. К., даю пример немногословия, служу живым доказательством, что мужчины болтливее женщин. На заседаниях Ц. К. я больше слушала, чем говорила, хотя вообще была разговорчива. Но мне было несравненно интереснее слушать знающих людей, чем себя. Большинство членов Ц. К. знали бесконечно больше, чем я, лучше меня были подготовлены к политической работе. Для меня Ц. К. был высшей школой политических наук. Когда в Думе проходил какой-нибудь запутанный вопрос и нам, в комитете или во фракции, его разъясняли наши юристы, Набоков, Тесленко, Маклаков, Петражицкий, Новгородцев я слу-

шала их с таким же эстетическим удовольствием, как слушала лекции по математике.

В Ц. К. и во фракции прения часто бывали интереснее, чем когда они потом выносились в Государственную Думу. Как в поэзии бывает, что первый набросок поэмы сверкает блестками, которые тускнеют от позднейшей полировки, так и в речах первая, непосредственная, порой отрывисто высказанная мысль может звучать убедительнее, чем речь отделанная, заранее приготовленная. Оттого так интересно находиться в самом сердце большой политической партии, или большой политической работы, слушать импровизацию даровитых людей, ловить первое зарождение идей и эмоций, которые потом разносятся по стране, иногда отражаются на ее жизни.

Общий дух партии был дружный. У нас не было расколов, интриг, как у социалистов. Не было у нас и разъедающей революционные партии провокации, верной спутницы заговорщицких организаций. Мы мечтали мирным путем, через парламент осчастливить Россию, дать ей свободу мысли, создать для каждого обитателя великой империи, без различия сословий и национальностей, просторную, достойную жизнь. Задачи были поставлены правильно. Только осуществить их нам не удалось. Все же и сейчас, после всех уроков военных и революционных, после всех наблюдений над политической Европой, если бы меня спросили, какой строй я хотела бы для России, я отвечу без колебаний:

— Кадетский.

Хотя с тех пор Европа так покатилась назад, так одичала, что, может быть, ей на некоторое время нужен не либеральный, а суровый порядок.

Я только что сказала, что среди нас не было провокаторов. Надо внести поправку. Когда революция вскрыла архивы Охранки, мы были очень удивлены,

что в ее бумагах нашлось указание на одного агента-провокатора, приставленного к кадетам. Это был кн. Бебутов, фигура довольно комическая.

Перед открытием Первой Думы между нами замелькал отставной гвардейский офицер, не то грузин, не то армянин, с характерным кавказским профилем, с не менее характерным кавказским акцентом. При этом масон. Мы, смеясь, спрашивали друг друга, как он к нам попал. Не слишком молодой, но франтоватый, дамский поклонник, малообразованный, по-восточному туповатый, он щеголял резкостью суждений, громко ораторствовал, требуя от партии самых решительных слов и действий. Когда весной 1906 г. понадобились деньги на устройство кадетского клуба, Бебутов привез Петрункевичу 10000 р., сумму по тогдашним временам немалую. Злые языки уверяли, что это не его деньги, что он их самовольно взял у своей богатой жены, которая так на него за это рассердилась, что прогнала его. На самом деле, как выяснилось после революции, деньги дала Охранка, чтобы ввести Бебутова в кадетские верхи. Он был уверен, что за такой щедрый дар его выберут в Ц. К. и просчитался. Его хвастовство, его политическое фанфаронство, необразованность, глупость, совсем не подходили к стилю нашего комитета. Чем больше Бебутов старался, оказывал мелкие услуги, делал визиты, принимал у себя, суетился, тем с более насмешливым недоумением его разглядывали.

Раз и я у него побывала. Он держал отличную кухарку. Ужин был на славу. Подали колоссальную индейку, нафаршированную сложнейшим фаршем. Вино было дорогое. Тосты самого зажигательного характера. Но все, переизбыток угощения, и переизбыток левизны, было как-то нелепо. В гостиной меня поразили ширмы, оклеенные каррикатурами на Николая II. Я спросила Бебутова:

— Неужели вы не боитесь, что на вас донесет прислуга, что полиция может придти с обыском?

Он засмеялся лихим смехом, как молодой корнет, подмигнул мне черным, влажным глазом. Как могла я догадаться, что смеется он надо мной, что полиция отлично знает, чем украшена квартира их агента?

Бебутов прославился еще тем, что, когда бывший член Государственной Думы адвокат Е. И. Кедрин, единственный кадет, исполнивший наказ выборгского воззвания, отказался платить налоги, и суд постановил продать с аукциона его мебель, первую пущенную в продажу вещь купил Бебутов. Это была дешевая деревянная кустарная пепельница с нелепой длинноносой птицей. Бебутов заплатил за эту птицу 1000 р. и сразу покрыл всю сумму взыскания. Неужели и эту тысячу, истраченную ради выполнения Выборгского воззвания, дала ему Охранка?

Знаю я еще об одной его провокационной проделке, несравненно более злостной. Он издал по-русски заграницей толстый иллюстрированный сборник «Последний самодержец», где Николая II осмеивали, опорачивали, принижали. Бебутов хвастал своим участием в этом издании. Мы с простодушным удивлением расспрашивали его, как ему удалось потихоньку ввести в Россию такую громоздкую, тяжелую книгу, да еще в большом количестве экземпляров?

В ответ он опять лукаво подмигивал. А про себя считал нас идиотами. И был прав.

Так продолжалось до самой февральской революции 1917 г., когда его имя нашли в списках Охранки. Бебутов испугался, заметался, пробовал отбросить от себя обвинение. Но документы были налицо. От страху его разбил паралич и он скоро умер.

Одиннадцать лет, все время существования кадетской партии, провертелся он между нами. А мы, не

подозревая чьим гостеприимством пользуемся, оживленно собирались в кадетском клубе, созданном за счет тайной полиции. Клуб наш был скромным учреждением с неприхотливой обстановкой, с хорошим, но дешевым буфетом. Все хлопоты доставались на долю нескольких кадетских дам. Они вели хозяйство, принимали гостей, находили и привозили докладчиков. Заправилами были М. А. Красносельская и Л. И. Жижиленко. В устройстве еженедельных докладов им помогала А. С. Милюкова. Доклады читали не только на политические, но и на литературные и общие темы. А. И. Шингарев увидал в Москве, в постановке Художественного Театра «Синюю птицу» Метерлинка и пришел в такой восторг, что прочел нам красивый, яркий доклад, устроил себе отдых от неизбежной сухости своих обычных докладов о финансах.

Кадетский клуб пользовался большой популярностью. Русский человек любит поговорить, поспорить, послушать. Приятно было в клубе слушать элегантного Набокова, учиться тонкостям иностранной политики от Милюкова, загораться от вспышек Родичева. Переживалось то, расширяющее мысль и чувство общение с единомышленниками, которое составляет одну из приманок политической жизни и общественной деятельности. В клубе рядовые кадеты имели возможность встречаться с теми, кто вел партию, кто отвечал за нее, чьи речи разносились по России, вокруг кого копилось живое сочувствие миллионов. А полководцы общались со своими солдатами, что тоже очень важно.

Партия устраивала и публичные собрания, где вход был открыт для каждого, кто купит билет. Авторитет кадетских ораторов, которые в своей среде уже были избалованы почтительным признанием, иногда подвергался резким нападкам. На открытые собрания приходили люди разных мнений, были возражения, спор всегда мог обостриться. Правые редко появля-

лись. Чаще в одном из концов залы собиралась кучка социалистов. Им трудно было получить от полиции разрешение на собрание и они пользовались кадетскими митингами, чтобы разоблачать кадетскую буржуазную сущность. В тактику социалистов входило срывать наши митинги. Они считали, что всякие срывы и взрывы проясняют классовое сознание если не масс, то хотя бы данных слушателей.

Не раз случалось мне, как оратору и как председательнице, отражать стрелы, летевшие в меня слева. Часто выступала против меня А. М. Коллонтай, прославившаяся позже как советская дипломатка. Ее отец, Мравинский, занимал в петербургской полиции какой-то довольно важный пост. Молоденькой девушкой вышла она замуж за гвардейского офицера Коллонтай, родила от него сына. Потом разошлась с ним. Говорили, что правоверной марксисткой она стала под влиянием третьестепенного журниласта Финна-Енотаевского. Привлекательного в нем было мало. Неряшливый, неприбранный, некрасивый он, вероятно, покорил ее знанием марксистской диалектики, которую крепко вбил в ее хорошенькую голову.

Коллонтай была светская женщина с хорошими манерами, очень нарядная и изящная. У нее была маленькая, белокурая головка, тонкий профиль, милая, приветливая улыбка. Она была очень занята собой, отлично причесывалась и одевалась, что тогда было в кругах передовых редкостью. Из писательниц хорошо одевалась только Зинаида Гиппиус. Но Гиппиус моды не признавала, сама для себя ее выдумывала, а Коллонтай была модница. Когда она с трибуны произносила марксистские речи, контраст производил эффектное впечатление. Смолоду она училась петь, собиралась стать певицей, как ее сестра ,известная певица Мравина. Ее хорошо поставленный, приятный голос ей очень помогал на митингах. Она была ловким митин-

говым оратором, без своих самостоятельных мыслей, но с большим запасом готовых марксистских истин и изречений, которыми она умело пользовалась. Помогали ее успеху и ее красота, ее нарядность. Даже противникам было приятно смотреть на эту хорошенькую даму, на ее стройную, тонкую, мастерски одетую фигурку, на ее обдуманные жесты и милую улыбку, которой она приправляла свои призывы к классовой ненависти.

Наши стычки с с.-д., наши с ними споры носили еще довольно безобидный характер, по крайней мере с нашей стороны. С.-д. было мало, влиянием они не пользовались, но противники они были ядовитые, в средствах неразборчивые. Не берусь судить, развивала ли в них злобу теория классовой борьбы или в эту теорию верят только те, в ком от природы заложена злая потребность разводить в себе не любовь к людям, а вражду? В марксистах не было русского добродушия. Сердитый это был народ. У них была неизменная, твердо выработанная тактика задирать, вносить беспорядок, передергивать чужие слова, срывать чужие собрания, не давать противнику возможности высказаться. Когда маленькая их кучка скоплялась в каком-нибудь углу, председатель собрания настораживался. Настораживался и полицейский чин, неизменно присутствовавший на публичных собраниях.

В центральных кварталах Петербурга эту обязанность часто исполнял пристав Шебеко, видный офицер, знавший лучшие времена. Он держал себя очень вежливо, старался не вмешиваться в ход заседания. Но, как только слетались с.-д. — которых и мы, и он знали в лицо, Шебеко начинал нервничать. Раз на многолюдном митинге в Соляном Городке, где я председательствовала, выступил какой-то товарищ в блузе и начал в довольно неприкрытой форме призывать к потрясениям, к сокрушениям, к углублению револю-

ции. В глубине зала сразу поднялась высокая фигура Шебеко:

— Госпожа председательница, прошу вас остановить оратора. Я не могу допустить таких речей.

Я тоже встала и, обращаясь к неизвестному мне человеку в блузе, спокойно сказала:

— Господин оратор, для того, чтобы мы могли продожать обмен мнений, прошу вас быть сдержаннее и считаться с физическими условиями, в которых происходит наше собрание.

Шебеко вскочил и взволнованным, резким голосом заявил:

— Объявляю собрание закрытым.

Спорить было бесполезно. Приходилось подчиниться. Публика, которая только что разлакомилась и ждала занятных схваток между кадетами и марксистами, начала нехотя расходиться, довольно громко поругивая полицию. Ответственная устроительница митинга, на чье имя была записана зала, спросила Шебеко, почему он так круто закрыл собрание?

— Помилуйте, — сказал он обиженно, — Госпожа Тыркова такая тактичная, так умело ведет заседания, что я всегда спокоен, когда она председательствует. И вдруг она меня назвала физическим условием? Меня, представителя власти? Разве это допустимо?

Это был сравнительно редкий случай столкновения или недоразумения с полицией на кадетском митинге. Несмотря на совершенно неопределенное правовое положение кадетской партии, полиция относилась к нам иначе, чем к социалистам. Поведение наше на них действовало. Партия была твердо оппозиционная, но выдержанная, благовоспитанная. Это признавали даже ее противники. Слева находили, что мы даже слишком хорошо воспитаны. Может быть, они были правы. Политик иногда должен действовать засуча

рукава, задавать хорошие встряски своим и чужим. Мы встрясок не задавали. Для этого партия была слишком академична. Университеты, рассадники радикальных мечтаний, были за кадет. То есть профессора, не студенты. Молодежи у нас почти не было. Многие кадетские профессора пользовались исключительной популярностью, но студенты в профессорскую партию не шли. Только в немногих высших школах были студенческие кадетские группы . Студенту надо было иметь много мужества, чтобы в студенческой среде проповедывать кадетизм. Для молодежи мы были слишком умерены. Те из них, в ком был политический темперамент, гораздо охотнее шли за социалистами, надеялись при помощи социальной раволюции, сразу излечить все язвы человеческого общества. Но молодежь одобряла в кадетах их непримиримость. Самодержавие и после октябрского манифеста полагалось считать деспотическим и ненавистным. Поэтому полагалось шумно, откровенно презирать политических деятелей, которые были правее кадет и от сотрудничества с правительством не отказывались.

Другое дело кадеты. С ними можно, должно спорить. На митингах их надо громить как буржуев, но с ними нельзя не считаться, к ним надо прислушиваться, позволяется и заслушиваться их блестящих ораторов. За кадетами был авторитет пионеров, которым история поручила ввести в России парламентские идеи, порядки, приличия. Читающая Россия разных оттенков политической мысли за ними следила с интересом и одобрением. Кадеты закрепляли устой новой гражданственности, освещали деятельность нового представительного строя.

Партийная организация и работа была хорошо налажена, но влятельной прессы, отвечающей авторитету партии, создать кадетам не удалось. У Ц. К. не было своей газеты. Одно время выходил «Еженедельник

партии Народной Свободы», но его запретили. Московские «Русские Ведомости» по духу и по составу сотрудников почти сливались с кадетами, но эта старинная, влиятельная газета партийным указкам не подчинялась. В провинции очень многие газеты нас поддерживали, но это тоже не были партийные органы.

Неофициальным центром кадетской публицистики была издававшаяся в Петербурге газета «Речь». Она была независима от Ц. К., но это был наиболее показательный кадетский орган, уже благодаря тому, что во главе его стоял лидер партии П. Н. Милюков. Соредактором его был другой член Ц. К. — И. В. Гессен. Он выдвинулся во время Освободительного Движения как один из редакторов «Права» и перенес свой редакторский опыт в «Речь». Гессен был еврей, адвокат с хорошей практикой, человек умный, живой, способный, доброжелательный. Все качества для редактора полезные, но недостаточные. Он, как и Милюков, не был талантливым журналистом, хотя работал много и газету любил. Без него, может быть, и «Речи» не было бы. Вместе с А. И. Каминкой он достал для газеты деньги кажется от Азовско-Донского Банка, где директором был другой Каминка. Главным пайщиком был богатый инженер Бак, тоже еврей. «Речь» вообще считалась еврейской газетой и это не способствовало ее успеху. Среди сотрудников действительно было не мало евреев.

Но по духу «Речь» была не еврейской, а русской газетой. Она отстаивала интересы России, включая и еврейское равноправие. Оно было обязательным пунктом в программе всех оппозиционных партий, не потому, что так хотели евреи, а потому, что этого требовало чувство справедливости и инетересы государства. Милюков не был ни евреем, ни еврейским наймитом, как его грубо называли правые. Его вообще нельзя было ни нанять, ни подкупить. Его

можно было заласкать, облестить. Но это уже другое дело, другой подход.

Сначала два редактора работали очень дружно. Практичный, но и сентиментальный Иосиф Владимирович был трогательно влюблен в Павла Николаевича, смотрел ему в глаза, весь расплывался, произнося это магическое имя — Павел Николаевич. Потом остыл. Раз с кривой усмешкой Гессен сказал мне:

— Знаете, что за человек Милюков? Вот мы годами работаем вместе, а если я буду ему не нужен, он будет каждый день проходить мимо моего дома и даже не спросит, жив я или умер?

Под конец они совсем разошлись. Не знаю из-за чего. Газету они продолжали редактировать сообща. В ночной редакции, составляя номер, они сидели друг против друга за одним столом. Но не разговаривали, может быть, даже не здоровались.

Газета велась скучно, бледно в ней нехватало занимательности, жизни. Милюков придавал значение только своим передовым, где добросовестно анализировал шахматные ходы думской политики и международного положения. Другие отделы его не интересовали. У него не было газетного нюха, да и публицистического таланта не было, этих двух свойств, которые помогли Суворину сделать из «Нового Времени» одну из лучших русских газет. В «Новом Времени», при всей неправильности направления, была газетная яркость, живость, была информация, чувствовался пульс жизни, были талантливые сотрудники — Меньшиков, Розанов, Чехов, сам Суворин. Руководители «Речи» талантов не искали, ими не интересовались, не понимали зачем они нужны в газете? Довольно того, что «Речь» твердо стоит на принципиальной точке зрения. Но упрямые читатели, даже из числа добросовестных либералов, искали в газете не только политических аргументов и наставлений, но сведений и

занимательности .Читатель очень уважал кадет, но пятачки свои нес в «Новое Время», в «Биржевку», или в одну из левых газет, которые то появлялись, то запрещались.

Одно время я довольно часто писала в «Речи», потом реже, но все-таки давала им то статьи, то рассказы и в редакции была своим человеком. Профессиональной, тем более финансовой, пользы от этого было мало, но для общественной деятельности связь с газетой необходима.

Кроме того, на моей ответственности была другая, уже чисто партийная газетная работа. Ц. К. поручил мне организовать и вести кадетское бюро печати. Это бюро дало повод крайним правым напечатать в «Русском Знамени», что я продалась «жидам», от которых получила большие деньги для юдофильской пропаганды в провинциальной печати. Насколько помню, мы не разослали ни одной статьи по еврейскому вопросу, просто потому, что не было в то время для них повода. Но у крайних правых была скверная привычка все объяснять денежными интересами противников, всех обвинять в продажности. На самом деле для начала кн. Павел Дм. Долгоруков дал мне, по настоянию Ц. К., сто рублей, да и то не очень охотно. Вот с этим основным капиталом я и повела наше бюро.

Работа моя сводилась к тому, что я циркулярно рассылала из Петербурга в провинциальные газеты статьи по разным вопросам. Изредка их писали партийные генералы, чаще рядовые члены партии, или беспартиные журналисты. Это был трудолюбивый, но тихий уголок моей шумной партийной жизни. Но как один из способов распыления либеральных идей по огромной империи, бюро было полезной выдумкой и я бессменно и охотно им руководила несколько лет, до самой войны 1914 г.

Мне жизнь в партии очень много давала. Она раз-

двигала горизонт, приучала к ответственности, дисциплинированной работе. Приучала действовать сомкнутым строем. Много времени, внимания, сил отнимала партия, но и вознаграждала щедро. Свое место в партии я нашла, и нашла его по-женски, не подражая мужчинам. Когда надо было выяснять новые настроения, новые повороты в общественном или хотя бы только кадетском мнении, я чувствовала под собой твердую почву. Иногда догадкой, чутьем, пристальным вниманием к людям я схватывала больше, чем мои ученые товарищи, особенно больше чем Милюков. Оттого во фракции и в Ц. К., если случались споры, мне чаще всего приходилось спорить с ним. Я была своего рода enfant terrible, хотя из ребячества давно вышла. Но в то время как в партии, отчасти и вне ее, Милюков становился чем-то вроде старейшины оппозиционного конклава, я все пристальнее вглядывалась в него, все чаще сомневалась, да такой ли нам нужен лидер? Это было неприятное сомнение, но оно закрепляло мою самостоятельность, от природы немалую.

Случалось, что молодые депутаты, которые относились к Милюкову как студенты к профессору, просили меня:

— Ариадна Владимировна, скажите Милюкову...

Я смеялась, отбивалась;

— Вот выдумали. Что вы, маленькие? Скажите ему сами.

— Да нет, скажите вы. Вы женщина, он вас легче выслушает...

Действительно, выслушивал он меня довольно терпеливо. У него вообще в Ц. К. не было диктаторских замашек. Среди нас он был только первый между равными. Хотя почет и власть очень любил, любил быть на виду. Этого всю жизнь искал. Но прирожденной властности в нем не было. Его пухлая ладонь пожимала руку как-то безлично, не передавая того бы-

строго тока, силу которого чувствуешь даже при случайной встрече с крупным человеком. От Милюкова не исходило того магнетического воздействия, которое создавало власть Наполеону или в наше время Гитлеру. Такие токи шли и от Толстого. Порой их можно почувствовать и около менее крупного человека. Милюков этой непосредственной, природной силы, покоряющей людей, был лишен. Но в нем было упорство, была собранность около одной цели, была деловитая политическая напряженность, опиравшаяся на широкую образованность. Он поставил себе задачей в корне изменить государственный строй России, превратить ее из неограниченной, самодержавной монархии в конституционную, в государство правовое. Он был глубоко убежден в исторической необходимости такой перемены, но она должна быть связана с его, Милюкова, политикой, с ним самим. Его личное честолюбие было построено на принципах, на очень определенных политических убеждениях. Если бы ему предложили власть, с тем, чтобы он от них отказался, он, конечно, отказался бы от власти. Положим, насколько мне известно, у него такого искушения и не было.

В наружности Милюкова не было ничего яркого. Так, мешковатый городской интеллигент. Широкое, скорее дряблое лицо с чертами неопределенными. Белокурые когда-то волосы ко времени Думы уже посерели. Из-под редких усов поблескивали два или три золотых зуба, память о поездке в Америку. Из-под золотых очков равнодушно смотрели небольшие, серые глаза. В его вягляде не было того неуловимого веса, который чувствуется во взгляде властных сердцеведов. На кафедре Милюков не волновался, не жестикулировал. Держался спокойно, как человек знающий себе цену. Только иногда, когда сердился, или хотел подчеркнуть какую-нибудь важную для него мысль,

он вдруг подымался на цыпочки, подпрыгивал, точно хотел стать выше своего среднего роста. Также подпрыгивал он, когда ухаживал за женщинами, что с ним нередко случалось.

Милюков умел внимательно слушать, умел от каждого собеседника подбирать сведения, черточки, суждения, из которых слагается общественное настроение или мнение. В этом внимании было мало интереса к людям. Это был технический прием, помогавший ему нащупывать то, что он называл своей тактической линией равнодействия. Но к людям, как отдельным личностям, Милюков относился с холодным равнодушием. В общении с ним не чувствовалось никакой теплоты. Чужие мысли еще могли его интересовать, но не чужая психология. Разве только женская, да и то только пока он за женщиной ухаживал, а потом он мог проходить мимо, не замечая ее. Люди были для него политическим материалом, в котором он не всегда хорошо разбирался.

Сам насквозь рассудочный, Милюков обращался к рассудку слушателей. Волновать сердца, как это делал Родичев, Шингарев, отчасти Маклаков, было не в его стиле. Его дело было ясно излагать сложные вопросы политики, в особенности иностранной. Память у него была четкая, точная. Он знал языки, хотя произношение у него было неважное, как у человека, который иностранным языкам в детстве не учился. Начитанность у него была очень большая. Он любил книги, всю жизнь их собирал. Разносторонность его знаний и умение ими пользоваться были одной из причин его популярности. Русские люди, образованные и необразованные, любят ученость, а Милюков, несомненно, был человек ученый.

Но не талантливый. В нем не было того, что Толстой называл изюминкой. Никаких иллюминаций. Единственная его речь, взлетевшая как сигнальная ра-

кета перед гибелью судна, была его речь 1-го ноября 1916 г. о Распутине. Да и той лучше было бы не произносить. Обычно он давал синтез того, что накопила русская и чужеземная либеральная доктрина. В ней не было связи с глубинами своеобразной русской народной жизни. Может быть потому, что Милюков был совершенно лишен религиозного чувства, как есть люди лишенные чувства музыкального.

В острые минуты он часто мог говорить как раз то, чего говорить и делать не следовало. Так было с Выборгским воззванием, так было с его бестактными аплодисментами премьеру, после речи Родичева о Столыпинском галстухе. Так было с его речью о Распутине. Так было в Киеве, когда он разговаривал с немцами. Все это доказывает, что чутьем его судьба не одарила.

В его вкусах, манерах, мыслях не было утонченности. Среди окружающих его кадет были люди несравненно более одаренные, более умные. Но они уступали ему первое место. Одни, как Л. О. Петражицкий, потому что были у них другие интересы и они не хотели целиком отдаться политике. Маклаков по ветренности и эгоцентричности. Наконец ,некоторые, как Шаховской, позже Шингарев, потому что недооценивали себя и переоценивали Милюкова.

Все эти умные, хорошие люди долго не замечали, что у Милюкова, для того ответственного места, которое он занял в общественном мнении, нехватало широты государственного суждения, он не знал тех глубоких переживаний, из которых вырастает связь с землей. Держава Российская не была для него живым, любимым существом. К нему можно было применить то, что Хомяков ставил в упрек умной фрейлине Россети:

При ней скажу: моя Россия,
И сердце в ней не задрожит.

В партии было много незаурядных людей. Милюков поднялся над ними, стал лидером прежде всего потому, что крепко хотел быть лидером. В нем было редкое для русского общественного деятеля сосредоточенное честолюбие. Для политика это хорошая черта. В желании оставить след в русской истории нет ничего предосудительного, особенно когда для этого не приходится кривить душой. Милюков всю свою деятельность строил на принципах, в которые верил. Он был убежден в справедливости либеральных идей и с чистой совестью отстаивал каждую подробность кадетской программы. Кроме, пожалуй, женского равноправия, да и тут он видел, что до осуществления его далеко, а как пункт в программе, равноправие привлекает к нам сторонниц, дает партии преданных сотрудниц, без которых трудно было бы справляться с выборами, с черной будничной партийной работой, со всей ее техникой.

Едва ли не единственным эмоциональным стимулом его политических переживаний, который захватывал не только рассудок, но и чувство, была его непоколебимая непримиримость по отношению к власти. Она придавала его партийной деятельности открытость, прямоту. Но был ли он по характеру прямым, искренним? Мне этот вопрос часто задавали. Ответить на него нелегко. И был, и не был. Он был достаточно умен, чтобы быть правдивым. Его никто не мог бы уличить во лжи. Кадеты не могли иметь своим вождем лгуна, даже человека, изредка прикрывающегося ложью. Лукавство в Милюкове, конечно, было. Он называл это тактикой. Она отчасти выражалась в том, как он подбирал свое ближайшее окружение, привлекая людей не столько крупных, сколько услужливых, преданных. Крупных людей он, по возможности, остерегался. Может быть, при всей своей уверенности сознавал собственный рост. Впрочем, в политике извест-

ная доля лукавства неизбежна. Вот и Милюков старался похитрее передвигать политические шашки, чтобы вернее бить по правительству, чтобы глубже внедрять в сознание общественного мнения свои оппозиционные мысли. Он считал себя хитрым тактиком, хотя на самом деле оказался довольно слабым игроком.

Едва ли не самым большим его недостатком, мешавшим ему стать государственным деятелем, было то, что верность партийной программе заслоняла от него текущие государственные нужды, потребности сегодняшнего дня. У него не было перспективы, он не понимал значения постепенного осуществления определенной политической идеологии. В этом умеренном, сдержанном, рассудочном русском радикале сидел максимализм, так много сыгравший злых шуток с русской интеллигенцией. Оттого он не поддержал Столыпинский закон о выделении из общин, который кадетам, конечно, следовало поддержать.

Сильнее всего Милюков был как теоретик либерализма. Он очень много сделал для укрепления кадетской партии и распространения ее идей. Ведь в России политические партии были новинкой. Надо было всему учиться, всему учить, все создавать, воспитать навыки партийной работы, оформить разбуженные политические инстинкты, выработать привычки к общей ответственной работе, к дисциплине.

Во всем этом Милюков был ценным указчиком. Так же, как и другие члены партии, и заметные, и рядовые, из среды которых постепенно выделялись люди незаурядные. Общими усилиями создавали мы внутреннюю жизнь партии, определяли быт, правила поведения, связанные с новыми для русских людей политическими правами и обязанностями. Это было нужно не только нашей партии. К кадетам прислушивались, нашему общественому кодексу доверяли. Главным наставником с начала и до конца оставался Шаховской.

Его живое, горячее знание людей, умение к ним подходить, с ними сближаться, его благожелательность делали его незаменимым старшим дядькой партии. Милюков так обращаться с людьми не умел. Да от него этого и не ждали. От него ждали политических чертежей. Он определял отношение к правительству и к возникавшим политическим задачам, он намечал, в каком направлении должна развиваться думская энергия ,он добросовестно вбивал в мозги русских людей те либеральные начала, на которых кадеты хотели строить здание русской государственности.

Милюков умел излагать сложные вопросы внутренней, в особенности внешней политики так ясно, что они становились доступны для самых неискушенных мозгов. Он не мудрил, не искал новизны, не бросался неожиданно в девственные леса, как это постоянно делал Струве, Милюков уверенно обращался с раз навсегда усвоенными понятиями. Реальному политику тем легче действовать, чем меньше у него метаний и мечтаний. Благодаря ходу событий, отчасти и личным свойствам, Милюкову было не суждено стать реальным политиком. Он окаменел на раз занятых позициях и это грузом легло на его политическую деятельность, отчасти и на партию.

При выработке своих, так называемых тактических директив он мало своего выдумывал. Над этими директивами в партии посмеивались, но их принимали как неизменную приправу политического сезона. Милюков строил свою сводку на мыслях большинства. При новых выборах, перед новой сессией Думы, или иных событиях, созывался пленум Ц. К. Приезжали москвичи и провинциалы. Милюков докладывал очередные вопросы внутренней и международной политики ,затем шел обмен мнений. Обычно самыми интересными были первые, непосредственные суждения. Милюков внимательно слушал, делал отметки в записной

книжечке. У него, должно быть, этих книжек накопилась целая библиотека. Если они уцелели, будущие историки найдут в них материалы для уяснения одного из течений русской общественности. На следующее заседание Милюков уже являлся с синтезом разных мнений. Он делал выжимки из сказанного, не навязывая своего мнения. Но раз придя к какому-нибудь заключению, он крепко за него держался и тогда сдвинуть его было трудно. Только великие потрясения сделали его немного более гибким. Он это показал в войну 1914 г., когда создал Прогрессивный Блок, куда вошли все думские фракции, кроме социалистов, пораженцев и правых противников Думы. Потом, в начале революции, героически пытался он спасти монархию, уговаривая В. Кн. Михаила Александровича не отрекаться от престола, старался доказать разнузданной солдатчине, что России нужна не республика, а конституционная монархия.

Но время уже было упущено.

Глава шестнадцатая

КООПЕРАЦИЯ

Революция 1905 г. провела глубокие борозды, перепахала всю Россию, но ничего не сокрушила, не оборвала преемственности старой власти, не сломала быта, на который столетиями опиралась Россия. Новые ростки побежали от старых корней. Народное представительство было только одним из проявлений народной энергии, рабуженной событиями, войной, забастовками, речами, новыми идеями, быстро проникавшими в мозги. Ну, и, конечно, тем, что говорилось в Думе. Во всех областях пошли сдвиги. Стремительно развивались просвещение и все отрасли народного хозяйства, промышленность, банки, транспорт, земле-

делие. Трудно было уследить за движением, осмыслить все, что происходило в стране.

Во время Третьей Думы правительство созвало в Петербурге съезд городских голов для обсуждения городского уложения, финансов, кредитов. Среди съехавшихся городских деятелей оказалось довольно много членов кадетской партии. Наши провинциальные товарищи пришли в думскую фракцию рассказать о своей деятельности. Живое, постоянное общение с провинциалами было одним из наших хороших партийных обычаев, заложенных Шаховским. Они приносили с собой освежающее дыхание великой империи, которую не только чиновники, но и думцы, и общественники, жившие в столице, часто воспринимали слишком кабинетно. Увлеченные столичной суматохой, они недооценивали того, что творится в глубине России, того, с какой быстротой налаживаются новые условия жизни. С тем большим интересом, почти с волнением, слушали мы доклады городских деятелей.

Особенный успех имели сибиряки. Городской голова Новониколаевска (переименован теперь в Новосибирск) имел большой успех. Он рассказывал, как за какие-нибудь 10 лет маленький поселок разросся в образцовый город с 200000 населения. Были разбиты сады, проложены хорошие мостовые, проведены трамваи, электричество, телефоны, построены просторные общественные здания, школы, театр, комфортабельные частные дома. Маленький поселок перегнал старые города, получил все, что давала тогда передовая техническая цивилизация. Мы слушали что-то, напоминающее рассказы из американской жизни. Молодой городской голова видел, какое он производит впечатление на слушателей, и явно гордился своим городом. Это льстило его сибирскому честолюбию. Сибиряки свой край любили и заботиться о нем умели.

Росту городов и промышленности помогала прави-

тельственая система кредитов, правильная постановка железнодорожного хозяйства. В России железные дороги частью строились на счет казны, как Николаевская дорога, великий Сибирский путь и другие дороги Азии, частью переходили к государству после известного срока, от частных компаний. Железные дороги отлично обслуживали интересы населения и в то же время не ложились бременем на казну. Дешевые дифференциальные тарифы для пассажиров и товаров очень помогли быстрому экономическому и просветительному росту. Этот рост ощущался на каждом шагу, даже в нашем небольшом деревенском углу. Мужики становились зажиточнее, были лучше обуты и одеты. Пища у них стала разнообразнее, прихотливее. В деревенских лавках появились такие невиданные раньше вещи, как компот из сушенных фруктов. Правда, он стоил только 18 коп. фунт, но прежде о такой роскоши в деревне не помышляли, как не воображали, что пшеничные пироги можно печь не только в престольный праздник, но каждое воскресение. А теперь пекли, да еще с вареньем, купленным в той же деревенской лавочке. Варенье было довольно скверное, но стоило оно 25 к. фунт, был в нем сахар, были ягоды, все вещи, от которых под красной властью коммунистов пришлось отвыкнуть. С быстрым ростом крестьянского скотоводства и в Европейской, и в Азиатской России увеличилось и производство молока и масла. Жизнь действительно становилась обильнее, легче. В ней пробивалась всякая новизна, о которой не было помину, когда я молодой девушкой жила в Вергеже. Деревенская молодежь стала грамотной. Сама по себе грамотность не вносила резкой духовной перемены в деревенский быт, т. к. потребности к учению у большинства попрежнему не было. Но над общим уровнем уже вставало отборное меньшинство, завелась думающая молодежь. Стали появляться деревенские интеллиген-

ты из крестьян. Одни из них отрывались от земли, уходили в города, другие возвращались после школы в деревню и там, в родной обстановке, становились местными общественными деятелями, искали способов улучшить крестьянскую жизнь.

Правительство шло им навстречу. Уж на что у нас было принято ругать каждое министерство отдельно и все правительство в целом, но и оппозиция вынуждена была признать, что Министерство земледелия хорошо работает, систематически проводит в жизнь очень разумный план поднятия крестьянского хозяйства. Мелкий кредит, ссуды для кооперации, производительной и потребительской, опытные сельскохозяйственные станции, агрономические школы, разъездные инструктора, склады орудий, семян, искусственных удобрений, раздача племенного скота, — все это быстро повышало производительность крестьянских полей. Министерство действовало не столько через своих чиновников, сколько через местных людей, земцев, кретьян.

У нас на Вергеже первым откликнулся старший в роде — мой отец. Кооператором он не был, но он устроил сельскохозяйственное общество и был его первым председателем. Со свойственной ему энергией, которую он сохранил до конца жизни, он в трех соседних волостях вербовал членов общества, добывал кредиты, ходил по петербургским канцеляриям, устраивал местные агрономические съезды и совещания, привозил инструкторов и лекторов для зимних сельскохозяйственных курсов, где читались практические лекции по скотоводству, полеводству, огородничеству, пчеловодству. Все это для наших деревень было большой новизной. Отец будил, тормошил мужиков. Он устроил в Чудове первую в нашем краю сельскохозяйственную выставку, которая повторялась ежегодно.

Мужики с изумлением и любопытством бродили по ней и, почесывая в затылках, говорили:

— Ишь какую капустину вырастили. Надо и мою бабу научить. У курляндцев рожь-то какая колосистая... А земля небось не лучше чем у нас.

— Земля-то у них не лучше, да башка лучше работает, — задорно говорил молодой агроном-инструктор.

Но русская башка тоже уже заработала. Мужики поняли, что каждый мешок удобрения, каждая мера хороших семян сторицей вознаграждает их за работу и расходы. Понемногу сдвигалось с мертвой точки мужицкое хозяйство, а с ним и все мужицкое царство. Деревня начала просыпаться. И мой отец был одним из тех многих русских просвещенных людей, которые это пробуждение приветствовали, ему способствовали. В мае 1912 г. он скончался. Его работа помещика и общественного деятеля естественно, сама собой, перешла к жившему с ним сыну, Аркадию. Так на Вергеже, вопреки всем шквалам, вопреки казалось бы непримиримым политическим расхождениям во взглядах отца и сына, жизнь утверждала ту семейную преемственность, на которой строилось тысячелетнее существование России. И это несмотря на то, что в Аркадии не было ни папиной энергии, ни его потребности действовать. Все свое время и внимание он отдавал разрастающемуся Вергежскому хозяйству. Дом и сад попрежнему вела мама, но все остальное — поля, покосы, скотный двор, лесные заготовки — все было под надзором Аркадия. Это произошло постепенно. Он сам не заметил, как втянулся в хозяйство, как полюбил землю отцов, он изучил особенности и свойства каждого Тырковского поля и лужка, каждой дойной коровы. Целые дни проводил в полях. Иногда брал с собой лопату, чтобы собственноручно поправить канаву, ездил на косилке или конных граблях,

возвращался домой весь выпачканный в земле, к обеду опаздывал, ворчал, что ему надоело возиться с навозом, с глупыми рабочими, но на самом деле с каждым годом все больше сживался с обязанностями помещика .Тем более, что в имении, как и в деревнях, кругом, усилия не пропадали даром. Аркадия тешило также, что росла хозяйственная слава Вергежи. К нам привозили экскурсантов-школьников из агрономических училищ, чтобы показать им одно из лучших хозяйств в уезде. Брат не без гордости водил их по своим полям.

А тут еще к нему потянулась крестьянская молодежь, увлеченная кооперацией. Около него собралось целое гнездо. Не совсем около. Движение шло не с нашего берега, не от ближайших к нам деревень, населенных потомками бывших крепостных, а с противоположного, правого берега Волхова, где жили несравненно более зажиточные и хозяйственные потомки аракчеевских военных поселенцев. Они были бойчее, свободнее, предприимчивее, зажиточнее наших.

Одним из зачинателей маслодельной артели и кооперативных лавок, с которых началось движение, был молодой крестьянин села Высокое, Яков Иваныч. Его отец, рыжебородый Иван Иваныч, принадлежал к деревенской знати. Одно время был старшиной. Он еще помнил аракчеевские времена. Хороший рассказчик, он попал под перо Глеба Успенского, который одно лето жил с семьей у него на даче. Когда Иван Иваныч бывал на Вергеже ,мы приставали к нему с расспросами о старых временах. Он сначала отделывался шутками и прибаутками, выпивал не спеша несколько чашек горячего чая с вареньем, опрокидывал последнюю чашку кверху дном в знак того, что больше не хочет, клал на донышко огрызок сахару, расправлял пышную седую бороду и, оглядывая маленькими, лукавыми глазками длинный столовый стол, говорил:

— А что мне рассказывать? Ведь если скажу, что при Аракчееве не худо было, не поверите? Я Глебу Иванычу сказал, так он даже рассердился. А я не врал, правду говорил. Порядку тогда учили. И у всех все, что на потребу, было. А что драли, так велика беда? С народом без строгости никак невозможно.

Он смеялся себе в бороду. Умный мужик знал, что тырковское семейство ни дранья, ни строгостей не любит.

Его сын, Яков Иванович, младший из 15 детей, которых Иван Иваныч прижил от двух жен, был мягче, менее уверенный, чем его отец. А хозяйственность, деловитость он от него перенял. Качества для кооператора ценные. Тем более, что в этом широкоплечем, круглолицем, медлительном парне они совмещались с добрым запасом идеализма.

Наши кооператоры, во всяком случае их вожаки, были идеалисты. Для них кооперация была орудием воспитания общественных навыков и способом поднять уровень народной жизни. О служении народу они не говорили. Они сами были народ. Но с народниками у них была преемственная связь и не случайно они, с первых же шагов, обратились к Аркадию Тыркову. Для них он был не сын крупного помещика, а старый революционер, пострадавший за то, что хотел добыть народу землю и волю. Они приходили к нему за советом, как ученики к любимому учителю, прислушивались к каждому его слову, окружали его трогательной преданностью. Эта крестьянская молодежь, сама по себе нереволюционная, потянулась к нему, благодаря его революционному прошлому. Он их не искал, ни о каком влиянии не думал. Это было не в его характере. Но когда они сами к нему пришли, он встретил их приветливо, готов был помогать, давать советы, вместе с ними думать. Их привлекало своеобразное обаяние, исходившее от моего замкнутого брата, кото-

рый, несмотря на небрежную манеру одеваться и на неприхотливую простоту жизни, оставался барином. Подкупала кооператоров и его артистичность. После длинного, неторопливого, подробного обсуждения как выгоднее продавать артельное масло, откуда выписать селедки для кооперативной лавки, какой кредит просить для расширения дела, Аркадий вставал от чайного стола, за которым на Вергеже шли все разговоры, садился за рояль и играл Шопена. Широкое лицо Якова Иваныча расплывалось счастливой улыбкой. Он весь замирал. Концертанты были бы довольны, если бы их так всегда слушали, как этот крестьянский сын, никогда раньше не бывавший на концертах, слушал моего брата.

Заправилой их кружка был Ивлев, из села Городено, верстах в десяти от нас. Там в детстве жила моя мать, т. к. ее отец командовал военными поселенцами, дедами наших кооператоров. Мама с интересом расспрашивала Ивлева о своих сверстницах, которые, как и она сама, уже стали бабушками, посылала им через него поклоны. Ивлев был хороший собеседник, более бойкий и словоохотливый, чем Яков Иваныч. В нем было больше размаха, больше честолюбия, которого тот был лишен. И политически Ивлев был острее, кажется он был с.-р., — но об этом помалкивал, не хотел вредить своей кооперативной работе, ради которой ему приходилось ходить по правительственным учреждениям и поддерживать отношения с чиновниками.

Настойчивый и выдержанный, он быстро закрепил за собой заслуженную славу дельного работника, на которого можно положиться. Несмотря на его молодость, с ним считались. Когда он у нас, на Вергеже, встречался с новыми людьми, особенно с теми, чьи имена мелькали в газетах, его самолюбие настораживалось. Недочеты своего образования он знал, но не хотел, чтобы их замечали другие. Мы познакомили

его с перводумцем И. В. Жилкиным. Я с удивлением заметила, что Ивлев больше чуждается популярного лидера популярной Трудовой Группы, чем меня, кадетки. Ивлев не знал, что Жилкин самоучка и в школьном учении пошел дальше его. Ему в Жилкине почудилось какое-то сознание своего превосходства и он сразу съежился. Совершенно напрасно. В Жилкине не было демагогического чванства, которым был полон Аладьин. Быть может, Ивлева обманул высокий рост Жилкина. У сенбернаров бывает очень величественный вид, хотя на самом деле они предобродушные.

Как и все его товарищи, Ивлев из всей нашей семьи выделил Аркадия. В том, как они прислушивались к его словам, и к его музыке, было подкупающее признание его умственного, культурного и морального старшинства. Аркадию его дружба с новой крестьянской интеллигенцией давала, пожалуй, больше, чем его встречи в моей петербургской квартире с видными писателями и политиками. Кооператоры развивались и зрели на его глазах, при его помощи. Это всегда сближает.

На Ивлева очень сильное впечатление произвела поездка в Чехию, где он провел полгода. Крестьянам ездить заграницу не приходилось. Если попадали, то разве во время войны. Это было барское, дорогое развлечение. Ивлев попал в Чехию через общество «Зерно». Насколько я помню, его организовал Шарапов, правый земец, который много писал о поднятии производительности крестьянского хозяйства. Он считал, что необходимо знакомить крестьян с тем, как ведется заграницей небольшое крестьянское хозяйство. «Зерно» стало устраивать групповые поезки деревенской молодежи в славянские земли, главным образом в Чехию. Тут был и оттенок славянофильства, стремление сблизить наших крестьян с западными славянами. Перед экскурсантами открывался новый мир.

Ивлев вернулся потрясенный тем, что видел заграницей. Он оценил благосостояние чешских крестьян, налаженность их жизни, их умение вести хозяйство. Но больше всего его поразил престиж, которым Россия пользовалась в чужих государствах и крепкое национальное чувство чехов. То и другое было для него новинкой, открытием. Этот новгородский крестьянин уже был затронут влиянием интернационального социализма. Чехи пробудили в нем исторические воспоминания, горделивую любовь к русскому прошлому. Он стал устраивать для деревенских школьниц и школьников исторические экскурсии в Новгород, вещь в наших краях неслыханная. Даже мы, при всей нашей книжности, забравшись в уютную беззаботность Вергежи, ленились разъезжать по нашему богатому древнему краю и знакомить нашу молодежь с местной стариной.

После одной из своих школьных экскурсий Ивлев, все за тем же длинным столом в Вергежской столовой, с увлечением рассказывал нам о новгородском Кремле, о красотах тысячелетнего Софийского собора, о фресках Нередицы.

— Я сказал экскурсантам: все это наше, русское, все это создал русский народ, наши предки. Мы обязаны гордиться ими, их наследием, неззабывать прошлого, беречь его.

Простые истины, но большинство интеллигенции их забыло, от них отвернулось. А вот этот деревенский полуинтеллигент, который в университете не учился, лекций Ключевского не слушал, казалось, был поглощен практической кооперативной работой, сохранил настолько политической чуткости, что чешский национализм сразу пробудил в нем ответный, русский отклик. Таких национальных эмоций в России никто в нем не затрагивал. Да и кто мог бы это тогда в России сделать?

На тех верхах петербургской интеллигенции, которые я знала, мне редко приходилось слышать горделивые речи о прошлом России. К русской истории было принято относиться сурово, пренебрежительно, насмешливо.

Как-то раз собрались у нас гости. Был и Ф. И. Родичев. Не помню по какому поводу, он разразился речью о том, что у России вовсе не было истории. За тысячелетнее свое существование Россия не выработала личностей, самодержавие не давало им возможности развиваться, а без личностей не может быть и истории.

— Взгляните на земли бывшей новгородской республики. Посмотрите на берега Волхова. Тысяча лет, если не больше, владеем мы ими. Это места старейших русских расселений, а живут, как жили во времена Гостомысла. Все застыло. Лучше не говорить про русскую историю. Ее просто нет.

С бедным В. В. Розановым, который, пощипывая рыжую бородку, стоял тут же, чуть не сделался удар. Но он не мог ни перекричать, ни переспорить Родичева. И другие гости поддерживали эту чаадаевскую точку зрения на прошлое России. А вот у Ивлева, исконного новгородского крестьянина с этих берегов Волхова, воображение рванулось к прошлому и это придало ему силы еще более рьяно работать на пользу родного новгородского края.

Нарастание кооперативной энергии я наблюдала не только в ее местных мелких разветвлениях. Одним из главных вдохновителей кооперации стал мой старый друг кн. Д. И. Шаховской. Он был в самом сердце движения. Повидимому что-то в кооперации отвечало русскому характеру. Как только, благодаря манифесту 17-го октября и Государственной Думе, открылись новые возможности для общественной самодеятельности, кооперация стала стремительно разрастаться по всей

России. Одним из ее пророков был Шаховской. Как член Первой Думы, подписавший Выборгское воззвание, он был устранен от всякой политической и земской работы. Удар был для него тяжелый, удручающий. Шаховской совсем сник. Попрежнему направлял он многое в партии, но ему этого было мало.

Шаховской был человек перебойных настроений: то парил высоко, то крылья у него опускались. Друзья, смеясь, говорили, что он живой политический барометр. Он никогда не ныл, но бывали полосы, когда он сжимался, редко приезжал из Москвы, куда он переселился из Ярославля, не привозил нам новых планов, не так нас тормошил, не требовал от нас все большего напряжения. Затихал. В Москве целые дни проводил в Румянцевском Музее, в Петербурге в Публичной Библиотеке. Все подбирал материалы для книги о своем предке ,историке, князе Шербатове, который был в оппозиции к Екатерине II, как Дмитрий Иванович был в оппозиции к Николаю II. Материалы эти он при мне собирал 10 лет, но книги тогда так и не написал. Щербатов служил ему отдушиной в полосы общественного затишья. Как только открывалась возможность живой работы среди живых людей, Шаховской опять отрывался от прошлого ради настоящего и будущего.

Так ухватился он за кооперацию. Верное общественное чутье подсказало ему, что через кооперацию может он собирать, сближать следующие круги людей, более мелких, но и более многочисленных, приучать их к совместной работе, закреплять в них те навыки, на которых должно держаться человеческое общежитие. Кадетская партия, по мере сил своих, все это делала в области политики, но политические интересы захватывают небольшой круг. Кооперация втягивает миллионы. Она проще, доступнее, понятнее массам, она связана с ежедневными нуждами, доступна пониманию

каждой бабы. Для книжников это делает кооперацию скучной, для рядового человека более жизненной.

Когда Шаховской стремительной, легкой походкой влетел в мою гостиную и с шутливой торжественностью, подняв руку, в первый раз бросил, точно произносил заклинание, магическое слово:

— Ко-о-о-перация...

Я засмеялась. Смеялся и он заливчатым, заразительным смехом, который возвращался к нему, когда он сам возвращался от библиотеки к жизни. Я всегда этой перемене радовалась. Значит стряхнул с себя наш милый Дмитрий Иванович тоску. Ну, и слава Богу. Опять что-нибудь хорошее придумает.

На этот раз его выдумка касалась не тех адвокатов, профессоров, земцев, для которых центром политических интересов и волнений был сначала Союз Освобождения, потом стала Государственная Дума. Захваченные политической игрой, которая шла в Таврическом Дворце, они не видели в кооперации широких возможностей, которые провозглашал Шаховской. А он мечтал втянуть кадет в кооперацию, связать их, наконец, с толщей населения. План был соблазнительный. Одним из важных недостатков партии было, что она не умела пускать корни вглубь. Шаховской всеми силами старался вывести ее на более широкий путь, но сделать этого не успел.

Граф Шатобриан говорил про себя, что он от рождения демократ, по привычкам и вкусам аристократ. Про Шаховского можно было наоборот сказать, что, аристократ по рождению, он по духовному складу своему был демократ. В каждом обществе он чувствовал себя равным среди равных и передавал это чувство другим. Его утомляла наша умственная исключительность, ему хотелось вывести собранную им политическую дружину на демократический простор, за-

ставить нас подумать подробнее о жизни маленьких людей, втянуть их в нашу деятельность. Кооперация, как ему казалось, давала для этого много возможностей.

На этот раз его проповедь среди нас не имела успеха. У него выработалась своя техника пропаганды. Он носил в кармане толстую пачку окрыток и рассылал по всей России своим многочисленным друзьям короткие, повелительные изречения кооперативной мудрости. Не помогло и это. Мы только острили над новым источником его общественного пафоса, а он добродушно отшучивался. Хотя мог бы и рассердиться на наше неизлечимое пристрастие к отвлеченным теориям, к политической алгебре, когда России еще была нужна немудрая арифметика.

Ну, а кооператоры Шаховского сразу оценили. В Москве, где был их центр, он пользовался исключительным авторитетом, стал их идеологом, их гордостью и украшением. Там, в центре, в этих быстро растущих организациях, которые сразу заворочали миллионами, к Шаховскому относились с такой же дружеской преданностью, с таким же вниманием и уважением, с каким соседние с Вергежей кооператоры относились к моему брату. Тут тоже сказалась власть правдивого сердца, прелесть которого эти практики, эти общественные лавочники чувствовали даже при самых будничных разговорах.

Популярность таких деятелей вырастала не только из их личной привлекательности, но и из их культурности. Это слово еще не было тогда в такой моде. Не помню, чтобы я его слышала от кооператоров. Но у этих новых деятелей, вышедших из глухих углов, была потребность в преемственности, в связи с тем, что веками создавал русский народ, что нашло свое воплощение в лучших русских людях. Духовная тонкость, простота, общительность, глубокая честность и

правдивость, неподкупная преданность идеям, готовность продолжать заветы целого ряда поколений служилых людей, «добрых страдальцев за Землю Русскую,» как величали Владимира Мономаха, — все это воплощалось в несходных, но от одного корня поднявшихся людях, в бывшем террористе Аркадии Тыркове и в либеральном земце князе Дмитрии Шаховском. В кооперативную среду, неотесанную, грубоватую, очень земную, они вносили мягкий свет старой русской культуры. Политическая свобода, первые зачатки которой были заложены с учреждением Государственной Думы, придавала новую силу, открывала перед русским народом новые возможности. Порожденная войной 1914-17 г. революция эту свободу разметала, творческий рост Российской Державы остановила. Только на время. Жизнь сильнее смерти.

КОНЕЦ

ОБ АРИАДНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТЫРКОВОЙ

Первое же впечатление, сразу при первой же встрече: умная, очень умная старая русская *барыня*. О, отнюдь не в „сословном" или в *ограничительном* смысле этого слова. В самом прямом и точном: вот такими строилась наша жизнь и наша культура. Вот такие хранили ее традиции, ее устойчивость, ее цветение. Культура — явление многосложное. Жизнь — явление еще более неохватимое. И создавались они, и жили, — а в особенности в России девятнадцатого и двадцатого века, России по самой своей сути апокалипсической, России предгрозья, — создавались и жили жизнь и культура и революционерами, и мистическими анархистами, и просто бунтарями, и охранителями, и либералами. Многое было, многого уже нет, но было всякое. Но меньше всего было у нас вот этого коренного, в психологическом отношении характеризуемого непередаваемо-русским соединением, казалось бы, несоединимых слов: меньше всего было у нас *либерально-консервативного* начала жизни, того по-европейски уравновешенного и спокойно-прогрессивного начала, которое должно в каждом обществе *закреплять* достигнутое в поисках и *охранять и сохранять* ценнейшее в прошлом. Может быть, пристрастие Ариадны Владимировны Тырковой — в умудренные годы ее жизни — к Пушкину, ее многолетняя работа над капитальной биографией этого умнейшего русского гения — *Жизнь Пушкина* — и объясняется органическим влечением к гению русской *культурно-исторической гармонии*, к чуть ли не единственному нашему ‚либералу-консерватору" в русской литературе.

Ариадна Владимировна и была вот такой редкой в нашей жизни представительницей консервативного либерализма или либерального консерватизма. А как такое начало важно и целительно! Наши гении были почти все неспокойны, мучительно-стремительны, наша культура металась в почти судорожных поисках правды-истины, и даже те, кто, казалось бы, был по природе взглядов своих консервативен — Константин Леонтьев, например, — по свойству своего характера были скорее бунтарями и анархистами. И вот — редкая, драгоценная черта А. В. Тырковой: сочетание разумного, уравновешенного либерализма — не останавливающегося перед открытой оппозицией, перед уходом и в подполье, если это нужно — и нутряного устойчивого консерватизма. Необычайная привязанность не только к духу, но и форме культурной и государственной традиции. Это сказывалось и в языке. Боже мой, как ненавижу я интеллигентский, вымоченный в известковой воде обескровленный, вялый, ничего не говорящий язык! Ариадна Владимировна говорила тем сочным языком, каким говорит наш народ, каким умели говорить наши писатели, выросшие в помещичьих усадьбах, соприкасавшиеся не с городской улицей, а исконным народом-словотворцем. Язык А. В. Тырковой был по-русски прост, меток, точен, наблюдателен и цепок.

„Либерализм-консерватизм" не мешал чуткому прислушиванию ко всему новому, что казалось ей на потребу: одной из последних статей почти девяностолетней А. В. Тырковой была статья о *Докторе Живаго*, а на девяносто втором году жизни Ариадна Владимировна с огромным интересом прослушала всю *Поэму без героя* Ахматовой и восторгалась и языком, и замыслом, и формой этой сложнейшей поэмы. Выросшая в эпоху всеобщего преклонения перед Надсоном и Гаршиным, подруга по средней школе Надежды Константиновны Крупской, сама отдавшая дань преклонения русской сердобольной литературной традиции восьмидесятых годов, — Ариадна Владимировна интересовалась не только Пастернаком, но и такими самоновейшими поэтами и прозаиками, как Осип Мандельштам и Николай Заболоцкий, беседовала и с зарубежными авторами — читала их прозу и стихи, иногда умело и метко подмечала

их слабые места, жила до конца своих дней, до самой затянувшейся на год своей смертельной болезни, – полной напряженной жизнью.

И не только в области литературной. Ведь в Ариадне Владимировне всегда жили две души: душа политической деятельницы-общественницы и душа литератора. Мне не хочется говорить о ее общественно-политической и литературной биографии подробно: об этом писали люди, более осведомленные, более знакомые со всеми этапами большой жизни покойной.

Родилась 26 ноября 1869 года в старинной новгородской помещичьей семье. Даже псевдоним свой, под которым часто публиковала свои статьи и свою прозу, А. В. Тыркова взяла от имени родового имения „Вергежи" – „Вергежский". Гимназия, где подругами А. В. были Н. Крупская и Л. Давыдова, дочь известного виолончелиста-композитора, приятеля и сотрудника Антона Рубинштейна, будущая жена известного экономиста Туган-Барановского, и Вера Черткова, в будущем жена начальника Генерального штаба Е. А. Гернгросса. Математическое отделение Высших женских курсов, на которых, впрочем, А. В. пробыла один год – вышла замуж за инженера, талантливого кораблестроителя А. Н. Бормана. Брак не был ни счастливым, ни долгим. И, разведясь, Ариадна Владимировна впервые стала на путь профессиональной писательницы и журналистки. В эти же годы начинается сближение Ариадны Владимировны с представителями нашей либерально-прогрессивной интеллигенции, закончившееся не только вступлением в конституционно-демократическую партию, но и избранием А. В. Тырковой в число членов Центрального Комитета этой партии. По поручению „Союза освобождения", тайной политической организации, А. В. Тыркова принимает участие в контрабандной переброске через Финляндию тиража журнала *Освобождение* (издававшегося в Штутгарте П. Б. Струве). На границе Финляндии А. В. Тыркова и проф. Е. В. Аничков, взявшийся вместе с нею доставить тираж журнала из Финляндии в Россию, были пойманы полицией и арестованы. Ариадне Владимировне, осужденной за контрабандный провоз противоправительственной литературы (в 1904 году) на два с половиной года тюрем-

ного заключения, удалось бежать в Швецию, а оттуда в Штутгарт. Там, в редакции *Освобождения*, она и познакомилась со своим вторым мужем, новозеландским филологом и корреспондентом лондонского *Таймса* – Гарольдом Вильямсом. Затем – переезд в Париж, встречи с Максимилианом Волошиным и рядом русских писателей, художников, общественных деятелей. Возвращение – после манифеста 17 октября 1905 года – в Россию, работа в печати – в газетах и журналах, частое общение со всеми тогдашними общественно-политическими и литературными деятелями, деятелями театра и искусства, учеными, публицистами. В числе знакомых Ариадны Владимировны – Мережковский и Гиппиус, Вячеслав Иванов и Брюсов, Бунин, Зайцев, Блок, Ахматова, Борис Садовской, Чулков, Максимилиан Волошин, Гумилев, Сологуб и Чеботаревская, Алексей Толстой, Кузмин, Розанов, Андрей Белый, Ольденбург, Тарле, Корнилов, П. Б. Струве, С. Л. Франк, Туган-Барановский, – не говоря уже о деятелях кадетской партии. Работа в таких журналах, как *Нива*, *Русская Мысль*, *Вестник Европы*, в таких газетах, как *Речь*, *Русь*, *Русская молва*; наконец, издание книг: романов *Жизненный путь* и *Добыча*, книги рассказов, книги *Анна Павловна Философова и ее время* и очерков *Старая Турция и младотурки*, написанных в результате поездки с мужем в Константинополь: Гарольд Васильевич был послан в Турцию лондонской газетой *Морнинг пост*.

Война 1914-1918 гг. Ариадна Владимировна едет на фронт с санитарным отрядом Петроградской городской Думы. Война еще более укрепляет патриотическую и национальную настроенность А. В. Тырковой. И когда революционные красные знамена заполыхали на русских просторах, Ариадна Владимировна не поддалась общему разливу чувств, не поддалась горячке революционной весны. Уже и до революции никак не симпатизировавшая революционно-социалистическим настроениям значительной части русской интеллигенции, она – при свидании с Лениным в Женеве, куда приехала повидаться со своей школьной подругой, – затеяла с Ильичем горячий спор о марксизме-социализме. Провожая затем Ариадну Владимиворну до трамвая, Ленин усмехнулся в усы:

– Таких, как вы, мы скоро будем вешать на фонарях.

– Это мы еще посмотрим, – улыбнулась в ответ Ариадна Владимировна.

После революции, избранная гласным в Петроградскую городскую Думу, Ариадна Владимировна сохраняет стойкость и уверенность в своей правоте среди клокочущего надеждами на близкий земной рай социалистического большинства Думы. Всегда спокойная, уравновешенная и насмешливая, А. В. Тыркова умеет хорошо использовать малейшую промашку своих политических противников в Думе. Когда социалисты выдвигают в число членов Санитарной комиссии городской Думы Марию Спиридонову, всячески выхваляя не ее подготовленность к городской санитарной работе, а революционные заслуги и страдания при старом режиме:

– Помилуйте, ее ведь изнасиловал жандармский офицер, – Ариадна Владимировна с невозмутимым спокойствием удивляется:

– Я не знала, что именно *этим* наши социалистические товарищи определяют пригодность кандидата для работы в санитарной комиссии...

С 1918 года А. В. Тыркова в эмиграции. Бесконечная и труднейшая работа по ознакомлению Запада, в особенности Англии, с действительным положением вещей в революционной, а затем большевистской России. Работа неблагодарнейшая, ибо наталкивается на слепой и недальновидный национальный мелкотравчатый эгоизм тогдашних правительств Запада. Ведь и теперь еще царят те же недальновидность и эгоизм, а тогда, семь десятилетий тому назад, положение было еще более безнадежным. И все-таки А. В. не складывает рук, борется, выступает, пишет. А пишет она до конца дней. Пишет в газетах и журналах зарубежья, пишет книги по-английски, пишет и выпускает два тома *Жизни Пушкина* и два тома воспоминаний – *То, чего больше не будет* и *На путях к свободе*, пишет книгу о русском фольклоре, вышедшую, увы, только в журнальной публикации *Возрождения*. Политическая публицистика, защита России и ее чести, защита русской культуры, – А. В. Тыркова до конца остается бойцом за Россию, за ее достоинство, за ее славу.

Познакомился я с Ариадной Владимировной после ее переезда в Америку, в 1951 году. Красивая, спокойная, волевая, умная и все замечающая, с цепким взглядом и умом, она не сидела, а восседала в кресле, нет, лучше и сказать по-старинке: в креслах, — но во всем облике ее не было ничего археологического, была непринужденная свобода, была воплощенная традиционность, роднящая наше время с временами Пушкина и Екатерины, Достоевского и начала века. Да она, Ариадна Владимировна, подростком знавала Достоевского — встречалась с ним. Встречалась с Гончаровым, — и была для нас каким-то живым соединительным звеном, живой и мертвой водой русской культурной традиции, соединяющей Достоевского с Заболоцким и Пастернаком, и нас, говорящих с нею и слушающих ее рассказы и воспоминания, с эпохой величайшего напряжения нашей культуры: с временем Достоевского и Толстого.

Вот совместное выступление — в Вашингтоне — на вечере памяти Ремизова и Добужинского. Тихий, слабый старческий голос. Но напряженное внимание слушателей возмещает физическую слабость звука. И перед слушателями — живые образы не только творческих обликов, а и просто знакомых, хорошо знакомых людей, людей повсечастно встречавшихся и знаемых вот так, как мы знаем соседей. И все это — великолепным и крепким русским языком, который умеет одним словом определить, влепить характеристику, обрисовать. И — это уже редкая для русских черта: ничего чересчур, всюду — мера. Ведь у нас только Пушкин да, пожалуй, Римский-Корсаков обладали этим чувством меры: остальные все были более или менее неистовы.

И когда пишущий эти строки как-то чересчурно сказал о Ремизове, Ариадна Владимировна тихо заметила: — Ну, зачем такие крайности: и слишком уж эмоционально...

У нас было много замечательного, яркого, резко и контрастно очерченного. Но как мало вот такой умной и сосредоточенной, по-хорошему барской сдержанности и умеренности. Осторожности в суждениях и поступках. И хотя мы больше всего ценим и любим огненнословного и неистового протопопа Аввакума, не менее неистовых Гоголя и Достоевского, вовсе

не спокойных Тютчева, Толстого, Аполлона Григорьева, Лермонтова, К. Леонтьева, Блока, – но нужна ведь и осадчивость, успокоенность, мудрый консерватизм, закрепляющий то, что несется вскачь, что заносится иной раз и уже слишком высоко и далеко.

Умершая 12 января 1962 года в Вашингтоне большая русская женщина была не ровней указанным мною русским неистовцам, но зато – одной из малочисленных представительниц и представителей того пушкинского начала в русской жизни и культуре, которые смело могут повторить за нашим величайшим поэтом и умником его сдержанные и крепкие слова:

Да здравстуют музы, да здравстует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессметрным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Борис Филиппов